



НАТАЛЬЯ
ДАВЫДОВА

ВСЯ
ЖИЗНЬ
ПЛЮС
ЕЩЕ
ДВА
ЧАСА







**НАТАЛЬЯ
ДАВЫДОВА**



**РОМАНЫ,
РАССКАЗЫ**

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980**

В книгу известной писательницы Натальи Давыдовой «Вся жизнь плюс еще два часа» вошли ее лучшие произведения: «Любовь инженера Изотова», «Вся жизнь плюс еще два часа», «Сокровища на земле» и рассказы.

В произведениях сборника автор в разных аспектах ставит и решает нравственно-этические проблемы, связанные с темой труда, отношения к делу, любимому или нелюбимому, честности и порядочности.

Художник Н. А. АБАКУМОВ



ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗOTOVA

ГЛАВА ПЕРВАЯ

От Алексея пришла телеграмма: «Встречайте воскресенье, вагон пять. Еду». Лена разглядывала голубоватый листок. Телеграмма была подана в семь часов утра.

Когда-то давно Лена спросила брата (она запомнила этот разговор):

— Алеша, тебе хочется быть большим начальником?

— Мне? — Алексей подумал. — Хочется.

— Что бы ты тогда сделал? Ну если бы, например, ты был директором завода?

— Я бы... — Алексей улыбнулся. — Я бы перестроил первым делом крекинг установки.

— А людям?

— А бензин кому? Ну, сделал бы столовую для рабочих и инженеров, похожую на ресторан. Ну, построил бы бассейн для плавания. Ну...

— Пожалуй, ты не можешь быть большим начальником, — засмеялась Лена.

— Да? Ты так думаешь? Может быть, может быть. А может быть, и могу.

— Но мы этого никогда не узнаем, — сказала Лена, любившая, чтобы последнее слово оставалось за ней.

И оба засмеялись. Спустя три года Алексей стал директором завода.

А еще через три года, после больших неприятностей уже не директор, он возвращался домой. «Вагон пять. Еду». Алексей в роли директора завода — это было странно и смешно для семьи. Все улыбались, когда говорили «директор».

Лена не сомневалась, что брат — жертва несправедливости. Деликатный, но твердый и не дипломат. Не улыбнется кому надо, повысит голос на кого нельзя. Какие у него планы, очень ли он расстроен, за что его сняли — дома ничего не знали, все случилось быстро и неожиданно.

В общем, как бы там ни было, завтра он будет здесь. Все поправимо. Руки, ноги целы, сердце и голова на месте, ничего еще не потеряно.

Настоящее место Алексея не на заводе, а за письменным столом, в лаборатории. Лена всегда говорила, что брат родился для науки. Интересно, как теперь сложится его жизнь?

Сейчас, глядя на телеграмму, Лена раздумывала, позвонить ли Вале, сообщить, что брат приезжает, или не надо. Не будет ли это бесцеремонным вмешательством в его личные дела? Наверное, Алексею все-таки будет приятно, если Валя придет на вокзал встретить его. Но тут Лена представила себе хорошо знакомый перрон и высокую фигуру Вали в светлом пальто, очередную Валину шляпу и Валино круглое лицо с твердой улыбкой. Всем своим видом она будет показывать, что наконец-то дождалась Алексея, и проявлять заботу о его здоровье. Здоровье у него прекрасное. Нет, не надо ей звонить: Алексей последнее время в письмах не спрашивал про Валю, не упоминал ее имени.

Лена подошла к телефону, и в это время раздался звонок. Она подняла трубку и услышала взволнованный молодой голос:

— Товарищ Изотов Алексей Кондратьевич приехал?

— Н-нет, — удивленно протянула Лена. — У телефона его сестра. А кто со мной говорит?

— Его знакомая.

И короткие гудки возвестили, что знакомая Алексея не желает разговаривать с его сестрой. Теперь Лена решила обязательно позвонить Вале, хотя бы назло той девчонке, которая бросила трубку. Удивительно, у Алексея всегда были очень воспитанные знакомые.

Валя обрадовалась,— искренне или нет, этого у нее никогда нельзя узнать. Она закричала «наконец-то», спросила, в котором часу прибывает поезд. У нее не возникло сомнения, надо ли ей встречать Алексея. Она разговаривала веселым, возбужденным голосом, и Лена, которая знала Валю давно и хорошо, подумала, что все-таки она ее не знает.

Бедный Алешка, нелегко быть холостым и многообещающим молодым человеком. Странно, однако, что красивая Валя до сих пор не сумела женить его на себе.

Алексей любил работу в цехе, был влюблен в крекинги, кажется, с тех самых пор, как услышал это слово и узнал, что оно значит. Вера Алексеевна, мать Лены и Алексея, рассказывала, что ее сын чуть не в третьем классе понял, что такое валентность, и это необычайное знание оказало влияние на всю его жизнь. Он стал химиком, потом нефтяником-переработчиком, потом специалистом по нефтяному машиностроению. А он ученый, только ученый. И, не будь войны и заводов, был бы теперь доктором наук.

Завтра Алексей войдет в дом, где все его планы и начинания всегда встречали поддержку, в дом, где обожают его и Лену и откуда все-таки и он и она готовы удрать, как только подвернется возможность. Отчего это? Эта вечная тоска по любимому дому и вечное стремление уехать из любимого дома куда-нибудь подальше. Подальше, подальше, и писать письма, и стремиться обратно...

По квартире бродит старая тетя и глотает капли на сахаре; ей кажется, что у нее от волнения болит сердце. Тетя готовит любимые кушанья Алексея и не хочет знать, что он уже давным-давно любит все другое.

Пахнет печеньем, уксусом, лекарствами и немного газом. Тетя Надя не ладит с конфорками, газом часто пахнет в квартире. Пахнет книгами и старой кожей, мячами, боксерскими перчатками — всем, что окружало юность Алексея и сегодня вытащено с антресолей, чтобы он обрадовался и удивился, как бережно все сохраняется.

Как еще можно показать любовь и сочувствие? Старается тетя Надя. «Семья — это все», — бормочет тетя, не имевшая своей семьи,

Лена вдруг видит, как постарела мать, хотя после работы она забежала в парикмахерскую и сделала завивку; и отец постарел, лицо у него не старое, но изменилась походка, как будто ноги стали тяжелее и передвигать их не очень просто.

В так называемой столовой не слишком уютно. Недавний ремонт не помог. Квадратный обеденный стол на толстых ножках, жесткие деревянные стулья, кушетка; каждый, кто садится на нее, спрашивает: «Почему вы ее не выбросите?» Обстановка двадцатых годов, когда не заботились об уюте. Тогда некому было этим заниматься, и позже тоже некому, и теперь все еще некому. Лена не живет с родителями, у нее с мужем квартира в новом доме в Черемушках.

Все-таки что-то надо сделать. Лена относит к Алексею в комнату синюю вазу для цветов, старые, черного мрамора, часы с охотником и большую керамическую пельницу.

И вот брат стоит перед нею.

Солидное драповое пальто немного широко ему, мягкая серая шляпа, желтые ботинки, желтый портфель с ремнями. Все новенькое. Одна перчатка надета, другая небрежно сжата в руке.

У него вид процветающего деятеля. Лена улыбается: правильно, чем хуже дела, тем лучше надо выглядеть.

Она прижимается щекой к груди Алексея. Прошло то время, когда брат и сестра были очень нежны и дружны, потом очень холодны. Теперь опять все на своих местах. Лена трется о мягкий ворс пальто, целует неловко Алексея в глаз, оба смеются. Шляпа на голове Алексея сползает назад, но не падает, а останавливается на затылке.

Лене надо отойти в сторону и уступить место Вале, которая появилась у вагона с красными тюльпанами и с таким милым и симпатичным выражением лица, что Лена не могла ей не улыбнуться. Высокая, ростом почти с Алексея, стройная, круглолицая, с ямочками на нежных розовых щеках, с выбивающимися из-под платка короткими прядками темных волос, Валя держалась как обычно: по-хозяйски, очень спокойно и уверенно. Обняла Алексея, поцеловала в губы, обняла Лену, подмигнула — мол, все образуется, мужайтесь.

Прохожие на перроне оборачивались, провожали Валу одобрительными взглядами. «Умеет держаться, этого не отнимешь», — подумала Лена.

Но на лице Алексея не было заметно радости.

«Мне влетит за проявленную инициативу», — решила Лена.

— Чемодан в купе, — сказал Алексей и ушел в вагон.

— Я рада, что он здесь, — сказала Валя. — Неприятности неприятностями, а она все-таки здесь.

«Мы привыкли не верить Вале, — подумала Лена, — а может быть, она по-своему любит Алексея».

Алексей вышел из купе со старым, потрепанным чемоданом. Валя улыбнулась.

— Что привез? Книги? — спросила Лена.

— Каталитический крекинг, — сострила Валя.

— Конечно, — ответил Алексей. — Конечно, конечно, — возбужденно повторил он.

И Лена с удивлением обнаружила, что он смотрит не на Валу, а на невысокую беленькую девушку, неизвестно откуда взявшуюся.

— Здравствуйте, Алексей Кондратьевич, — негромко проговорила она.

— Тася! — сказал Алексей. — Как я рад!

— С приездом, — ответила девушка. — Хорошо ли вы доехали?

Она не замечала презрительной усмешки Вали, удивления Лены, она вообще не видела их. Ее лицо было поднято к Алексею, удлинненные, оттянутые к вискам зеленоватые глаза весело смотрели на него.

— Я очень рад. Благодарен, — наконец проговорил Алексей. — Я не ждал, не верил, точнее, не надеялся.

Ого! Три молодые женщины встречают одного бывшего директора. Лена, оценив комизм положения, с интересом смотрела на незнакомку. Этой Тасе на вид года двадцать два. Ее очень светлые волосы были коротко острижены, чуть впалые щеки горят румянцем. Она в сером костюме и черном свитере, правая рука забинтована и на перевязи. Пахнет йодом и духами. «Интересно, кто такая», — подумала Лена. Несомненно, она звонила вчера по телефону.

— Познакомимся, — сказала Лена. — Я сестра Алексея Кондратьевича.

Девушка крепко и сильно пожала руку Лены.

Алексей улыбался. Лена давно не видела его таким довольным. Он был счастлив, это было написано на его скуластом лице. Он был счастлив, он сиял. Эта беленькая была нужна ему. Но он ее не ждал сегодня, иначе он не сообщил бы домой номер поезда и вагона, это было ясно.

Начал моросить дождик, и солнце, только что освещавшее перрон, скрылось.

— Пора двигаться, друзья,— сказала Валя с улыбкой. Она улыбалась всегда, улыбалась и сейчас.

— Так идемте,— сказал Алексей и поднял чемодан. Тася покачала головой:

— Я не могу, у меня неотложные дела. Я вас встретила и доказала, что умею держать слово. Теперь до свидания.

Девушка ушла.

Алексей молча смотрел ей вслед.

— Кто этот независимый товарищ? — спросила Валя.

— Симпатичная девчонка,— сказала Лена.

— Модная. По Арбату таких много гуляет. Алешик, откуда у тебя такая знакомая?

— От верблюда,— не слишком остроумно ответил Алексей.

Валя пожала плечами.

— Как дома? — спросил Алексей сестру.— Старики здоровы?

— Все в порядке.

— Как твои дела? — спросила Валя Алексея.

— Прекрасно,— ответил Алексей.— Меня назначили министром. А твои?

— Тружусь, Алешик.

— Замуж не вышла?

Она продолжала улыбаться и помахивать своими тюльпанами.

Вышли на площадь.

— Сядем в такси. Не возражаете? — Подняв руку, Валя остановила машину с зеленым огоньком.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В детстве ездили на Болгу. Жили в деревне,— мечтательно настроенная тетя, длинноногая, худая Лена с косицами, перекрученными жгутом, и Алексей, бледный,

тихий, серьезный мальчик, который боялся змей и испортил себе глаза чтением.

Родители оставались в Москве, отец годами не отдыхал, не брал отпуска. Мать, Вера Алексеевна, тоже никуда не уезжала, хотя летом бывала свободна от работы в школе.

Алексею навсегда запомнилась зеленая поляна у Волги, деревенские ребята сидят кружком, едят дикий лук. Едят до тошноты, до того, что слезы выступают на глазах. Наконец все уже перестали есть и смотрят на него, а он все ест и ест. задыхается и ест, запихивает опротивевшие перья лука в рот, только чтобы доказать себе и ребятам, что он не московский заморыш в очках, каким его здесь считают.

Потом ребята бегут к реке и начинают плавать до бревнышка за пристанью. Куда все, туда и Алексей. Все поплыли, и он поплыл. Ребята плавают долго, вылезают из воды посиневшие, дрожащие, прыгают, чтобы согреться. Только Алексей остается в воде, плавает.

Он плавал сперва по-собачьи, потом на боку, потом особым, собственным стилем, который он называл брассом.

Однажды, когда Алексей совершенствовал свой брасс, к нему подошел загорелый татуированный человек в трусах, спросил:

— Мальчик, как тебя зовут?

— Алеша.

— Это очень хорошо, что тебя зовут Алеша,— восхитился человек.— Хочешь по-настоящему плавать учиться, Алеша?

— Хочу.

— А шапочку резиновую мы тебе дадим, хочешь?

Алексей глотнул воздух, он хотел резиновую шапочку.

— Придешь завтра на водную станцию, спросишь Ивана Ивановича.

Тренер детской секции спортивного общества Иван Иванович стал кумиром Алексея.

— Чтобы плавать, надо плавать,— говорил этот волжский мудрец и романтик. Алексей, в восторге от глубины и лаконичности изречения, тренировался как бешеный.

Через год его допустили к соревнованиям.

На своих первых соревнованиях Алексей провалился,

занял последнее место. Но Иван Иванович верил в него. Счастливы должны быть дети, которым попадаетея такой взрослый. Это может быть мать, старуха бабушка, учитель — все равно, кто-то, кто может сказать: «Бейся, ты победишь!» Иван Иванович верил в Алексея, самого маленького, слабого и худенького, верил в силу человека, который может все.

Чтобы плавать, надо плавать. После Волги, осенью, и даже глубокой осенью, он плавал в Москве-реке. Уже совсем холодно, жутко подумать о том, чтобы влезть в воду. Алексей плавал. Мальчишки на берегу знали его, уважали, говорили: «этот псих».

«А вот стану чемпионом», — говорил Алексей, но не стал, увлекся химией. «А вот стану чемпионом», — говорил он и уходил на занятия химического кружка.

— Попробуй стань, — отвечала сестра, — победы, бассейны, цветы. Брасс, кроль, баттерфляй.

— Чемпионом химии, — отвечал Алексей.

Чемпион — это не только талант, это характер. Дело он выбрал себе трудное и опасное, профессию смелых. Как говорил один его приятель: «Не забывайте, что нефть загорается, а водород взрывается».

— Что, что ты хочешь знать? — говорит Алексей сестре, расхаживая по комнате в старой пижаме с мокрыми после ванны волосами. — Я тебе объяснял, что наша работа такая...

— Нефть загорается, а водород взрывается, — говорит Лена.

— В данном случае это было не главное.

— А что?

— Мелочи губили. Колонны мощные монтируем, а пока наладили производство несчастных шпильек... Вот только сейчас начали приходиться наши шпильки.

— Не за шпильки же тебя сняли! Что ты мне голову морочишь? Если бы за крекинги, этому я бы еще могла поверить.

— Крекинги тоже сыграли известную роль, — смеется Алексей.

— Скажи, ты с кем-нибудь не поладил? Что случилось?

— Несправедливость,— усмехается Алексей.

— Я была уверена, что несправедливость,— говорит Лена и подводит Алексея к зеркалу.— Смотри, сколько у тебя седых волос.

— Такое свойство волос.

— Такое свойство души,— отвечает Лена.— У меня вот нет.

— Ты женщина, я мужчина, к тому же нефтяник.

Алексей отшучивается,— значит, дело серьезно.

— Как только я сам окончательно пойму, что случилось, за что и почему меня поперли, где моя ошибка, я тебе расскажу. Я должен обдумать, в чем я был прав, а в чем виноват.

— Будешь извлекать уроки из своих неприятностей? — спрашивает Лена.

— Обязательно.

Алексей изменился, выглядит старше. Он страдает,— видно, его крепко ударило,— но не жалуется. Будет молчать, улыбаться и «извлекать уроки».

— Но все-таки что случилось? — допытывается Лена со свойственным ей упорством.

— Ты спрашиваешь: что? Сорвано было пять сроков пуска завода. Вот что. Выговоры я имел примерно два-три в год. Ну и что? Конечно, я директор был плохой. А завод построили героически. Много было нового, неизвестного — и одолели. Каким чудом? Я вижу на твоём лице немой вопрос, тебя формулировочка интересуется. Могу сказать: снят за необеспечение сроков ввода завода в эксплуатацию.

Лена вздыхает. Два-три выговора в год. Нахлебался.

Зато нет худа без добра. Теперь он покончит с заводом наверняка и будет заниматься чистой наукой. Честолюбивое воображение сестры всегда рисовало Алексея ученым, профессором, и ей казалось непонятным, почему он упорно уходит от своей судьбы.

Еще в школе Лена возмущалась: на вечерах, когда другие выступали со сцены с речами, читали стихи, танцевали и были на виду, Алексей в коридоре возился у рубильника или подвешивал лампочки. Что за любовь к незаметной работе! А ведь он не лишен честолюбия, чемпион химии.

— Как же так? — упрямо говорит Лена. — Я не понимаю.

— Кое-кто торопился скорее ленточку перерезать. Отрапортовал и пошел. Что дальше будет, ему наплевать. А я хотел такие крекинги, чтобы давали хороший бензин и в полтора раза больше. Мне важно было не только построить завод, но и то, что будет потом.

— Я так и знала. Опять крекинг. Я еще помню, как ты говорил, что война моторов — это и война моторного топлива.

— Говорил, — Алексей улыбается.

— Вопрос в том, у кого будет больше бензина. Это усвоила вся наша семья. Даже тетя Надя.

— Не только больше, но и лучше.

— Естественно, «октановое» число. И что — эта мечта осталась?

— Осталась.

— Значит, опять завод?

— Вероятно.

— Но ты ученый! Ты создан для науки!

— Завод тоже наука.

— С тобой спорить бесполезно!

— Тогда не спорь, — благодушно говорит Алексей. — Я буду потакать тебе, а ты мне.

Оба смеются.

Лене хочется расспросить брата про девушку на вокзале и узнать, как он теперь относится к Вале. Но и этот разговор нелегко начать.

— Да, — как бы вспоминая, говорит Лена, — я все хочу тебя спросить, Алешенька...

— Спроси, спроси, — усмехается он.

— Как у тебя с Валею?

— Я Вале год не писал. Устраивает тебя?

— Меня — да. Но Валею, наверно, не устраивает.

Алексей хмурится: о таких вещах не разговаривают даже близкие люди. Настойчивость Лены ему неприятна. Он смотрит на Лену. Сестра пополнела, у нее здоровый, цветущий вид. Исчезло выражение упрямства, которое всегда было на ее лице. Выражение исчезло, но упрямство осталось.

— Слушай, а кто была девушка на вокзале? — спрашивает Лена.

— Одна знакомая.

Этот ответ Лена уже слышала вчера по телефону от самой знакомой.

— Алешенька, я меньше всего хочу вмешиваться в твои дела,— с достоинством произносит Лена.

— Как бы не так, ты очень хочешь вмешиваться, но это тебе не удастся,— говорит Алексей.

Лена огорчена.

Алексей производит впечатление мягкого, покладистого человека, но он не мягкий и не покладистый. Говорить с ним — как камни таскать. Он любит, только когда Лена рассказывает про своих больных, про операции, которые она делала. Тогда он слушает.

— Валя очень неискренний человек,— говорит Лена.

— Ну и что,— усмехается Алексей,— что с того?

— Очень симпатичная та девушка на вокзале, которая тебя встречала,— говорит Лена.

— Вот как? — смеется Алексей.— Чем же?

«Тем, что она не Валька»,— хочется сказать Лене, но она отвечает:

— Молодая, очень молодая, как это хорошо!

На лице Алексея отвратительная ухмылка, знакомая Лене еще с тех далеких времен, когда брат кричал ей: «Все девчонки дуры!»

Надо считать, что разговор окончился ничем. Брат стал жестче, суровее, мудрее. И дело тут не в морщинах, которые появились на его загорелом добром лице.

— Я так и думала, что тебя сняли несправедливо,— говорит Лена, вдруг задохнувшись от жалости.

— Нет, Ленуся, чего-то мне не хватает для номенклатурного работника.

— В войну ты был главным инженером, и никто не находил, что тебе чего-то не хватает для номенклатурного работника.

— Несравнимые вещи. То война, и главный инженер — не директор.

— Возможно. Но я считаю, что твое место в лаборатории,— опять принимается за свое Лена. Она способна без конца бить в одну точку.

— Пойдем-ка чай пить,— говорит Алексей,— так будет лучше. И с мамой я еще совсем не разговаривал.

— Идем к маме. Сейчас она начнет ахать и жало-

ваться, держись. Ждали тебя, ждали, дождались, слава богу,— Лена толкает брата к дверям.

Алексей улыбается. Он знает, что ему предстоит выслушать главным образом неприятные новости и жалобы домашних. Это понятно — он тот, кто принимает все на себя.

Смешно: семья, дом родной работает, как машина, в его отсутствие, а стоит Алексею появиться, машина разлаживается. И Алексей должен выручать, помогать, налаживать, он сильный, опора семьи, как говорится.

— Как дела, мамочка? — спрашивает Алексей.

— Неважно, дорогой,— отвечает Вера Алексеевна, почти готовая заплакать от участливого голоса сына, от того, что он здесь, с нею, ее взрослый, умный сын, ее гордость.— Все воюю, сыночек, устала.

Алексей берет руки матери в свои и целует. У нее маленькие руки с пальцами, испорченными ревматизмом. Когда-то ее руки были обморожены и до сих пор болят в холодную погоду.

— Мама, мама...

— Устала, никуда больше не гожусь.

Алексей не разрешает себе улыбнуться, хотя ему знакомо это предисловие.

— Конечно, так я и поверил,— говорит он.

— Да, мы старая гвардия,— свирепо соглашается Вера Алексеевна.— Я ведь напрямую режу, я не молчу.

— Уж наша мама не молчит,— вставляет Лена, никогда не отличавшаяся почитительностью.

— Не лезь,— просит сестру Алексей,— не вмешивайся. Тетя Надя, а ты? — обращается он к старушке, которая не спускает с него глаз.— Как ты?

— Сердце, Алешенька, сердце,— жалуется тетя Надя,— и ноги, ах ноги стали отвратительные.

— А в кино ходишь по-прежнему? — Алексей улыбается.

— Никогда мне телевизор не заменит кино,— презрительно отвечает тетя Надя.— Если бы не ноги.

Обычно старушка не жалуется, но сегодня приехал Алексей, и ей тоже хочется, чтобы ее пожалели.

— Я тебя свожу к хорошему врачу в ближайшие дни,— обещает Алексей.

— Не надо! То, что врачи скажут, я знаю сама,— говорит тетя Надя,— ты лучше мать своди.

— И маму тоже.

— И меня не води, как-нибудь без врачей обойдусь,— отзывается Вера Алексеевна.

Лена насмешливо подмигивает Алексею, но он серьезен. Мать и тетка кажутся ему беспомощными, хотя они вовсе не беспомощны. Какое-то чувство виноватости испытывает Алексей за то, что он высокого роста, ничего у него не болит и долго еще не заболит, а они маленькие, седые, больные.

— Мама, ты не рассказала, как у тебя дела в школе,— говорит Алексей.

— Твои дела важнее моих,— отвечает Вера Алексеевна,— ты должен добиваться. Иди в Цека. Как это так? Ты, ты обязан заботиться о своей репутации. Пускай тебя опять назначают директором завода, и ты своей работой докажешь...

— Мама,— с неудовольствием перебивает Алексей,— я ничего не хочу доказывать...

— Неправильно! — кричит Вера Алексеевна.

Алексей уже подумывает, как удрать от бурных наставлений матери. Увы, у него не хватит терпения и кротости выслушать все то, что ему здесь скажут.

— Мамочка, ты не обидишься, если я на часок схожу к друзьям?

— Конечно, Алеша, иди, а мы будем тебя ждать,— грустно отвечает Вера Алексеевна.— Но подумай о том, что я тебе говорила.

Надев чистую рубашку, Алексей пошел звонить по телефону-автомату Тасе, девушке, которая встречала его на вокзале.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В войну нефтепереработчики были нужны на заводах. Алексей просился в армию, его не пустили.

Он мечтал работать на каталитическом крекинге, давать бензин нашим танкам, ему приказали заниматься смазками. Это была узкая область нефтепереработки, не интересовавшая Алексея. Он почти ничего в ней не знал. Как топливник, Алексей относился ко всем этим делам

свысока. Колдовская кухня. Никогда не думал, что придется заниматься этим. Пришлось.

Алексей очутился в глубоком тылу, главным инженером на заводе номер такой-то. Завод был маленький, военного времени, спешно поставленный в степи, очень важный. Проектировали его, сидя в дымной хате, при свечах; по чертежам, прикрепленным к стене, ползали тараканы. Завод работал с невиданной производительностью.

На заводе Алексея считали человеком с практической хваткой. У него была только немного необычная манера держаться. Сестра ему однажды сказала:

— Ты приходишь и, не обращая ни на кого внимания, начинаешь думать на глазах у всех. Ты обнаженно думаешь. Так нельзя. Может быть, это принято в восточных странах с древней цивилизацией, но у нас это производит странное впечатление.

Лена умела иногда сказать такую глупость, которая запоминалась. «Восточные страны с древней цивилизацией». Да, там, кажется, считается, что думать — это занятие, которое требует времени. На заводе к Алексею привыкли, не смеялись, когда он замолкал на полуслове, потревоженный какой-нибудь мыслью.

После войны в жизни Алексея произошел крутой поворот. На этот раз движением управлял он сам. Это было бесконечно трудно. У замминистра излюбленная поговорка была такая: «Я тебе выговор объявил — благодари. Я тебя должен был снять. Я тебя снял — благодари. Я тебя должен был под суд отдать». Алексея он хотел назначить главным инженером на большой завод. Кажется, что сопротивление бесполезно. «Партийный билет положишь!» Но Алексей сопротивлялся. Он знал, что этот раз — последний в его жизни, когда он еще может попробовать встать на ту дорогу, по которой ему хотелось идти.

— Один родился, чтобы смазки готовить, масло на палец чувствует, другой создан, чтобы самолеты конструировать, третий, чтобы замминистром быть. А я хочу заниматься крeкнигом нефти, — сказал Алексей.

Замминистра побагровел. «Юродивого решил изображать?» И вдруг перестал рычать. Может быть, просто устал. Он наклонил лысую голову, закрыл ладонью глаза и негромко сказал: «А иди ты к черту».

И отпустил.

Алексей поступил в аспирантуру. Он снова стал бедным, молодым, беззаботным человеком, ничего не решал, ничего не приказывал, ничего не подписывал, а только слушал, что ему говорят, читал, думал, учился.

Неужели это он готовил недавно литиевую смазку, которая хорошо держит давление, неужели он ходил проверять бочки, где был обнаружен брак, и распорядился раздонить двести бочек, неужели это он бежал по двору, приказывал уничтожить мазутные ямы, отлично зная, что уничтожить их нельзя, а можно только засыпать песочком в день приезда замминистра?

Алексей как замороженный шел к невидимой точке, которая светила ему вдалеке. Она светила только ему, была видна только ему одному.

Рядом сидели мальчики в очках, или хромые, или с пороками сердца, освобожденные от армии, девушки, которых случайный ветер занес в двери нефтяного института и даже прибил к аспирантуре. Они были детьми в сравнении с Алексеем. Они учились, как все аспиранты в мире, не особенно ретиво. У них было много времени в запасе. У Алексея времени не было.

Жизнь после войны была дорогая. Деньги, которые Алексей получил за два изобретения, сделанные на заводе, он отдал матери. Денег тогда было много, их радостно тратили и очень быстро истратили. У Алексея была беспечная семья, не созданная для богатства. Долго удивлялись, вспоминая, какие были возможности, сколько всего можно было купить. А потом и вспоминать бросили про те «сумасшедшие, большие деньги».

Алексей устроился на подмосковный завод. Когда-то студентом он мыл здесь полы на термическом крекинге, вытирал насосы концами, подливал в поршневые насосы масло. Ночью на вахте пел песни, чтобы не заснуть. Теперь он работал сменным инженером в цехе. И продолжал заниматься в аспирантуре, заочно.

Лена в ту пору уехала работать в Германию. Она вернулась в Москву как раз перед защитой Алексея. И сразу пошла к нему в институт, в лабораторию, посмотреть маленькую установку каталитического крекинга из молибденового стекла. Алексей сделал ее своими руками и гордился ею больше, чем изобретениями в области масел и смазок.

— Ну, а что будет дальше?

Лена стояла перед ним в коричневом костюме, ее русые волосы того же оттенка, что и у Алексея, слегка потускневшие, были собраны сзади в узел, она казалась надменной и разговаривала резко.

Из института они пошли пешком к Крымскому мосту.

— Что дальше? Меня зовут в институт. Там как раз носятся сейчас с крекингом нефти. Ты ведь знаешь, моя диссертация — скорость крекинга и...

— Крекинга, крекинга... Я иногда думаю, Алеша, что ты неменяемый. Жизнь не крекинг твоей нефти!

— А что же, если не крекинг? Что, по-твоему, жизнь? — Алексей замедлил шаги. Неужели два года в Германии научили Лену мыслить по-новому и она сейчас скажет что-нибудь пошлое, философско-обывательское, что всегда было ненавистно им обоим. Он ждал. Его обычно кроткое лицо было напряженным.

— Не беспокойся, — усмехнулась Лена, — я не скажу ничего ужасного, что заставит тебя презирать меня.

Она была умная, все понимала. Заодно она отчитала его.

— Ты ведь человек беспощадный. Человеческих слабостей, ошибок, минутной запальчивости ты не прощаешь. Тебе стоило бы поучиться у нашего папы, как относиться к людям. Талантливый человек — добрый человек. Это бездарный, как правило, злой и непримиримый.

— Все правильно. Чего ты кричишь? — спросил Алексей.

— Я вдруг увидела, что у тебя измученное лицо, что ты какой-то одинокий. И мне стало жалко тебя. Как у тебя дела там?

«Там» относилось к Вале.

— Хорошо.

Валя всегда держала себя безупречно. Была нежной и предупредительной. Даже слишком. Слишком часто звонила, слишком внимательно слушала, ничего не забывала. Она заботилась о нем как о больном и предупредила его желания с точностью и умелостью образцовой секретарши. Казалось, что она лучше, чем он сам, знает, что ему надо. Лучше, чем он сам, понимает, что он любит. Каталитическому крекингу она отдавала должное. Слабости прощала, дурных привычек не замечала. У нее был спокойный, веселый нрав. Только изредка она

устранивала скандалы с криком и слезами по ничтожному поводу...

— Хорошо? — переспросила сестра задумчиво.— В конце концов, это от тебя зависит.

— И я так думаю.

— Ты не можешь себе представить, как я соскучилась в этой Германии. Я там часто мечтала: ты в институте, занимаешься наукой, женился не на Вале, я работаю в больнице Склифосовского. Мама перестала курить, папе больше не грозят неприятности на работе. Тетя Надя ходит на дневные сеансы в кино, не пересказывает содержания картин и не говорит о болезнях. В квартире сделали ремонт, у всех есть зимние пальто. И мы все вместе, живая-здоровая наша семья. И я в Москве. Я пешком хожу, потому что по Москве страшно соскучилась. Плохо жить на чужбине.

Алексей пожал локоть сестры. Они могли забывать друг о друге, но они были близкие друзья.

— Алеша, ты надень на защиту костюм, который я тебе привезла. Будешь стоять на кафедре красивый на фоне своих таблиц и стеклянных трубок. Только не откашливайся, и не говори «вот», и не трогай все время подбородок. Брюки не коротки?

— Когда-нибудь я тебя отблагодарю по-царски,— пообещал Алексей.— Эти старые хрычи в Ученом совете не любят диссертантов в рваных штанах. После защиты отосплюсь, и мы заживем так, как ты мечтала в Германии.

Алексей похудел, глаза ввалились: работал последнее время очень напряженно. Да и работал ли он когда-нибудь в своей жизни иначе?

— А в Европе,— с грустью сказала Лена,— люди относятся к себе по-другому. Едят в определенные часы и каждый день гуляют.

Через месяц Алексей защитил диссертацию, но получил назначение не в научно-исследовательский институт, а на строительство нового нефтеперерабатывающего завода директором, откуда теперь и был снят.

Человек редко вспоминает пережитое: некогда задумываться, надо спешить. Но если жизнь ударила, приходится остановиться, подумать, надо сообразить, где

ошибка. Сколько Алексей ни ломал голову, обвинить себя ни в чем не мог. Он не хотел быть директором, ему сказали: ты член партии, бывший главный инженер, кандидат наук, чем ты не директор? Ты директор. И он стал директором и работал на совесть. Он не обеспечил «сроки ввода завода в эксплуатацию», зато он обеспечил другое. Правда, результаты его труда станут видны позднее, потому что он работал на будущее завода, а это кропотливо, долго, незаметно. Крекинги, построенные Алексеем, будут давать то, что, по его убеждению, они и должны давать.

«И это будет неплохая производительность,— сказал себе Алексей, закуривая. Он ходил по тротуару возле станции метро и раздумывал о своей жизни.— А что меня сняли — это ничего, это, может быть, и правильно, директор я был плохой. Теперь я буду научным сотрудником института и займусь реконструкцией старых крекингов, раз уж мне не придется больше строить новые. Существующие крекинги в стране должны давать больше бензина».

Алексей ждал Тасю. И волновался.

«Она будет моей женой»,— подумал Алексей, увидев, как Тася вышла из метро и стала искать его в толпе. Она поднимала голову, потому что была маленькая, а тот, кого она искала, был высоким. Она была в том же сером костюме и черном свитере, как и на вокзале, только светлые волосы повязаны розовым прозрачным платочком, а через руку переброшен плащ.

— Здравствуйте! Я не опоздала? — спросила Тася.

— Нет,— улыбнулся Алексей, взял Тасю под руку, и они пошли к электричке, которая должна была привезти их на подмосковный крекинг-завод.

Тасе нужно было туда по делам. Алексей вызвался ее сопровождать. Шел второй день пребывания Алексея в Москве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Вы не сердитесь, что я вас вытащила на завод? — спросила Тася, когда они сели в электричку.

Алексей пожал плечами — ему было совершенно безразлично, куда ехать, ему надо было быть рядом с нею, видеть ее.

— Вы очень молчаливы, зря слов не тратите,— рас- смеялась Тася.— Хочу вас предупредить, что там, по до- роге к заводу, пылища страшная. Странное дело — как нефть, так пыль и ветер. Хоть и под Москвой, а все равно.

Она разговаривала свободно и держалась свободно. В ней чувствовалась энергия. И голос негромкий, но энергичный. Алексею нравилось слушать, как она го- ворит.

— Мне все кажется, Алексей Кондратьевич, что вре- мени не хватит,— засмеялась она опять.— Что я опазды- ваю, не добегу. Знаете такое чувство?

Она подняла на Алексея зеленатые глаза, чуть при- пухшие, чуть оттянутые к вискам, и Алексей прикоснулся к ним губами. Сердце его колотилось. Тася отодвинулась и притихла. Алексей взмолился:

— Я нечаянно, Тасенька, я больше не буду, не ото- двигайтесь от меня. Честное слово, каждый поступил бы точно так же на моем месте.

Тася улыбнулась и приложила левую, незабинтован- ную, руку к щеке.

— Как рука? — спросил Алексей.

— Пустяки, пройдет. Даже следа не будет. Сойдет, как загар. Это все химики знают.

— Фенол, чтобы его черт побрал,— пробурчал Алек- сей.— Счастье, что в лицо не попало.

Не так давно Тася была на заводе Алексея в коман- дировке. Там они и познакомились. Она работала в се- лективном цехе и получила страшный ожог, когда на ко- лонне, заполненной жидким горячим фенолом, отвалился краник и она зажала это место рукой. Она кричала: «От- качивайте!» — и не отпускала руку. Алексей не видел ее тогда, ему рассказали, «доложили», и сейчас он предста- вил себе ее маленькую фигурку на фоне гигантской ко- лонны, где течет расплавленный фенол.

Женщины должны иметь другие профессии. Пусть будут врачами, учительницами, медицинскими сестрами, чертежницами, пианистками. А в цехах, среди огня, газа и нефти, останутся крепкие, здоровые мужчины.

— Если бы я отпустила руку,— сказала Тася,— я бы потом себе никогда не простила. В ту минуту я ничего не думала, конечно, только чтобы откачали скорее и пере- крыли.

Поезд подходил к станции.

Тася вытащила из кармана расческу и протянула Алексею. Он причесал ее мягкие волосы — сама она не могла — и, отодвинувшись, полюбовался розовым лицом Таси, ее зеленоватыми глазами, узкими бровями, почти смыкавшимися на переносье. Странное лицо, прекрасное, необычное.

— Прическа великолепная. С вас три рубля,— сказал он.

— У меня есть идея. Все зависит от того, как мы управимся на заводе,— сообщила Тася.

Алексей подавил улыбку — о заводе она говорила с большой важностью и часто произносила само слово «завод».

— Пока я буду занята в лаборатории, вам, может быть, будет интересно посмотреть работы по автоматике. Это стоит посмотреть. Я могу вас познакомить с товарищами, которые этим занимаются,— говорила Тася.

Это было смешно, «товарищи», с которыми она могла познакомить Алексея, наверняка были его приятели или знакомые.

— Сейчас я вам устрою пропуск,— сказала Тася, когда они подошли к проходной.

Она взяла телефонную трубку, намереваясь кому-то звонить.

— Не беспокойтесь.— Алексей попросил вахтера соединить его с директором и сразу пожалел, что позвонил. Тасе хотелось показать ему завод, и пусть бы она повила его. Он все испортил, идиот.

Тася имела временный пропуск, Алексею, по приказанию директора, выписали разовый.

Когда вошли на завод, Тася сказала:

— А я хотела вам покровительствовать. Вы, наверное, считаете меня нахалкой.

Алексей смотрел на нее, только на нее, но произвольно отмечал изменения вдоль дороги, новый путепровод, шлагбаум, выставочный стенд, которого не было раньше, вдали новую градирню.

Тася шла так, как будто идти по пыльной дороге было для нее удовольствием.

— Дело в том, что вы не похожи на начальника, вы похожи на моряка, на капитана рыболовной шхуны...— сказала Тася,— на путешественника, исследователя Центральной Африки, на охотника.

- Для этого нужна борода.
- Необязательно.
- Как хорошо, что у вас голова набита бреднями.
- Набита,— согласилась она весело.

Навстречу ехал черный «ЗИЛ». Машина остановилась, из нее вышел толстый, высокий человек.

— Вот это начальник,— шепнула Тася.— Это я понимаю.

Это был директор завода, он торопился в горком, но хотел пожать Алексею руку. Пробасил: «Вечерком домой мне позвони, обменяемся», сел в машину и уже из машины, показав глазами на Тасю, спросил:

— А это?

— Сотрудница,— ответил Алексей.

— Ну давай, давай, действуй! — Директор подмигнул, машина отъехала и опять остановилась.— Ты там подскажи Петруничеву, чтобы он тебя по заводу поводел! — крикнул директор.— Пускай кое-что новенькое тебе покажет! Кое-что есть.

Алексей догнал Тасю и сразу увидел, что она огорчилась.

— Что? — спросил он.— Тася...

— Не знаю, почему мне взбрело в голову, что вы не знаете подмосковного завода и вам будет интересно его посмотреть, и я думала, что недолго задержусь в лаборатории и мы пойдем погуляем в лесу. Здесь, за поселком, лесок есть хороший.

— А мы и пойдем. Я ради вас поехал, не ради завода.

— Теперь я вижу, что вам нелегко будет вырваться отсюда...— Она махнула маленькой рукой в черной перчатке.

— Ради вас, Тася, я вырвусь откуда угодно. Имейте это в виду,— серьезно сказал Алексей.

Тася покраснела.

— Вы меня опять не поняли. Я не претендую на ваше время, я понимаю...

— Вы ничего не понимаете,— перебил ее Алексей,— и вообще, пожалуйста, решите, хорошо вы ко мне относитесь или плохо.

Через час в павильоне, где торгуют пивом и ржаворыжей рыбой под маринадом, они выпили по стакану портвейна, съели холодные котлеты и запаслись двумя

плитками шоколада и сигаретами. Тася пила и ела с аппетитом и, поставив граненый стакан на мокрую клеенку, пошла к стойке посмотреть, чего бы еще можно было купить и съесть. Видно было, что ей нравится такая еда и нравится сидеть на табуретке в пивной. Она попросила лимонаду.

За соседним столиком пили пиво молодые рабочие. Насмотревшись на Тасю и одобрив дружным смехом ее аппетит, они продолжали свой разговор.

— У нас нет такого указания — барахло выпускать, — говорил один.

— ...мороки много, а плана он дает мало...

— ...черт с ней, с премией. Витальку жалко. Виталька-то заслужил...

Лес оказался не близко, и пришлось шагать по шпалам заводской узкоколейки, идти через поселок. Три года назад здесь не было этой узкоколейки и поселка не было. Тася шла на высоких каблуках, ее зеленоватые глаза на все смотрели с интересом. Алексей шел рядом и думал о том, что в лесу он поцелует Тасю.

Улица, застроенная городскими домами, заканчивалась футбольным полем, за полем начинался лес.

Они шли по тропинке сквозь молодой сосняк, теплый, пахучий, прозрачный. Попадались и белые березки в черных сапожках, и дрожащие осинки, и мохнатые елки, но больше всего сосны, поэтому в лесу было так светло и пахлопряно, опьяняюще.

— В хороший лес я вас привела! — радовалась Тася. — Самое странное, что здесь растет вереск. Я нигде под Москвой не видела вереска. Сейчас покажу.

Она нагнулась, сломала темно-зеленую веточку, понюхала, бросила Алексею.

— А потом будет вся розовая. Понюхайте, пахнет, — сказала она, — ...медом.

Алексей прижал к лицу шершавую, сухую веточку.

Они прошли еще немного в глубь леса, нашли поляну и сели на пиджак, который Алексей снял с себя и бросил на землю. Тася села и сразу поднялась. Глаза у нее стали тревожными и улыбались беспокойно.

— Вы устали, — сказал Алексей, закуривая. — Посидите.

Тася отыскала пенек, села, подстелив плащ, сняла

жакет. Пригревало солнце, вокруг было спокойно, тихо, прекрасно. Вдалеке раздавались детские голоса.

Тася сидела на пеньке выпрямившись, положив ногу на ногу.

Она заговорила об отце. Он был стар и тяжело болен.

— ...Нас осталось двое, никого больше нет. И мама умерла. Так жаль отца! Как заставить человека жить? Врачи предупредили меня, что сердце у него очень плохое...

Алексей ждал, что Тася еще расскажет ему о себе, но она молчала.

На заводе она была уверенной в себе, веселой, а сейчас казалась грустной и слабой, и надо было ее защитить, спрятать от невзгод и трудностей.

«Ну, влип окончательно», — сказал себе Алексей, который только и хотел этого и теперь был счастлив, глядя на Тасю, сидевшую на пенечке, на почтительном расстоянии от него. «Соблюдаем дистанцию», — подумал Алексей, и даже за это он был благодарен Тасе.

Он все-таки поднялся с земли и стал ходить по полю, заколдованный ее предостерегающими глазами. Не отойти, не подойти.

— Где вы будете теперь работать? — спросила Тася.

Все, что он не рассказал сестре, он рассказал этой девушке, которую видел пятый раз в жизни. «Она должна всё знать».

— В вас инженер оказался сильнее руководителя, — заметила Тася, когда Алексей рассказал ей, почему он распрощался с директорством.

Потом она сказала:

♦ — Такой человек, как вы, имеет право на ошибки и право на их исправление.

— Мне предлагают быть главным инженером на строительстве, недалеко от Москвы. Зовут директором на пусковой завод в Белоруссию. Сестра, например, считает, что я «родился для науки». Это семейная формулировка. А мне без завода работать неинтересно. Как вы считаете, можно родиться для завода?

— Вы имеете в виду для должности директора завода?

— Этот выпад мстительной аспирантки я пропускаю мимо ушей, — сказал Алексей, — хотя я встречал людей, которые родились для торговли газированными водами.

Некоторые родятся даже для того, чтобы стать бюрократами. Я сделал наблюдение: бюрократ, когда он еще мальчик, обязательно троечник, ленивый, ему лень учиться, а потом вырастает — и ему лень делать настоящее дело по-настоящему, и он становится бюрократом.

— А вы для чего родились? — улыбнулась Тася.

— Всю жизнь рвусь к крекингу нефти. В войну заставили заниматься маслами.

Алексею хотелось сообщить Тасе, что, занимаясь по необходимости маслами, он получил несколько авторских свидетельств, но он подумал: «Нечего распускать хвост перед девочкой» — и не стал хвастаться. «Когда-нибудь потом».

— Автомобильные смазки, то да се, — сказал он.

— Я знаю, что вы работали с солидолом, — сказала Тася. — Жирные синтетические кислоты вместо хлопкового масла. Вы за автомобильные смазки лауреатство получили?

— Да, — буркнул Алексей, — за это.

Она знала его работы. Впрочем, ничего удивительного. Она же химик. Нефтяник.

— Надо было еще работать, а я мечтал о другом. Потом вырвался, поучился немного. Занимался крекингом.

— В институте до сих пор цела в лаборатории установочка из молибденового стекла, которую вы сделали. Мне показывали, — сказала Тася.

Она и это знала!

— Я ее целый год делал. Откуда вы знаете? — удивился Алексей.

— Мне было интересно, и я узнала. Разве нельзя было? — Тася пожала плечами, как будто ничего особенного не было в том, что она расспрашивала лаборанток о бывшем аспиранте-заочнике товарище Изотове. Алексей был обрадован. Она интересовалась им, узнавала о нем и просто призналась в этом.

— Да, не сумел одновременно строить детские садики, выпускать нефтепродукты и решать свою техническую задачу, — сказал Алексей.

— А теперь сумели бы?

— А теперь я буду заниматься только технической задачей: повышением производительности. Мне всегда не нравилось, когда могучие механизмы слабо и вяло работают. В этом есть что-то ненормальное. Это просто невы-

носимо,— пошутил Алексей,— я не могу этого допустить.

— Понимаю,— задумчиво проговорила Тася.

— Пойду работать в научно-исследовательский институт, но выторгую себе свою тему.

— Понимаю,— повторила Тася.

Она размышляла, думала о нем и его делах, одобряла, понимала. Он протянул ей руку.

— Пойдемте, становится холодно.

Алексей помог ей надеть жакет и плащ. Когда он застегивал пуговицы плаща, ее нежное лицо оказалось так близко, что он не удержался и поцеловал ее.

— Я люблю тебя,— сказал Алексей.

Тася молчала и смотрела в землю.

— Пойдем.

Они вышли из леса, пошли поселком.

У Таси было растерянное лицо. Она молчала.

Алексей остановился.

— Тася, я ничего не сделаю такого, чего вы не хотите,— проговорил он медленно.— Вы не хотите, чтобы я говорил вам, что я люблю вас?

— Не знаю,— тихо сказала Тася.

— Пусть вы не знаете сейчас,— ответил Алексей,— я знаю.

— Вы не можете знать за меня.

— Могу. До завтра...

— А что завтра?

— Ничего. Пройдет ночь. Завтра мы увидимся. Проведем вместе день, а вечером вы придете к нам, познакомитесь с моими родными.

— Днем я, может быть, буду занята.— Тася потрясла короткими волосами.

— У нас с вами мало времени, и нельзя манкировать свиданиями.

— А манкировать занятиями?

— Сколько угодно!

Тася посмотрела на Алексея и вдруг весело, легко засмеялась.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В первый раз Тася увидела Алексея возле строительства маслблока на его заводе. Подъехала машина, пыльный зеленый «ГАЗ-69», из него выпрыгнул молодой

человек в рабочем комбинезоне, быстро, легко вскарабкался по наружной железной лестнице наверх, где шел монтаж оборудования. Тасе сказали: «Приехал директор». Молодой человек приехал без шофера, и через двадцать минут он так же с разбегу сел за руль и уехал.

Она успела разглядеть и запомнить его лицо — широко расставленные темно-карие глаза, лоб выпуклый и большой. Лицо его из-за едва заметной скуластости казалось неправильным. Русые волосы, на лбу отчетливые залысины.

Лицо Алексея запоминалось не красотой, а выражением сосредоточенности, доброты и скрытой силы. Он не заботился о производимом впечатлении, у него был редкий дар быть всегда самим собой. Тася это сразу почувствовала; он был естественным и простым, хотя знал, что на него смотрит много глаз. В тот день и час что-то заботило его, и это было написано на его лице.

«Чем он занят? — подумала Тася. — Наверно, чем-то серьезным. Какая у него жизнь?»

— Потом я видела вас еще и еще. Я даже искала вас по заводу, мне хотелось на вас посмотреть, — рассказывала Тася Алексею.

Они сидели в армянском кафе на Неглинной и разговаривали. После прогулки в сосновом лесочке прошло меньше суток.

Она так легко признавалась в своем интересе к нему. Не слишком ли легко? Но он не желал об этом думать, он торопился и торопил Тасю.

— Говори мне «ты», — попросил Алексей. — Зачем откладывать? Попробуй.

— У меня сразу не получится. Вы мелькали передо мной, как на крыльях, вы летали по заводу.

— Да, я там слишком много бегал сам и мало заставлял бегать других, — согласился Алексей.

— Этого я не знаю. Я попадалась вам в разных местах, но вы смотрели мимо, мимо, мимо меня. И я решила с вами поговорить. Мне хотелось знать, способны ли вы заметить что-нибудь, кроме контрольно-измерительных приборов.

— Что оказалось?

— Подождите. Мне было очень трудно придумать, как поговорить с вами. С чем я могла к вам явиться? Никаких выдающихся соображений я не имела. Одно важ-

ное дело у меня было, но оно решалось в отделе техники безопасности, а не с директором. Так я ничего и не придумала. А дальнейшее вам известно.

Дальнейшее состояло в том, что после аварии на селективной установке Алексей в приказе отметил поступок Таси, и они познакомились.

— А как вы меня первый раз увидели?

— Ты стояла в лаборатории, в розовом платочке.

— Вообще вы повели себя довольно ловко.

— Предложил подвезти тебя в город? Это называется ловко? Я всех подвозил. А тем более ты была пострадавшая, с забинтованной рукой и бледненькая. Я за тебя испугался.

— У меня был несчастный вид?

— Вид был самый независимый. А я страшно боялся, что кто-нибудь попросится с нами ехать.

За соседним столиком сидела семья. Толстая мама, толстый папа и трое худых черноглазых детей. Мама и папа ели чебуреки, холодную и горячую форель, а дети ничего не ели, кроме мороженого, и пили лимонад.

Алексей заказал чебуреки, холодную и горячую форель, фрукты, армянские сладости, армянское вино «Воскеваз».

— Я буду толстая, как та тетя,— шепнула Тася на ухо Алексею.

— Папа, возьми меня на ручки,— попросил самый младший мальчик за соседним столом.

— Я тебя так возьму, что ты у меня будешь прозрачный, бледный,— ответил папа.

Мальчик не обратил внимания на эту угрозу и, опустив лицо к стакану с лимонадом, продолжал гудеть, что бы его взяли на ручки.

— Дайте ему еще мороженого,— распорядился папа.

Когда кто-нибудь входил в кафе, бренчали бамбуковые палочки, висевшие на месте дверей. Пахло чебуреками, южной кухней, травами, острой приправой, красным вином. Потолок был из деревянных балок, на высоких полках стояли глиняные кувшины, на стенах нарисовано синее небо и яркое солнце. Яркое солнце светило в этот день и на московских улицах.

— Жизнь вдруг изменилась. Раньше все было нельзя, а теперь стало все можно. Можно сидеть днем в кафе, можно шататься по улицам. Удивительно,— улыбулась

Тася.— Хотя с каждой минутой я чувствую, что все больше привыкаю.

— Я тоже привык, и не хочется думать о том, что скоро уезжать,— сказал Алексей.

— Я не понимаю,— быстро сказала Тася.

— Сегодня утром я был в институте, оформлялся. Темой моей будет повышение производительности каталитического крекинга, решать ее будем на Комаровском заводе. Об этом мы договорились.

— Как... уже?!— воскликнула Тася, и в ее голосе прозвучала обида.

— Сколько я могу ходить безработным погоревшим директором? Ну пять дней, от силы неделю. Поэтому я тебе вчера ответственно заявил, что времени мало. А ты не придавала моим словам никакого значения. Отнеслась легкомысленно.

— Я виновата,— покорно согласилась Тася.— Я как-то забыла, какой вы человек. Одержимый проблемой повышения производительности. Когда ж вы уезжаете?

— До моего отъезда еще пять дней. Это не важно, потому что я хочу забрать тебя с собой и никогда никуда не отпускать. Непонятно?

— Понятно,— ответила Тася.

Алексей поцеловал ее, не обращая внимания на то, что в кафе было много народу.

За соседним столом дети продолжали есть мороженое, их родители — чебуреки.

— Это железные дети,— сказал Алексей,— и железные родители.

— Рассказать сказку? — спросила Тася.

— Это не притча? — усмехнулся Алексей.

— Нет, сказка, простая сказка.

В детстве сказки Тасе рассказывала бабушка. У бабушки были поучительные сказки про девочку Машу и мальчика Ваню, которые кончались так: «Вот почему надо слушаться взрослых и ничего не брать без спросу», или: «Вот почему надо в первую очередь помогать другим, а потом думать о себе». Если бабушка рассказывала что-нибудь из жизни принцев и принцесс, то все равно с моралью: «Вот, не будь принцем, а будь хорошим человеком».

Мать рассказывала классические сказки, пересказыва-

ла книги, очень сокращенно. Золотую рыбку. Спящую красавицу. Руслана и Людмилу. Аленький цветочек.

Был еще дядя, военный человек, майор. Он рассказывал военные истории, сказки про великанов и машины, смешные рассказы про солдат. «А вот был у меня маленький солдатик, красноармеец...» Дядю Тася слушала охотно, тем более что он всегда рассказывал новое.

И только у отца была в запасе одна-единственная сказка, которую Тася любила больше всего. Отец рассказывал эту сказку годы подряд, ничего в ней не изменяя.

Один маленький мальчик по имени Махмутка-перепутка пошел на мостик погулять. Пришел Махмутка-перепутка на мостик и увидел, что в речке плавают утки. Видит Махмутка-перепутка белую утку, видит Махмутка-перепутка серую утку, видит он черную утку, видит он фиолетовую утку, видит он розовую утку, видит он оранжевую утку. Отец перечислял все известные ему краски монотонным, серьезным голосом. Тася слушала его с напряженным вниманием, поживаясь от захватывающего интереса.

Отец кричал жене:

— Есть цвет электрик? — И продолжал: — Видит Махмутка-перепутка утку цвета электрик.

— Перестань, — укоризненно говорила мать. — Перестань над ребенком смеяться.

— Не мешай, — отвечал ей отец. — Видишь, мы слушаем.

И гладил Тасю по светлым рассыпающимся волосам.

— Дальше, — просила Тася. — Какую еще он утку увидел?

— Еще, еще... — вспоминал отец. — Ну как же, он еще увидел бежевую утку, и еще увидел наш Махмуточка-перепуточка серебряную утку. И еще коричневую.

— Коричневую он уже видел, — поправляла Тася, внимательно следившая за сказкой.

— Ну и что же? Он ее еще раз увидел. Он многих по два раза видел, — отвечал беспечный отец.

— А потом? — спрашивала Тася.

— А потом события развивались следующим образом. Махмутка-перепутка вынул из кармана булку и стал кидать крошки в воду. Синей утке крошку, красной утке крошку, зеленой утке крошку, желтой утке крошку, малиновой утке крошку...

— Малиновой утке крошку,— шептала Тася.

Другие старались, выдумывали новые подробности к старым сказкам, мать перечитывала Пушкина, дядя Са-ша называл своих героев смешными именами, над которыми сам хохотал, а отец по-прежнему выводил своего Махмутку-перепутку на мостик, давал ему в руки булку и начинал перечислять уток.

— Ну, рассказать тебе сказку? — спрашивал отец. Спрашивал не часто, чтобы не обесценивать сказку.

— Про Махмутку-перепутку? — кричала Тася.

— Про Махмутку-перепутку,— неторопливо подтверждал отец.

Тася мчалась к нему со всех ног, садилась рядом и, не отрывая глаз от его лица, слушала.

Когда сказку про Махмутку-перепутку предлагали рассказать другие, Тася отказывалась.

— ...Потом я думала, почему я так любила эту сказку? Вы скажете — глупая сказка, а в моих глазах Махмутка-перепутка был герой, к нему слетались утки со всех озер и рек. Позднее в моем воображении Махмутка-перепутка совершал небывалые подвиги. Теперь я понимаю, что он был всего-навсего несчастный мальчишка, у которого была только одна булка, а голодных уток было в те времена очень много,— рассказывала Тася.

Алексей засмеялся.

— Мне сегодня вечером захочется понравиться вашим, так что держите меня, чтобы я не начала врать.

— Ври сколько влезет,— сказал Алексей.

Они ушли из кафе и задержались в книжных магазинах на Кузнецком мосту. Искали какую-то нашумевшую книжку с таким упорством, как будто их счастье зависело от того, достанут они ее или не достанут.

— Мне она не нужна,— говорила Тася.

— Мне тоже,— говорил Алексей, и они шли дальше искать эту книжку. Они все-таки нашли ее в Петровском пассаже на лотке, втиснутом между выставкой-продажей гардин и витриной парфюмерии.

Они шли по Моховой, мимо старого здания университета, в университетском саду расположился книжный базар и толпились студенты. Потом через Арбатскую площадь и дальше по Арбату. У высотного здания Министрства иностранных дел, как всегда, было ветрено. У выхода из Смоленского метро цветочницы с негород-

скими красными лицами предлагали цветы. Алексей купил Тасе тюльпанов и нарциссов — весенних цветов.

«Я понял,— размышлял Алексей,— бог дал ей самое дорогое — простоту. Как она ходит, говорит, смеется... Нельзя быть лучше».

Тася подняла глаза на него:

— Что?

— Любуюсь тобой, нельзя быть лучше... Только почему ты не можешь мне «ты» говорить?

— Еще не могу,— улыбнулась Тася.

— Скорее бы,— сказал Алексей.

Они свернули с Садовой, посидели в скверике, где гуляли породистые собаки. Потом еще побродили по арбатским переулкам, которых Тася не знала, а Алексей знал и любил.

Прошел мимо них человек со скрипкой и запомнился. Остановилась посреди дороги машина, у которой кончился бензин, и они остановились посмотреть. Прошли женщины с кошелками, донесся обрывок фразы: «...Взяла еще три калорички по рублю...» — и женщинам Тася посмотрела вслед. Была во всем та неповторимость обыденного, которая присуща первым дням любви и запоминается навсегда.

«Пришел Махмутка-перепутка на мостик и увидел, что в речке плавают утки...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Алексей и Лена выросли в дружной и трудовой семье. У отца была профессия будничная и неблагодарная. Он был инженер-строитель, уходил на работу в семь часов утра, возвращался бог весть когда. Он никогда никого не ругал, понимал любые людские слабости, для него мир был населен хорошими людьми.

Отец ходил в синем бостоновом костюме, который блестел на заду и на локтях, любил поспать, потому что никогда не высыпался. Любил играть в карты, читать газету, слушать радио, любил летом поудить рыбу и поспать на берегу под кустом, чтобы, проснувшись, подмигнуть и улыбнуться своим суровым детям, которые не понимали, как можно жить такой неинтересной жизнью, и оуждали отца.

Алексей и Лене профессия отца, его работа, его боль-

шой потертый портфель, набитый сметами, расчетными справочниками и тонкими брошюрами об опыте передовиков-каменщиков и штукатуров, не нравились. Но, сами того не сознавая, они учились у него отношению к труду.

Мать преподавала в школе. Когда-то, в первые годы после революции, она работала с беспризорниками. То были для нее неповторимые и прекрасные годы. Годы ее молодости и молодости республики. Беспризорники, бездомные горемыки, вшивые и голодные, на ее глазах, с ее помощью, какой бы малой она ни была, становились людьми. Спустя десятилетие она встречала рабочих, инженеров, директоров, которым когда-то протягивала жестяные миски с пшенной кашей и учила грамоте.

Потом она работала в Наркомпросе, потом была директором школы, а потом пошла учиться — стали требовать диплом, которого у нее не было, — и окончила педагогический институт, когда ее собственные дети уже раздумывали над тем, в какой институт им поступать.

Когда Вера Алексеевна приходила домой, ей надо было готовиться к экзаменам, проверять тетради или немедленно уходить на совещание.

— За детей я все равно спокойна, — говорила она, — им не с чего становиться плохими. — И закуривала папиросу.

Когда настала война, семья разделилась. Отца проводили на фронт. Помолодевший в военной форме, он улыбался своим взрослым детям до последней секунды прощания. И они на долгие годы запомнили его напряженное, застывшее, улыбающееся лицо. Отчаяние пронизало их, когда отец уходил, чуть сгорбившись, и обернулся и в последний раз посмотрел на них. Уже было поздно, они уже не могли выразить ему, как они его любили. Как они всегда были невнимательны к отцу, не жалели, не ценили! Поздно, он скрылся в толпе, затерялся среди других таких же отцов, уходивших на фронт в первые дни войны. Теперь оставалось только ждать. Согнутая спина, застывшая улыбка на добром лице...

Вера Алексеевна уехала из Москвы в эвакуацию с детским интернатом, тетю Надю Алексей забрал к себе на завод. В квартире жила одна Лена — она училась в

медицинском институте. И остался московский адрес, старый синий помятый почтовый ящик на дверях.

Прошла война, и семья Изотовых опять собралась вместе. Вернулся отец, снял погоны майора инженерных войск, пошел в свое строительное управление, оттуда — на стройку.

Вера Алексеевна опять стала преподавать историю СССР, курила и нервничала по пустякам.

Теперь в редкие свободные вечера Алексей не убегал, а сидел с отцом на диван и слушал: о сдаче объекта — жилого дома, о мошенничестве кладовщицы, о неувязках штатного расписания. Отец, как всегда, никого не винил, никого не ругал, но он словно жаловался своему взрослому, умному сыну на бесконечные неприятности, потому что строить в те годы было трудно.

— Папочка, только не попади под суд, — говорила Лена, услышав об очередной неприятности отца.

— Не попади, — усмехался отец, и его голубые глаза за стеклами роговых очков смотрели весело и добродушно. — Попробуй не попади.

Казалось, все его усилия сводились к тому, чтобы что-то все-таки выстроить и не попасть под суд.

Последнее время у Кондратия Ильича появилось увлечение. Старого москвича, безумно занятого человека вдруг потянуло прочь из города, к природе. Теперь в субботу и воскресенье он ездил на дачу к приятелю и там, на отведенном ему клочке земли, разводил тюльпаны, ирисы, георгины. Он немного даже стыдился своего увлечения и говорил: «Поеду поработаю стариком садовником».

Вера Алексеевна слушала эти слова с насмешливой улыбкой, она была городской человек и не понимала стремлений мужа, а если Вера Алексеевна не понимала, то она и не одобряла. А если она не одобряла, то выражала это резко и прямо.

— Все от лени, — говорила Вера Алексеевна.

Ликвидация безграмотности в стране волновала в свое время Веру Алексеевну куда больше, чем здоровье мужа. О своем она вообще никогда не думала. «А, — говорила она, — болеть будем потом. Сейчас надо дело делать». Она была воспитана эпохой, ни одна заметка в газете не ускользала от ее внимания, но она многое не знала, например о своей дочери, которую очень любила.

«Человек красив тогда, когда красива его душа», — повторяла часто Вера Алексеевна. Поэтому, вероятно, ее дети ходили до школы в страшных одеяниях. У Лены было бесформенное красное платье, у Алексея — фланелевый лилово-коричневый костюмчик. Вера Алексеевна покупала на свободные деньги книги, чтобы отсылать их во вновь организуемую подшефную библиотеку одной подмосковной деревни. «Тебе, — с укоризной говорила тетка, — библиотека подшефная, а дети не подшефные», — и шила Алешеньке суконный костюмчик из своего старого платья, а Лену украшала воротничками и манжетами. Уютные, хорошо обставленные квартиры нравились Вере Алексеевне, но она разводила руками: откуда люди берут время и деньги? В этой семье могли десять лет ворчать и сердиться из-за сломанного дивана или колченогого стола, но не было никого, кто починил бы их. Никто не мог купить люстру, никто не мог повесить шторы на окна. Зато всегда находилось место для того, кто нуждался в ночлеге. Эти так называемые ночевальщики постоянно наводняли квартиру Изотовых. С ночевальщиками доходило до анекдота. Однажды был обнаружен совершенно незнакомый человек. Кто-то его прислал, Вера Алексеевна не поняла кто, из деликатности постеснялась уточнить. Явился он поздно вечером, его накормили супом и тушеным мясом, уложили спать на старом диване, он все порывался рассказать про какую-то стерву Люсю, а наутро тетя дозналась, что никто его не знает и он никого не знает. Все-таки его пожалели, не прогнали, он беззаботно прожил еще три дня и уехал к себе в Самарканд, очень довольный московским гостеприимством.

Так существовала семья. Старенькая тетя Надя с утра до ночи ходила открывать и закрывать двери, варила борщ и громко вздыхала, видя, как все торопятся поскорее уйти, убежать по нескончаемым делам, подгоняемые невидимой силой — собственным беспокойством.

Тетя Надя была очень маленького роста и толстая, с пышными, непоседевшими волосами, розовощекая, с крошечными руками и ногами. Она любила наряжаться, печь пироги, читать книги, лечиться и лечить других. Из одежды она любила блузы с длинными рукавами, перламутровыми пуговицами и черными бантиками, вязанные крючком кофты и фетровые береты. Любила сладкие пироги,

книги про любовь и лекарства без разбору: и порошки, и пилюли, и микстуры. Тетя Надя пела цыганские романсы, норовила сбежать в кино или в скверик, посидеть на скамеечке, отдохнуть от домашней каторги, как она говорила.

Жизнь семьи, с точки зрения тети Нади, шла неладно. Верой Алексеевной тетя была давно недовольна. Как Вера Алексеевна курила, как нервно и быстро разговаривала и любила говорить неприятные вещи, как надрывно работала — все это тете не нравилось. Выглядела Вера Алексеевна ужасно, у тети кожа на лице была лучше и морщин было меньше. Лена была слишком насмешлива и плохо — неправильно — воспитывала своего ребенка, то есть никак его не воспитывала. За Алексея тете Наде было обидно. В войну, когда она жила вместе с ним на заводе, Алешенька был главным инженером, у него было положение, а после войны — ничего. Потом Алешеньку назначили директором; немного времени прошло — бац! — его сняли, обидели несправедливо. Давно пора ему жениться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И вдруг Алексей сказал: «Завтра к нам придет Тася». Хотел сказать «моя девушка» — это звучало слишком современно. «Моя невеста» — слишком старомодно. «Моя будущая жена» было бы правильно, но Алексей не ска- зал этого.

«Может быть, опять ненастоящая», — подумала тетя Надя.

Когда на следующий день раздался звонок и тетя Надя открыла дверь и увидела Тасю, невысокую, нахмуренную, беленькую девушку, она сразу поняла, что — на- стоящая.

И начала волноваться. За Тасей стоял Алексей и улы- бался тетке. Толстененькая старушка церемонно пригласи- ла гостью войти.

Тася была особенно гладко причесана, волосы лежали как золотой шлем, у нее были подмазаны губы, на паль- це — кольцо с лиловым камнем, которого Алексей раньше не видел. Она держалась прямо и протопала в комнату на негнущихся ногах, с лицом испуганным и высокомер- ным.

В столовой, склонившись над журналом «Хирургия», уже сидела Лена в новом зеленом платье, в котором она выглядела еще толще, чем обычно. У Лены в глазах светилося любопытство, а улыбка была неестественная. Она с разбегу стала что-то рассказывать о сыне, заполняя громким голосом все паузы, которые могли возникнуть.

Тася всежливово поддержала разговор и что-то рассказала о своих двоюродных племянниках.

«Их надо выручать»,— решил Алексей и спросил:

— Что новенького у Склифосовского?..

Лена все так же возбужденно и неинтересно описала свою последнюю операцию. Тася задала несколько медицинских вопросов. Алексей рассказал глупейший анекдот и пошел за матерью в надежде, что она поможет.

Вера Алексеевна сидела у себя в комнате и зашивала чулок.

Алексей спросил:

— Мама, ну что же ты?

Вера Алексеевна в ответ крикнула:

— Не могу же я выходить в рваном чулке!

«Наша семейка со странностями»,— подумал Алексей.

Правильнее всего было бы сейчас выпить водки. Но водки не нашлось, тетя Надя купила только сладкого вина.

«Та-ак,— сказал себе Алексей,— еще лучше».

Вера Алексеевна вышла с папиросой и стала говорить о том, что не понимает «веяний времени». Это была ее худшая тема.

— Очевидно, мы стали стары, пора на свалку...

— Мама! — взмолилась Лена.

— А какие такие особенные веяния? — спросил Алексей.

— Мещанства много развелось. Мы когда-то плевали на удобства, ели картошку с селедкой, носили баретки и были счастливы.

Тася молчала. Она, конечно, не ожидала такого приема, да и Алексей никак не предполагал, что так получится.

Лена сказала примиряюще:

— Мамочка, времена меняются...

— Я и говорю, что меняются. Только не затыкайте мне глотку.

— Выйди,— шепнула Лена Алексею,— и позови маму в другую комнату. Я с ней поговорю.

— Не надо,— ответил Алексей,— ничего, образуется.

Но ничего не образовалось. Только под конец приехал с дачи Кондратий Ильич, ничего особенного не заметил, сразу стал улыбаться Тасе, рассказал про свою грядку с салатом и как надо ухаживать за помидорами.

— Ничего,— шепнула расстроенная Лена брату, когда он поднялся, чтобы идти провожать Тасю,— в следующий раз будет лучше.

— Если она согласится прийти в следующий раз,— сердито ответил Алексей.

Потом все были расстроены. Больше всех Вера Алексеевна.

— Окаянство! — говорила она.— Это меня ревность обуяла. Вдруг стало жалко сына чужой женщине отдавать.

Алексей возмущался:

— Я знаю, что наша семейка со странностями, но это переходит границы.

— Ужасно! — каялась Вера Алексеевна.— Разве я не понимаю?

На следующий день Алексей опять пригласил Тасю, надеясь, что она согласится. Она согласилась.

Вера Алексеевна всячески старалась сгладить неприятное впечатление от первой встречи, никого и ничего не ругала и называла Тасю деточкой. Тася держалась просто и весело, как всегда, и Алексей видел, что она всем нравится. Недоразумение было забыто, и все дорогие Алексею люди сидели вместе в полном согласии и, наверное, удивлялись самим себе. Алексей курил, улыбался, а когда вставал за чем-нибудь, начинал громко напевать: «В каждой строчке только точки,— догадайся, мол, сама... И кто его знает, чего он моргает...» Было известно, что если он поет «В каждой строчке только точки...» — значит, у него очень хорошее настроение.

Вера Алексеевна, узнав от сына о смелом поступке Таси на заводе, захотела обязательно показать ее своим друзьям.

У Веры Алексеевны были старые друзья, связанные с нею еще по работе в трудовых колониях и в Наркомпро-

се. Всю жизнь Вера Алексеевна требовала от детей и от мужа особенного уважения к ним.

Дети и муж любили старых маминых друзей, но старались держаться от них подальше. Тем более что они были порядочные крикуны — старенький дядя Ефим, который никому не был дядей, и тетя Клава, которая тоже никому не была тетей, и Маруся и Горик, которых все так и называли Марусей и Гориком, хотя они были седовласые тучные люди.

Тетя Надя дала им всем меткое прозвище «скандалисты». Они на самом деле были скандалистами и, собираясь все вместе, страшно ругались и шумели. Если в одной комнате сидели «скандалисты», а в другой — первокурсники медицинского института или нефтяники средних лет, то молодым не перекричать было старых. «Скандалисты» кричали по любому поводу и всех критиковали. В свое время «скандалисты» стыдили детей за плохие отметки, за плохую общественную работу. Они отличались большой требовательностью к людям и снисходительностью к самим себе.

«Скандалисты» вмешивались во все дела, вплоть до интимных. Если Вера Алексеевна не могла справиться с дочерью или сыном, она призывала «скандалистов». Те обожали налаживать порядок в семейной жизни Изотовых и вообще друг у друга.

Алексей спрашивал Лену: «Слушай, ты не знаешь, сегодня мамы скандалисты придут?» — и, если ответ был положительный, Алексей смывался. А «скандалистов» тянуло к молодым. Они любили приходить и садиться и подробно расспрашивать о комсомольских делах, любили обсуждать статьи «Литературной газеты» или «Комсомольской правды», хохотать, ругаться и спорить. Спорщики они были страшные, могли переспорить кого угодно. Как ни уговаривал деликатный Кондратий Ильич «скандалистов» сидеть спокойно и не мешать молодежи, у которой свои дела, удержать их было невозможно. Дядя Ефим, худой, высокий, с висячими желтыми усами, и тетя Клава, и толстый Горик с толстой Марусей, и сама Вера Алексеевна, попыхивая папиросой, звали к себе Лену с подругами и товарищами, чтобы спросить, «как жизнь», или, вернее, «как житуха». Они сохраняли лексикон двадцатых годов, говорили «братва», «питерцы» вместо «ленинградцы» и употребляли жаргонные словеч-

ки, которым выучились когда-то у своих воспитанников. Они начинали с вопроса, «как жизнь», а кончить могли самым неожиданным — например, коллективным письмом в редакцию «Литературной газеты», копия в Союз писателей. Или криками и обвинениями бог знает в чем сидящих перед ними мирных молодых людей. Ведь они были «скандалисты» и без сражений не могли жить.

«Скандалисты», уже пенсионеры, были неистовыми борцами за справедливость и, между прочим, очень любили писать. Писать, коллективно и индивидуально, письма в редакцию, воспоминания, статьи, критические работы и даже рассказы и повести. Дядя Ефим писал стихи, а тетя Клава статьи и воспоминания. Маруся ничего не писала, она была не особенно грамотная, а Горик писал тоже воспоминания. Все эти авторы успели свыкнуться с мыслью, что их не печатают, кроме дяди Ефима, который находился в таинственных отношениях со всеми редакциями и намекал подругам Лены, чтобы они ждали.

«Скандалисты» были по существу не вредные люди. Когда у кого-нибудь случалось несчастье, они сочувствовали и изо всех сил старались помочь.

Когда-то «скандалисты» вместе с Верой Алексеевной проповедовали простоту, отношений: полюбили — сошлись, разлюбили — разошлись, а теперь уже давно считали, что дочери должны выходить замуж за хороших людей, а сыновья — жениться на порядочных женщинах. Когда-то «скандалисты», как и Вера Алексеевна, плевали на бытовые удобства и никак не обставляли своих полученных по ордерам квартир и комнат. Теперь они, как все люди, ценили уют, только не умели его создавать.

Этим своим друзьям Вера Алексеевна хотела показать Тасю.

Алексей не стал ничего говорить Тасе о «скандалистах». Пусть разберется сама, решил он.

Она разобралась мгновенно. Не прошло и получаса, как она сидела и разговаривала со «скандалистами» так, словно вместе с ними всю жизнь занималась ликвидацией беспризорности и неграмотности. «Скандалисты» приняли ее как свою. Тася, торопясь и размахивая руками, в точности как сами «скандалисты», рассказывала им какую-то историю.

Больше того, когда уходящий в гастроном Алексей вернулся, он обнаружил, что Тася поет старательным го-

лосом песню с жалобными словами, а «скандалисты», пригорюнившись и сбившись в кучу вокруг нее, слушают.

— Ну и ну,— сказала тетя Надя.

После ужина «скандалисты» стали уговаривать Тасю и Алексея идти с ними в кино. Они часто ходили в кино все вместе и почему-то всегда знали наперед содержание картины.

Тася покорила «скандалистов». До нее у них был только один любимчик — Кондратий Ильич. Он единственный стоял вне ругани и критики — не потому, что в нем не видели недостатков, недостатков в нем видели кучу, но ему все прощалось. Его баловали, делали подарки по списку, им самим составленному: носки, запонки, подстаканник, портсигар, перчатки, а также майки, трусы, рубашки. Кондратий Ильич разговаривал со «скандалистами» исключительно о политике. Все многочисленные проблемы воспитания, любви и дружбы, а главное, современная литература и хитрые ее толкования его не интересовали. Другому бы не простили, обвинили бы в отсталости и скудоумии, а ему прощали. Только Вера Алексеевна потом, сверкая папиросой, делала ему строгое внушение, напоминая о заслугах дяди Ефима или Горика в деле ликвидации беспризорности и безграмотности в Рогожско-Симоновском районе города Москвы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Человек может наделать кучу глупостей, прежде чем поймет, что это были глупости и пора взяться за ум и идти дальше, за своим счастьем. Не надо горевать и ругать себя, потом может вдруг оказаться, что все получилось очень хорошо и именно благодаря этим глупостям все и получилось.

Так примерно рассуждал Алексей. Ему хотелось видеть все в радостном свете. Счастье заключалось в том, что он встретил Тасю и полюбил ее и она полюбила его. «Полюбила ли?» — спрашивал себя Алексей и не задавал этого вопроса Тасе.

Он не был уверен в ней, зато был уверен в себе. И счастлив. Разве был бы он счастлив, если бы она его не любила! Она любила его, только сама еще не знала и не понимала этого. Но она поймет и скажет. Он ждал этого каждый день, каждую минуту.

А пока? Пока все-таки было хорошо. Они виделись ежедневно, подолгу.

Тася мало говорила о себе. На все расспросы отвечала: «Ничего». Она была отцу сиделкой и медицинской сестрой, делала уколы, стряпала и кормила, сдавала кандидатские экзамены, вела научную работу. Это Алексей знал.

Видеть, как она бьется, и не иметь возможности помочь было трудно. Он хотел бы взять ее заботы на себя, но она даже не пригласила его к себе, не познакомила с отцом.

— Я боюсь,— объяснила она,— отец разволнуется. Ему сейчас нельзя волноваться.

Алексей готов был возразить, но не хотел огорчать Тасю. Он не представлял себе, что могли существовать причины, которые помешали бы ему привести Тасю к себе в дом.

— Я его подготовлю постепенно, а пока...— Тася улыбалась,— надо держаться.

«Держалась» она великолепно. Алексей забывал обо всем и видел только ее красоту, легкость, готовность смеяться. Она была всегда подтянута, тщательно одета. Она спрашивала Алексея, нравится ли ему ее платье, идет ли ей платочек. Алексей восторгался, щупал материю, а она внимательно и серьезно слушала и могла слушать долго. «В этом они все одинаковы»,— снисходительно думал Алексей, вспоминая, как три женщины в его родной семье могли радоваться покупке самой пустяковой.

Он уговорил Тасю пойти в ГУМ и купил ей кремовую индийскую шаль. Спросил: «Нравится?» — и пошел платить в кассу. Тася залилась краской. Если бы Алексей мог, он купил бы все, на что она посмотрела.

Шаль была газовая, с широкой золотой полосой и яркой этикеткой с английскими словами «Сделано в Индии».

От кого-то Алексей слышал, что подарки не должны быть предметами первой необходимости. В этом отношении индийская шаль была бесподобной. Алексей даже опешил, когда увидел этот сверкающий театральный, бесполезный предмет в руках у Таси.

— Ты сможешь ее когда-нибудь надеть? — спросил он, смеясь.

— Да, конечно,— ответила она, сложила шаль вчетверо и накинула на голову.

Они должны были расстаться на несколько часов, а вечером опять встретиться. Алексей поехал проводить Тасю.

Теперь они стояли в темном парадном дома, где она жила, на Таганке, и прощались.

«В подъезде, кажется, полагается стоять до двадцати лет, но не после тридцати»,— подумал Алексей.

В парадное проскользнули две тени и быстро обнялись. Тася и Алексей, не сговариваясь, бесшумно поднялись на один этаж. Тася прижалась щекой к груди Алексея. От нее пахло духами и лекарствами.

Когда Алексей спускался, он оглянулся на влюбленных, которые согнали его и Тасю с их места на лестнице. Они делали вид, что собираются звонить по телефону-автомату, висевшему на стене. Алексей усмехнулся — его с Тасей тоже выручал этот сломанный телефон-автомат.

В один из дней, когда Тася была у Алексея, без предупреждения пришла Валя.

Для Вали с ее стремлением протолкнуться и устроиться в жизни получше семья Изотовых, как ни странно, была дорога. В детстве и в юности приходила она сюда, и ее принимали как свою, потому что сперва Лена дружила с нею, а потом Алексей любил ее.

С Леной она сохраняла дружбу-вражду. Валя завидовала тому, что Лена жила в Германии, что Лена вышла замуж, что она талантливый хирург, что у нее новая квартира. И радовалась, что Лена растолстела, и часто говорила ей: «Ты совсем не толстая». Потом фальшиво-участливым голосом спрашивала: «Ну что, ты уже оперируешь на сердце?»

Она почти вышла замуж за немолодого профессора геологии. Но говорить об этом было рано. Профессор не развелся со старой женой.

Валя вошла и остановилась, увидев Тасю.

«Ясно,— сказала себе Валя,— с этим вопросом все». И почувствовала, как у нее забилося сердце.

За столом сидела белокурая девушка с презрительными припухшими глазами и золотым шарфом на плечах. Желанная гостья и любимая женщина. Алексей держал

ее руку и смотрел на нее так, как никогда не смотрел на Валию.

— Здравствуйте, друзья! — Валя села и улыбнулась улыбкой старого друга. Ямочки появлялись на круглых щеках ее, когда она улыбалась.— Рада с вами познакомиться,— сказала она Тасе с небрежной любезностью,— хотя мы виделись на вокзале.

Тася что-то рассказывала, теперь она замолчала.

— Что же было дальше? — спросил Алексей.

Тася молчала. Эта женщина в красной шляпе явилась из прошлого Алексея. Разговаривать при ней Тася не хотела.

Тетя Надя ставила чашки на стол, хвалила какой-то фильм, резала сладкую булку и обо всем спрашивала мнение Таси. О фильме, об артистах, с чем лучше пить чай — с халвой или с кренделем.

Округлое лицо Вали покраснело от злости и как будто распухло.

Алексей обманул, изменил, а теперь заслонял собой эту пигалицу, и толстая тетка взволнованно кудахтали, и все они боялись Вали.

— Алешик,— сказала Валя,— как дела? Ты все еще безработный, бедненький? Я охотно выпью чаю,— обратилась она к тете Наде.— У вас всегда крепкий и вкусный чай.

«Неужели я любил ее?» — подумал Алексей о Вале.

Он смотрел, как Тася, опустив лицо, ложечкой размешивает сахар и хмурится.

«Она достаточно умна, чтобы не обидеться на Валин приход», — сказал себе Алексей.

Тася подняла голову. Ее зеленые продолговатые глаза стали злыми.

Тася и Алексей ехали в гости. Они вышли из такси перед огромным новым домом на Большой Калужской. Светились разноцветные окна. Тася остановилась, сосчитала этажи.

— Хочу жить на девятом этаже. Девять делится на три, и много солнца.

Хозяин был приятель Таси, доктор технических наук, молодой человек тридцати четырех лет. Его называли Сашей. Жена была старше его, дочь академика.

— Это наша компания, раньше мы встречались часто,— пояснила Тася.— Интересные люди, по-моему.

Гости собрались. Хозяйка, ее звали Ритой, пела джазовые песенки. Саша вел концерт жены. Потом Рита откланялась и с тем же тоскливым выражением лица, с каким пела, пошла к столу, переставлять хрустальные вазы с салатом.

Алексей побродил по большой квартире. Трудно было понять, чья это квартира — молодого профессора или старого академика. Множество картин висело на стенах. Мебель кругом стояла новая, новыми были книги в книжных шкафах, хрустальные люстры свисали с потолка. Алексею стало скучно.

Рита с металлическими серьгами и браслетами, стоя у накрытого стола, смеялась, а ее голубые глаза навывкате напряженно следили за мужем.

Алексей перевел взгляд с хозяйки дома на гостя, стоявшего рядом с нею. У гостя было симпатичное, открытое лицо. Он перехватил взгляд Алексея и подошел к нему.

— Мы с вами кончали один институт, только вы немного раньше. Рад познакомиться — Киселев.

— Это мой приятель,— сказала Тася.

Позвали к столу. Он был накрыт красиво и пышно, но еда была невкусная. Саша кричал: «Рита, развлекай гостей», «Рита, почему гости мало пьют?», «Рита, никто ничего не ест», «Риточка, поздравляю, твой салат успеха не имел». Он торопил гостей: «Как, вы еще не съели?», «Кушайте, кушайте, не ленитесь!» Рита принужденно и громко веселилась; казалось, что она сейчас заплачет и убежит.

Саша был розовощекий, с начинающимся брюшком и плешью, озерцом сверкавшей среди прилизанных волос. Глаза у него были очень живые, лоб разрезали ранние морщины, а губы были толстые, и он ими постоянно шевелил, как будто шептал что-то. Он острил, провозглашал тосты, шумел, вскакивал.

Алексей смотрел на него и думал: неужели человек не знает, какой он противный? Но этот, конечно, не знал. Он был доволен собой, восхищен.

— Поднимаю бокал за влюбленных! — провозгласил Саша и оглядел стол.— Выпили, гости? — спросил он.— Теперь за меня, как за отъезжающего в дальние страны. Тэнк ю вери мач,

Были в хозяйине дома бойкость и развязность, ненавидные Алексею.

— Он едет в Аргентину. Он последний год все больше ездит. Пробился и пошел,— сказал Алексею Киселев.— Пробивной товарищ.

— Салат с майонезом? — спросила Тася и положила Алексею на тарелку салата.— Что еще?

— Салат с майонезом,— улыбнулся Алексей.

Тася была расстроена, видя, что Алексею не по себе в этой компании. Он молчал. Русая прядь волос все время падала ему на лоб, и он проводил по лбу и по волосам рукой. Казалось, он отгоняет грустные мысли. Тася несколько раз посмотрела на него, но он не замечал ее взглядов.

Тася понимала, что он чужой здесь. Даже внешне он отличался от всех, он был самый высокий и самый загорелый. Он не смеялся вместе с другими, спокойно смотрел и слушал, но на его лице откровенно отражалась скука, желание уйти.

Зачем она привела его сюда? Ведь нетрудно было догадаться, что ему здесь будет противно. Ей самой давно уже не нравится этот дом, этот процветающий Саша и поющая Рита. Впрочем, Риту ей жаль, а к Саше она привыкла. Но зачем она потащила сюда Алексея? Зачем «предъявила» таких друзей? Поймет ли Алексей, что это просто старые знакомые и когда-то они были лучше, может.

Не надо врать, они всегда были довольно дрянными, и Тася это прекрасно видела, но сохраняла отношения просто так, не дружила и не ссорилась, а приходила раз в год «в гости». Вот и Алексея привела. А здесь все пошлость и пошлость, салат с майонезом. И на нее тень падает. И главное, что, кажется, ей никто не нужен, кроме него. До сих пор она не заботилась, что Алексей будет о ней думать, все шло само собой, он восхищался ею, она принимала это как должное. А сейчас, в эту минуту, он не восхищался ею. Он ушел от нее. Он опять провел рукою по волосам, посмотрел на нее невнимательно, как будто издаleка. Она не знала, что сказать. Да и говорить нечего, его не вернешь, пока он не вернется сам.

Одна из женщин за столом предложила выпить за

«плавающих и путешествующих» и посмотрела на хозяина.

Саша, сверкая живейшими глазами, провозгласил шведский тост: «За меня, за тебя, за всех хорошеньких девушек на свете!» Он произнес его по-шведски и перевел.

— Хороший тост? — спросила Тася.

— Плохой, — ответил Алексей.

После ужина, окончившегося полурастаявшим мороженым, которое гости сами носили из холодильника, Саша начал заводить пластинки. Он осторожно брал пластинки в руки из особенного, специального ящика и показывал гостям, главным образом той девушке, которая пила за путешествующих и которую звали Ларисой. Лариса смеялась. Саша брал ее за руку выше локтя и что-то ей шептал. А жена делала вид, что ей весело, и, подражая Ларисе, размахивала юбкой, открывала некрасивые, худые ноги.

— Уйдем, — сказал Алексей.

— Да, да, конечно, — поспешно сказала Тася.

Киселев вышел вместе с ними. Возле подъезда стояла его машина, он предложил подвести.

— Алексею Кондратьевичу не понравилась вся компания, — сказал Киселев.

Алексей промолчал.

— Хоть бы из вежливости возразил, — пошутила Тася. — Саша, конечно, вначале производит неприятное впечатление, но у него голова на плечах, очень талантливый человек.

— А-а! — Киселев затормозил на желтый свет. — Голова головой, Тасенька, руки должны быть чистые. Женщины часто за успех прощают то, чего прощать нельзя. Сашка умеренно талантлив, не надо преувеличивать. Но он страшный человек. Ему все мало, все хочет скорей, больше. Вещей, денег, званий. Женился, держится с женой как подлец. А она еще поет, дура.

Киселев замолчал, потом продолжал:

— Тесть слабохарактерный: Сашка на него жмет бешено, а старик не может отказать дорогому зятю. Противно, конечно.

— На свете так много хороших людей, что незачем иметь дело с дрянью, — сказал потом Алексей, когда Ки-

селев довел их, попрощался и уехал.— Что связывает тебя с ними? Я не говорю о Киселеве. Киселев мне понравился.

— Саша не такой плохой,— возразила Тася.

— Содержание подлости в человеке не выражается в процентах. Какая разница, такой или не такой.

— Он блестящий человек. В тридцать лет доктор наук!

— Блестящий? Это рыцари удачи. И их женщины, вроде Ларисы, такие же.

— Не говори больше ничего. Когда ты там сидел, я пожалела, что притащила тебя. Сама не знаю зачем. И мне это не нужно было. Ты не будешь на меня сердиться? — медленно проговорила Тася и заглянула Алексею в глаза.

— Звездочка моя! — Алексей привлек Тасю к себе.— Все это для нас с тобой такая чепуха! Ты мне показала Сашу, я тебе Валю, один другого стоит, будем считать, что мы квиты.

— Ты заметил, что я говорю тебе «ты»? — спросила Тася с застенчивой улыбкой.

— Еще бы.

— Я тебя люблю,— сказала Тася.

Следующей ночью Алексей улетал. Улетал он не с парадного Внуковского аэровокзала, где все говорит о комфорте, о загранице и путешествиях, откуда столицы мира кажутся такими близкими, потому что голос диктора напоминает беспрерывно: «Приземлился самолет Стокгольм — Москва», «Производится посадка на самолет, следующий по линии Москва — Будапешт». Мелькают хорошо причесанные стюардессы, вежливые представительницы неба, а в газетных киосках продают журналы с яркими обложками и свежие газеты на всех языках.

Алексей улетал со скромного Быковского аэродрома, откуда на восток страны улетают деловые люди, инженеры и рабочие, создающие нашу могучую промышленность. Самолеты здесь курсируют попроще, и зал ожидания обставлен не мягкими низкими креслами, а скамейками, и голос диктора не провозглашает громких названий городов мира.

И публика на этом аэровокзале выглядит иначе. Нет

курортниц, иностранцев и важных командированных, наделенных высокими полномочиями, а если они и есть, то незаметны, сливаются с деловой, скромной толпой. Многие у стойки не торопясь с удовольствием выпивают перед полетом рюмочку коньяку и закусывают бутербродами с икрой или семгой. Отсюда вылетают люди привычные, еще недавно проводившие значительную часть жизни в полетах-перелетах из Москвы и в Москву, в главки, управления и министерства. А теперь кончилась эта жизнь, прекратила свое существование целая прослойка толкачей и выбивал, артистов этого дела, ценных своим знанием ходов и выходов в министерствах, и, может быть, в ту весеннюю ночь они со вздохом выпивали свои последние порции аэродромного коньяка. Совнархоз уже не то, совнархоз близко, в совнархоз на самолете не полетишь, дайте-ка еще коньячку с лимоном и пачку «Беломора»!

В скромном палисаднике пахло нарциссами и травой. Гудели самолеты, в небе плавали красные огни, путаясь со звездами.

Из репродуктора на столбе слышалась музыка, голос пел:

Потерял я Эвридику,
Нежный свет души моей,
Бог суровый, беспощадный,
Скорбя сердца нет сильней.

— Как там? Пошел Махмутка-перепутка на мостик. Синей утке крошку, малиновой утке крошку,— сказал Алексей.

— Алеша,— сказала Тася отчаянным и решительным голосом,— я должна тебе рассказать. Это о прошлом, но ты должен знать.

Алексей остановил ее:

— Не надо. Я ничего не хочу знать кроме того, что люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой.

Тася посмотрела на него растерянно.

— Я думала...— сказала она и замолчала.

Не раз впоследствии она вспоминала лицо Алексея, твердое, нахмуренное, и повторяла про себя его спокойные, отстраняющие слова.

Они прошли в зал ожидания. И сразу услышали: «Пассажира Изотова просят пройти на посадку...»

Тася вышла с Алексеем на летное поле. Чувство утра-

ты пронизало ее, когда она попрощалась с Алексеем и стала смотреть, как он идет к самолету.

Алексей обернулся, помахал рукой.

В темноте ночи Тася увидела, как самолет поднялся в воздух и скрылся в небе, стал одним из красных уплывающих огней.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Алексей в своей кочевой жизни привык к таким городам и любил их. Такие города закладывались в годы первых пятилеток, а строились по-настоящему уже после Отечественной войны. Возникали они возле крупных заводов, комбинатов, на месте какого-нибудь села, деревни, маленького городка, а то и вовсе на пустыре.

Вырастал современный город, и его называли социалистическим. Соцгород. Прямые просторные улицы-проспекты, площади и парки с деревьями, еще не дающими тени.

Строгая, продуманная архитектура, единый план. Выработался определенный стиль домов в четыре этажа, со светлой облицовкой и скверами во дворах.

По улицам пускали троллейбус, а трамвай ходил лишь из города на завод и бегал по окраине. Впрочем, и окраина не была окраиной в привычном смысле слова; с деревянными домиками, с переулками и тупичками, утопающими в лужах и грязи. На окраине также стояли современные дома, достроенные или недостроенные, и стрелы мощных кранов. Лужи и грязь были там, где еще не было асфальта.

Алексей оставил вещи в гостинице и ходил по городу. Было жарко, ветрено, и казалось, что неподалеку море. Но моря никакого не было, а в нескольких километрах протекала река.

Алексей остановился у киоска с газированной водой; там продавались банки яблочного соуса, ириски, поджаристые вафли, пахнущие детством. Попил водички. Побродил по центральной улице. Витрины магазинов были широкие, но пустоватые, пыльные, скучные. Дома же здесь стояли прекрасные.

В городском сквере вдоль дорожек были установлены стенды с портретами передовиков нефтеперерабатывающих и химических заводов.

У входа во Дворец культуры висело объявление, что вечером танцы, «играет оркестр». На соседней улице находился Клуб строителей, менее пышный, чем дворец, но тоже колонны, широкие ступени, серый и красный мрамор. Висело объявление, что состоится «Вечер вопросов и ответов». И приписка сообщала, что вечер отменяется «ввиду малого количества вопросов».

Алексей засмеялся — никто не хотел задавать вопросы, все хотели идти на танцы.

Было воскресенье. По улицам гуляли люди, нарядно одетые, ходили медленно, занимая всю ширину улицы, семьями или компаниями. Женщины в шелковых платьях и разноцветных соломенных шляпах, дети в костюмчиках, с мороженым в руках. Отцы задерживались у киосков, пили пиво. Почти все здоровались, почти все были знакомы между собой. Останавливались, долго разговаривали, долго прощались.

Седой человек в холщовом костюме нес две плетеные сумки с картошкой, видимо с рынка. Лицо его показалось Алексею знакомым. Впрочем, многие лица казались знакомыми. «Нефтяники,— подумал Алексей.— Действительно, профессия метит людей».

— Мне эти семьдесят пять рублей Настины прямо как сулема,— говорила девушка в красном платье своей подруге в точно таком платье. И туфли у обеих были одинаковые, и сумки, и прически.

Пританцовывая и напевая, прошли местные стилиги, нестриженные безобидные мальчишки в сатиновых штанах и ярких галстуках.

Девушка в красном платье сказала своей подруге:
— Паразиты.

На углу под вывеской «Производится покраска обуви в любой цвет» сидела старуха в платке и большим пальцем красила все ботинки в коричневый цвет.

Алексей всматривался в проходящих, ожидая встретить кого-нибудь знакомого. На заводе, куда он приехал в командировку, он знал многих.

Сознание, что сейчас он обязательно кого-нибудь встретит, было приятным, и Алексей шел по улице, смотрел по сторонам и улыбался.

Навстречу шел Казаков, его старый друг. Высокий, большой, грузный. Бросился к Алексею.

— Дорогой, какими судьбами? Когда приехал? Вот я рад, рад ужасно.

Он с медвежьей грацией обнял Алексея, поцеловал. Всегда ироническое лицо Казакова сияло искренней радостью.

Вьющиеся смоляно-черные волосы падали на лоб, лицо загорелое. Крупный нос, крупные губы, густые брови, живые, блестящие черные глаза. Хорошо сшитый темный костюм не мог скрыть раздобревшей фигуры.

— Вот черт, какой толстый стал,— сказал Алексей, смеясь,— брюхо какое отрастил. Позор. А гимнастика?

Казаков похлопал себя по животу.

— Трудовая мозоль, дорогой. Сажу в кабинете, нажимаю кнопки, пишу бумаги. Рукувожу.

— Да брось, не верю.

— Не верит,— усмехнулся Казаков.— Завтра увидишь.

— Я на твой завод приехал. Ты кем сейчас?

— Зам главного инженера. А ты? Ты, может быть, начальство из Москвы? Или как? С завода тебя ушли? Не женился? Как Лена? Идем на скамейку в сквере, присядем.

Они сели на скамейку в тени. Казаков скрестил большие руки на груди, сощурившись, посмотрел на Алексея.

— Да-а, дорогой.

Алексей постучал Казакова по коленке, тоже сказал:

— Да-а.

Алексей закурил, и Казаков закурил.

— Вот какие дела, дорогой,— сказал Казаков.— Ты почему сесть начинаешь? Ты же молодой.

— А ты почему такой толстый? — ответил Алексей.

Они засмеялись.

— Как завод? — спросил Алексей.

— Директор наш Терехов — мужик крепкий. Авторитетный. План выполняем. В общем, мы теперь солидная фирма.

Мимо двигались гуляющие. Казаков непрерывно кивал и ухмылялся. Пахло травой, землей, клевером, который розовел вокруг. В сквере еще не было клумб, аккуратно подстриженного кустарника, цветов, только трава и клевер и молодые, почти без листьев, деревья, лыком привязанные к колышкам.

— Прогуляемся к реке, поговорим, а потом ко мне,— предложил Казаков.

Они встали со скамейки и пошли.

— Как твои? Аня здорова? — спросил Алексей о жене Казакова.

— Сын большой парень стал! — Казаков заулыбался.— Огромный, отца перерос. Книжки читает с утра до ночи. Подлец. Лентяй.

— Аня?

— Здорова, работает, все в порядке,— ответил Казаков.— Город тебе покажу. Понастроили за эти годы, город растет, дома вполне приличные. А тебя что на заводе интересует?

— Каталитический крекинг.

— Мое хозяйство.

— Молодец,— похвалил Алексей приятеля.— Какая производительность на крекингах?

— Слушай, друг, я тебя знаю, если я сейчас отвечу, я погиб. Ты меня заговоришь. А я хочу знать московские новости. Хочу знать, как твоя сестра. Все такая же красавица?

— Какая она красавица! Растолстела.

— Замужем?

— Замужем. Муж — физиолог. Она — хирург. Сынишка у них.

Когда-то давно, в студенческие годы, Казаков был влюблен в Лену, но Лена едва ли даже знала об этом. Все были тогда молодые, Казаков был тощий, бледный юнец, увлекался балетом, футболом.

— Счастлива? Как хорошо,— добро проговорил Казаков.

— Лена молодец, к операциям на сердце подбирается. Недавно один француз был у нее в клинике и говорит ей: «Мадам, я видел много женщин, которые разбивают сердца, но женщину, которая их зашивает, я вижу впервые».

— Да, Леночка молодец,— сказал Казаков,— настоящий человек.

Маленький, толстый, лысый человек в украинской рубаше остановил Казакова.

— Привет. Еще вопрос. Мы закрыли, а вдруг у вас клапан не работает?

— Ваше «а вдруг» невозможно,— смеясь, ответил Казаков.

Маленький человек скептически покачал лысой головой.

— Ой-ой!

Когда он отошел, Казаков пояснил:

— Хотим потушить факел. Эти факелы как бельмо на глазу, сам знаешь.

Алексей знал, еще бы. Это грех, который не скроешь, видно издалека невооруженным глазом. Даже сегодня утром, когда Алексей ехал с аэродрома, женщина в автобусе, увидев эти факелы, вскрикнула: «Ой, горит!», потом выяснила, что это такое, и возмущалась: «Какая бесхозяйственность! Газ зря сжигают! Небо отапливают!»

— Что ж,— сказал Алексей,— потушить факел — это дело государственное.

— Сказал в точности как наш директор,— засмеялся Казаков.— Он мастер такие слова произносить. А мне ты так не говори, у нас все дела государственные, других нет. Во всяком случае, директор решил во что бы то ни стало потушить факел. Значит, надо газ с факела спихнуть тэцовцам, а они отчаянно сопротивляются. То есть они согласны, ради бога, но... Тысяча «но»!

Маленький человек вернулся.

— Анализ газа вы мне когда дадите?

— Хуже вашего топлива не будет, можете не беспокоиться.

— Ой-ой! — скептически сказал маленький человек и пошел дальше.

— Тоже хитрый! — засмеялся Казаков.— Это их главный инженер, умный, черт! Но все равно придется им рано или поздно наш газ забрать. Заставим.

— Скажи лучше, куда мы идем, где река?

— А, тебе нужна река, старый друг тебе не нужен!

Через минуту они стояли на обрыве. Широкая городская улица с многоэтажными домами неожиданно и резко обрывалась, и дальше шел зеленый, поросший кустами шиповника, ромашками и лилово-розовым татарником крутой спуск к реке.

По реке двигались лодки, бежал юркий, веселый пароходик, на желтом песчаном берегу блаженно растянулись люди, рыболовы склонились у воды.

— Благодать! — Алексей сощурился, подставил лицо

солнцу и подумал, как хорошо, если бы Тася была здесь, забрать ее от больного и, наверно, капризного отца, заставить целый день гулять, купаться, чтобы ее нежное лицо загорело, стало румяным.

Сейчас он пойдет на телеграф и даст телеграмму: «Приезжай». Он стал придумывать текст телеграммы. «Приезжай. Умоляю. Не могу без тебя». Не так. «Приезжай. Не могу без тебя жить». То есть могу, но не хочу. Окончательный текст: «Приезжай немедленно».

— Ох! — вздохнул Казаков. — А рыба у нас пахнет нефтью. Чего они ее удят, не понимаю. Есть все равно нельзя.

— Безобразие, — согласился Алексей, не в силах поддержать сейчас эту столь острую среди нефтяников тему. — А где тут у вас телеграф?

— Ты что, спятил? Как это где? Где надо, там и телеграф. А здесь река, рыбаки здесь есть, лодки, например, — ответил Казаков, но, посмотрев в лицо Алексею, переменил тон. — Вон что, брат: Я тебя потом отведу. Или требуется сейчас же?

— Ладно, можно немного подождать.

— Вон завод, — показал Казаков рукой, — вон три этажерки, крекинги, это наш завод, рядом завод синтеза спирта, а туда дальше, вправо, строительство еще одного смежника, синтетическое волокно, а налево, ты не различишь, химический, вон катализаторная фабрика... — И двинулся от обрыва туда, где виднелась дорога вниз.

— Мощная картина, — проговорил Алексей. — Люблю.

По пыльной проезжей дороге спускались к реке люди, заиграл аккордеон, кто-то запел:

Он был задержан милиционером,
Потом с ним беседовал судья...

— Частушка-нескладушка! — засмеялся Казаков. — Вот так и живем.

Пробежали вприпрыжку босоногие девчонки в грязных платьях, с распущенными волосами, как маленькие несчастные ведьмы.

Подвыпившего парня в голубой рубашке бережно вели под руки две немолодые женщины и приговаривали: «Ну, Ваня!»

Человек десять, раздетые по пояс, с полотенцами, в соломенных шляпах, ехали вниз на старом разбитом гру-

зовике. Поднимавшийся навстречу серебристый «ЗИЛ» остановился. Из «ЗИЛа» высунулся шофер, крикнул:

— Давай проезжайте, ребята!

— А это у нас «Волга»! — ответили ему с грузовика, и все засмеялись.

Вчера еще Алексей был в Москве. Вчера прощался с Тасей. На аэродроме она захотела сделать какое-то признание: «Ты должен знать».

Он ничего не хочет знать, кроме того, что она его любит. Она правдива, ясна, прозрачна. Кого-нибудь она любила до него, наверное. Но его это не касается. Не касается. И все.

Интересно, где она сейчас, что делает. Разница с Москвой во времени здесь два часа. Он совсем плохо представлял себе ее жизнь. Безобразие, что не познакомился с ее отцом. Надо было настоять. Нечего было ее слушаться.

— А междугородная там же?

— Там же, — сказал Казаков и повел Алексея в сторону от дороги.

Спускаться было неудобно, и Алексей удивлялся, зачем понадобилось неповоротливому Казакову в парадном синем костюме и щегольских серых туфлях идти, цепляясь за колючие кусты, а не спускаться широкой и отлогой дорогой. А грузный, потный Казаков шел, отдувался и хвалил природу.

— Ну, скажи, что не красота, — говорил он. — Я тебя веду купаться туда, где нелюдное, прекрасное место.

— Тьфу, черт! — выругался Алексей. Он обжег руку о крапиву и вслед за этим запутался в мотке проволоки. — Куда ты меня, толстяк, тащишь?

— А здесь тропочка, — невозмутимо ответил Казаков, — и природа.

Их нагнала женщина. Казаков остановился, познакомил. Женщину звали Лидия Сергеевна, и была она высокая, полная, рыжеволосая, с яркими синими глазами и румянцем на крепких щеках. Оголенные руки, шея, ноги — все было крупное, крепкое, загорелое. Белое платье подчеркивало ее полноту.

— А я вижу, вы идете так медленно-медленно, решила догнать.

— Алексей Кондратьевич, мой старый друг, приехал

к нам на завод,— сообщил Казаков.— Да, дорогой, а где ты теперь работаешь, я так и не понял.

— Трудновато было понять, если я еще не говорил. Во ВНИИ.

— А-а, институтик, богоугодное учреждение! — сказал Казаков.— Как ты туда попал? Москвой соблазнился?

— Потом расскажу, Лидии Сергеевне неинтересно.

— Что вы, что вы,— сказала Лидия Сергеевна,— мне все интересно.

— Лидия Сергеевна завлабораторией и садовод,— сказал Казаков.— Как там ваши яблони, петрушка, морковка?

— Я, главное, клубнику сажала,— ответила Лидия Сергеевна и залилась краской.

— А яблони? — спросил Казаков и беспомощно посмотрел на Алексея. Потом подал руку Лидии Сергеевне, чтобы помочь ей перебраться через крапивное место. Дальше они шли, держась за руку, и вели разговор о яблонях.

— Яблони? Яблони не скоро вырастут — через шесть-семь лет.

— Так долго растут?

— Смотря какая яблоня.

— Цветут яблони красиво,— сказал Казаков, глядя в глаза Лидии Сергеевне.

— И вишни,— прошептала Лидия Сергеевна,— и вишни тоже.

«Что они городят, ничего не понимаю»,— сказал про себя Алексей.

— Вот река, можешь плавать,— бодро сообщил Казаков,— а мы тебе помашем с бережка. Здесь замечательное дно. Пляжа нет, а дно хорошее.

Лидия Сергеевна теребила кушак на платье, опустив рыженькие ресницы.

— Пляжа нет, а дно хорошее,— настаивал Казаков.

Эта случайная встреча была совсем не случайная, понял Алексей, они просто-напросто шли на свидание.

Когда Алексей вбежал в воду, ему сразу стало понятно, почему здесь не купаются. Дно было илистое и топкое. Он оглянулся на берег — и место здесь пустынное, и чертополоху здесь изумительно много.

А те двое не смотрели на Алексея, они сидели на пиджаке Казакова и разговаривали.

Алексей помахал им рукой.

Возвращались в город вдвоем. Лидия Сергеевна ушла раньше, заторопилась, просила ее не провожать, пригласила к себе в гости и ушла, почти убежала.

— Вот так, дорогой,— усмехнулся Казаков,— ты не подумай чего. Ничего нет. Женщина она чудесная и заслуживает счастья. Но поздно мы встретились, и уж тут ничего не поделаешь. Так вот, позволяю себе иногда поддержать ее за руку. Как вор. И всякий раз даю себе слово, что больше не буду.

— Она замужем?

— Нет. Одинокая. Я женат,— помолчав, добавил Казаков.

Алексею это было известно. Он жалел приятеля. Он сам был счастлив, их любовь с Тасей была открытой, неомраченной.

— Факел мы погасим, уничтожим как класс. План будем выполнять. Могу поехать туристом в Индию. Вместо двухкомнатной могу трехкомнатную квартиру получить, а счастья... счастья получить уже не могу. Теперь уж буду жить для сына. А она, Лидия Сергеевна, надо думать, еще встретит кого-нибудь...

Казаков удрученно смотрел в землю.

— Все проходит. Это я тебе как другу признался в том, в чем себе не признавался. А теперь идем на телеграф.

— Я пошлю ей сто телеграмм,— сказал Алексей,— может быть, она не выдержит и приедет. У меня командировка длительная, черт бы ее побрал. Понимаешь?

— Еще бы,— Казаков ласково и насмешливо улыбнулся,— понимаю, дорогой. Как ее зовут?

— Ее зовут Тася.

Жена Казакова обрадовалась приходу Алексея, обняла его, поцеловала, оживилась, повела показывать квартиру.

— Нравится? — Аня показала ванную с горячей во-

дой, газовую плиту на кухне, кафель, паркет.— Третьей комнаты не хватает,— сказала Аня.

— Человеку всегда не хватает одной комнаты и ста рублей,— заметил Казаков.

— Чем еще похвастаться? Только сыном могу, он скоро придет. Собой никогда похвастаться не могла. А Петя? Петя с утра до ночи на заводе, устает, сердитый стал, толстый.

— Аня,— перебил жену Казаков,— накрывай на стол. Мы голодные. Леша с дороги.

— Вот-вот,— беззлобно сказала Аня,— видишь, грубит. Только суп у меня вчерашний, предупреждаю.

Казаков побарабанил пальцем по столу. «Да,— подумал Алексей,— нелюбимая женщина всегда говорит невпопад».

— Я сейчас, только переоденусь.— Аня показала на свой длинный, развевающийся халат.

Казаков развел руками:

— Подождем. Ничего не поделаешь.

Он повернул ручку радиоприемника, зазвучала веселая музыка.

— Музычка бодрячок,— сказал Алексей.

— Действует на нервы.— Казаков выключил приемник.

Алексей вспомнил, что Аня и раньше отличалась медлительностью. Казаков шуточно называл ее «моя неумеха». Молодость прошла, очарование исчезло.

— Рассказывай московские новости,— сказал Казаков.— Что там, на площади Ногина? Мы ведь привыкли за каждым гвоздем в Москву. Чуть что, собираемся и едем. А то летим. Лететь даже лучше: несколько часов — и в Москве. А теперь, значит, Москва тю-тю!

Казаков расхохотался.

— Ты чего?

— Некоторые заскучали. Я сам не реже трех раз в год в Москву ездил, выколачивал то одно, то другое.

— Огорчаешься?

Казаков покачал головой.

— Я люблю работать. Могу обойтись без командировок в министерство.

Раздался звонок, появился сын, мальчик лет двенадцати, худенький, светлый, не похожий ни на мать, ни на отца.

— Ты где был, разбойник? — радуясь, спросил Казаков. Слово «разбойник» явно не подходило к аккуратному, большеглазому мальчику, который вежливо поздоровался с гостем и поцеловал отца в щеку.

— Мы с ребятами там, — невнятно объяснил мальчик, подошел к буфету, как бы интересуясь, что там лежит, погремел сахаром, схватил кусок булки и ловко выскользнул из комнаты.

— Теперь засядет читать до вечера, — ворчливо похвастался Казаков.

Вошла Аня, стала накрывать на стол.

— Видел моего сына? — спросила она Алексея. — Трудный возраст сейчас у него. Не слушается ни меня, ни отца.

Аня обо всем говорила жалуясь.

— Выпьем за встречу, — сказал Казаков. — Я счастлив, что ты сюда приехал. Выпьем. Выпей с нами, Аня.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Наутро Алексей проснулся в половине седьмого. Еще вчера Казаков куда-то звонил, договаривался, и Алексея перевели из той гостиницы, где он остановился, в другую. «Туда, где тебе будет хорошо», — как сказал Казаков. Это была маленькая, уютная гостиница, где кроме Алексея жили три человека.

— Пускачи, — объяснил Казаков, — не люблю пускачей.

«Пускачами» назывались специалисты пуско-наладочной бригады, приезжающие из Москвы для подготовки и пуска новых установок, в данном случае маслблока. На огромном Комаровском заводе все еще продолжали вводить новые цехи.

Алексей побрился, выпил чаю на кухне у дежурной и вышел на оживленную улицу. Толпы людей шли в одном направлении, к автобусной остановке. Матери и отцы торопливо вели заспанных ребятишек в детские сады. У подъездов стояли «Победы» и «ЗИЛы», ожидающие начальство. Город пробудился и отправился на заводы.

«А что, если мы с Тасей навсегда останемся жить в этом городе?» — подумал Алексей. Ему хотелось остаться. Купили бы машину, ездили бы всюду вдвоем.

Казаков ждал Алексея на углу, где останавливался

так называемый «замовский» автобус. Этот автобус был в распоряжении заместителя главного инженера, но на нем ездили на завод и другие заводские руководители.

— Замы,— с ехидством прошептал Казаков,— мальчишки для битья. Знакомьтесь, друзья, Алексей Кондратьевич Изотов. Товарищ из Москвы, научный сотрудник института, прибыл на наш завод, будет заниматься каталитическим крекингом. Прошу любить и жаловать,— громко говорил Казаков, обращаясь к группе людей, среди которых Алексей узнал Лидию Сергеевну.

Алексей пожимал руки. «Завлабораторией, начальник производственного отдела, главный энергетик,— называл Казаков,— главный механик». Последнее было произнесено с ударением, и Алексей посмотрел внимательно на невысокого, худощавого человека с красивым, надменным лицом и яркой прядью седых волос.

— В общем, дорогой, ты сейчас все равно всех не запомнишь, я тебе назову главных, с кем тебе придется иметь дело и кто тебе будет чинить препятствия и устраивать неприятности. С Лидией Сергеевной ты уже знаком. Она консерватор и задерживает внедрение нового аппарата для разгонки. Но она хорошая женщина, и ей прощают то, что в лаборатории не ведется исследовательская работа, и многое другое.

Лидия Сергеевна улыбнулась Алексею, улыбнулась всем.

Пассажиры, ожидавшие автобуса, особого внимания на Алексея не обратили: научных сотрудников из разных городов на заводе видели немало и относились к ним как к неизбежности. Алексей был еще один научный сотрудник, ну и ладно.

Подъехал автобус. Разбитной шофер с повадками любимца публики открыл дверцу, уступил свое место за баранкой кому-то из инженеров, а сам всю дорогу комментировал рытвины, вздыбившийся асфальт и пыльные объезды, которыми изобиловал путь к заводу.

Дорогу ругали все, это была главная тема в автобусе.

— Это вам предстоит слушать каждое утро и каждый вечер,— с улыбкой сказала Алексею Лидия Сергеевна.

Ругаться начали с первого толчка, за которым последовало множество других.

— Каждый год чиним, починить не можем...

— Эх, дорожка фронтвая!

— ...Помирать нам рановато...

— Внимание! Спокойствие! Проехали!

— Эта дорога не простая, эта дорога золотая,— обратился к Алексею главный механик.— Если ее выложить из чистого золота, то дешевле обойдется, чем бесконечные ремонты.

— Дороги наши российские!..

— Внимание! Яма! — резвился шофер.

— Дали бы бетон на полметра, была бы дорога, а не ремонты,— сказал главный механик и сморщил нос, как будто собирался чихнуть, но не чихнул.

— Нам еще ничего,— сказала Лидия Сергеевна,— у нас свой автобус, а вы бы поездили, как люди ездят.

— Вот так они будут брюзжать всю дорогу,— сказал Казаков.— А тут дело очень простое. Для нас главное — производственная площадка, быстрее, быстрее, завод дал первые тонны нефти, ура, да здравствует. Что государственные денежки на ветер летят, это неважно. Завод дымит — и все в порядке, а подъездные пути потом. И вот дорогу делаем и ремонтируем, делаем и ремонтируем. Противно говорить. Алеша, знакомься дальше, этот молодой человек, белобрысый, с нахальным выражением лица,— это Григорьев-электрический, главный энергетик, большой бюрократ. У нас есть еще Григорьев-механический, Григорьев-водяной, но Григорьев-электрический из них самый примечательный человек. Большой формалист, несмотря на свою молодость.

В автобусе все засмеялись. Сегодня Алексей узнавал приятеля с его балагурством, веселостью, насмешливостью. По воспоминаниям Алексей знал, что шутки Казакова вовсе не беззлобны. Григорьев-электрический кисло улыбался.

— Хотя какое отношение на нашем заводе к главному энергетнику? — продолжал Казаков.— Дай пар, дай горячую воду, воздух, электричество — и катись.

* Григорьев засмеялся первый.

— Правильно! — сказал он.— У нас гораздо больше ценится умение играть в преферанс, чем умение давать пар.

Это был злой намек. Казаков не ответил, усмехнулся.

Лидия Сергеевна тронула Алексея за рукав.

— Вон завод,— показала она,— здание дирекции. Мы приехали.

Водитель, вернее, тот, кто его заменял, с шиком развернулся и остановил автобус у подъезда. Широкий вход обрамляли колонны, оранжевые настурции свисали из круглых каменных ваз, цветы были высажены вдоль всего здания заводоуправления.

— Все живые-здоровые? — осведомился настоящий шофер.

А тот, кто его заменял, вытер руки, гуднул, помахал рукой и ушел быстрыми, широкими шагами на завод.

Алексею нравилось, что все загорелые, веселые, переругиваются, сейчас разойдутся по кабинетам и цехам.

Черноволосая девушка-охранница с винтовкой, туго перетянутая широким солдатским ремнем в талии, неприступная, как изваяние, проверяла у ворот пропуска. Шоферы сигналили, шутили, кричали, поторапливали охранницу. Рядом из проходной выходили рабочие, шурили на солнце, останавливались возле щита, где были вывешены результаты истекших суток: на первом месте цех номер три, на последнем — цех номер восемь. «Стыдно товарищу Рыжову за грязь на территории цеха!» Комсомольцев призывали на борьбу с потерями нефти и нефтепродуктов.

Все обыденное, привычное, но Алексей смотрел с интересом, и даже фамилии невольно оставались в памяти.

— Какой это цех — восьмой? — спросил Алексей.

— Как раз каталитический крекинг, начальник цеха — Рыжов, колоритная фигура,— ответил Казаков.— Ты с ним наплачешься. Старый сгонщик, никого на заводе не боится.

Лидия Сергеевна засмеялась.

— Рыжов на весь завод один.

— Идемте, товарищи,— сказал Казаков,— довольно прохладиться. Мой друг Алексей Изотов — редкое явление в нашем деле. Нефтяник-философ. С ним будет так: сперва он будет смотреть по сторонам, потом будет смотреть себе под ноги, сопеть, а потом предложит весь завод перестраивать. Мы с ним еще хлебнем горя, попомните мои слова. А сейчас пошли, работать надо.

Алексей поддержал Лидию Сергеевну за локоть, помог подняться по ступеням заводоуправления.

Они шли по коридору мимо открытых и закрытых дверей с табличками: «Диспетчер», «Главный технолог», «Зам. директора».

— Сперва пойдем к парторгу, потом к директору, — почему-то шепотом сказал Казаков и поздоровался с человеком, который медленно шел им навстречу. Не шел, а шествовал. Его загорелое, как у всех здесь, коричневое лицо было хмурым, губы сжаты, чуть обвислые щеки подрагивали на ходу. Хмурый человек кивнул, а когда он удалился на достаточное расстояние, Казаков сказал: «Директор».

Одет был директор в какое-то уродливое холщовое одеяние, которое особенно странно выглядело по сравнению со шеголеватой одеждой сотрудников заводоуправления.

— Видал? — шепотом спросил Казаков. — Вó мужик! Все вопросы решает с ходу.

Алексей недоверчиво усмехнулся и заметил:

— Все вопросы с ходу решать необязательно.

— Для директора? Обязательно!

Алексей пожал плечами.

Лидия Сергеевна скрылась в двери с надписью «Диспетчер». Алексей с Казаковым вошли в приемную.

Приемная была просторная, солнечная, застланная широкими ковровыми дорожками. На кожаном диване, развалясь, сидели начальниковы шоферы в голубых шелковых теннисках, обсуждали жилищные вопросы. Молоденькая секретарша поднимала трубки телефонов, что-то диктовала, что-то записывала. Уборщица поливала цветы на окне, студенты-практиканты толпились у стола секретарши, сиротливо протягивали ей бумажки с печатями.

Казаков огляделся и, переваливаясь, медвежьей походкой подошел к столу секретарши, всем телом навалился на телефон, схватил телефонную трубку, вызвал какой-то номер и заорал.

— Смотреть нечего, получать надо! — гудел он, перекрывая рассуждения шоферов, мольбы студентов и генеральские распоряжения нарядной секретарши. — Сколько? Сколько? Я знаю, как ты руководишь. Что это мы все

разговариваем? Я разговариваю, ты разговариваешь, а кто будет машиной заниматься? Бытовщица, что ли, тетя Маша твоя?

Казаков хлопнул трубку на рычаг. Секретарша сердито отодвинула телефон, но ничего не сказала.

— Вы к кому, товарищ? — спросила Алексея секретарша.

— Отметь пока командировку, Леша, — посоветовал Казаков. — Напиши ему пропуск, Ирочка, главный инженер подпишет. Пока на месяц, а там видно будет.

Секретарша кивнула. Ее хорошенькое лицо было бесстрастно, как фотография, мелкие, круто завитые кудерки дрожали и покачивались. Практиканты все еще стояли у стола молча и смиренно, опустив свои бумажки.

— Что у вас? — обратился к ним Казаков.

— Да я сейчас им все сделаю, товарищ Казаков, — пропищала секретарша.

— То-то, — буркнул Казаков, — а то держишь людей.

Шоферы пересмеивались. Они были в сложных отношениях с секретаршей.

— Слушай, Леша, зайдем на минутку ко мне, а потом займешься своими делами. Тебе пока пропуск сделают, оставь свой паспорт. А-а! — свирепо загудел Казаков, увидев вошедшего молодого долговязого человека в ковбойке. — А-а, попался, идем-ка со мной.

Молодой человек в ковбойке подался назад, к дверям, намереваясь улизнуть, но Казаков крепко схватил его за плечо и потащил за собой. Шоферы на диване захохотали, они знали, в чем дело. Они все знали.

В кабинетике Казакова, маленькой комнатке, где помещался стол, шкаф и два-три стула, так же ясно светило солнце и ветер доносил сложные химические запахи. Алексей наклонил голову, потянул носом, — пахло мятой и миндалем.

— Петр Петрович, я могу идти? — спросил молодой человек в ковбойке, делая скучное, дурацкое лицо и кося глазами на дверь.

— Не-ет, дорогой, ты садись, — ответил Казаков, — ты садись, кури.

— Не курю и не курил никогда. Мне идти надо.

— Говори начистоту, они тебя купили?

— Не покупал меня никто. Чего меня покупать? —

ныл парень, пытаюсь скрыть улыбку и отворачивая хитрые белесые глаза.

— Врешь! Я тебя покупал! — загремел Казаков.

Нетрудно было догадаться, что разговор касается спортивных дел. Этот белоглазый — какой-нибудь враг-тарь, а Казаков — старый футбольный болельщик, честь завода и так далее.

Казаков сердился:

— Им, значит, чемпионов будут подавать на тарелочке, а мы будем спокойно смотреть. А ты хорош, тебя завод вырастил, выучил, а ты заводом не дорожишь. Готов бежать. Чем они тебя соблазнили?

— Честное слово, Петр Петрович, ничем. Мне до ихнего завода ближе, почти пешком можно дойти, а сюда пока доедешь по нашей дорожке, семь потов сольет. Условия не созданы.

— Эх ты, «дойти»! Учили тебя!

— Я вообще правильно говорю, а сейчас от волнения и вашей несправедливости...

— Что ж, прикажешь тебе машину дать? Персональную? «Условия не созданы»! Слушать стыдно!

— Я могу остаться.

— Мы тебя не держим. Мы нового центра нападения создадим, а тебе будет стыдно против своего завода играть. У нас вон Бирюков, какой центр нападения растет, дай бог каждому. И работник образцовый. Не пропадем. Будь здоров. А ты не спортсмен, ты торгаш. Подумаешь, умеет по мячу бить!

— Петр Петрович, — взмолился футболист, — я останусь, не ругайте меня так. Только мне квартира другая нужна, у меня прибавление семейства ожидается скоро.

— Квартиры не я даю, цех распределяет. Тебе уже давали.

— Знаю, дали, — согласился парень. — Комната-десятиметровка.

— А у нас еще есть живут в сараях, на подселениях, чуть ли не в будках. Иди, брат, и подумай над собой, пока не поздно... А ты говоришь, я плохой администратор, — обратился Казаков к Алексею, когда за парнем закрылась дверь.

— По-моему, ужасный, — засмеялся Алексей.

— Давай перекурим это дело, — предложил Казаков.

Пока Казаков объяснялся с футболистом, дверь в его кабинет несколько раз открывалась. Заглянула Лидия Сергеевна и тихо притворила дверь. Главный энергетик зашел, сказал Казакову: «Улучи время, спустись ко мне». Звонил телефон, приносили бумаги на подпись.

— Идем, мне в цех пора, от телефона подальше,— сказал Казаков.

— Ты хвастался, что ты теперь из кабинета руководишь.

— Руковожу из кабинета не хуже других, а как же...— И Казаков с видимым удовольствием повернул ключ в дверях своего кабинета, оставив его торчать снаружи.— А ты к Баженову иди, к парторгу. Я думаю, ты сумеешь договориться с ним, он тебя поддержит. Хочет, чтобы было лучше, чем есть, и думает, когда говорит.

— Я с ним встречался на ярославском заводе, когда практику проходил. Он там работал, молодой был.

— Идет время! — проговорил Казаков.

Казаков пошагал по лестнице вниз, крикнув: «Освободишься, приходи ко мне, обедать будем в половине второго!» Алексей пошел к парторгу.

Парторг Баженов был для Алексея человеком, с которым «когда-то встречались». А это для нефтяника-переработчика не пустые слова, они означают, что вместе пускали установку, цех, осваивали новый процесс или из старого выжимали что можно и нельзя. Вместе волновались, не спали, несли вахту, а то и гасили пожар, потому что, как известно, «нефть загорается, а водород взрывается».

Баженов был молодым инженером, когда Алексей проходил студенческую практику. Баженов тогда бился над одним сложным и токсичным процессом. Нужно было дать новое масло двигателям. Когда наконец наладили процесс, масло не смогли откачать: отказал насос. Алексей в этой работе по молодости не участвовал, только наблюдал и восхищался упорством и какой-то тихой настойчивостью Баженова. Но насос помог наладить, это была дорогая сердцу Алексея механика, он догадался, в чем загвоздка, насос стал качать. Тогда еще шесть коров отравились, попили случайно водички, которая приятно пахла. Скандал поднялся из-за этих коров, тихого Баженова замучил следователь. Алексея тоже вызывали. Он сказал следователю: «Такое важное масло мы получаем,

а вы шесть коров пережить не можете». А на вопрос, кто виноват, Алексей ответил: «Коровы виноваты».

Баженов был подтянутый человек с очень яркими светлыми глазами на загорелом лице. Загар был красноватый, как у всех светлокожих, светловолосых людей. Волосы его выгорели добела. Он встал, вышел из-за стола, крепко пожал Алексею руку. Его движения отличались простотой и сдержанностью физически тренированного человека. Годы прибавили значительности его лицу.

— Как теперь вас величать? — спросил Баженов, с радушием глядя на Алексея. — Вспомнил: Алексей Кондратьевич. Изотов. Так что, коровы виноваты?

Значит, он тоже помнил.

Баженов указал на кресло у стола. Алексей сел.

— Давно это было.

— Давно, — согласился Баженов. — Помните, как вы насос наладили? Я вас часто вспоминал, мне интересно было, что из вас получилось, из студента-мальчика.

— Получился дядя, — ответил Алексей.

— Потом вдруг узнаю, что вы директором на одном из заводов комбината. Вот так мальчик-механик! Не ожидал. Ну, думаю, какие штуки в жизни не бывают! Судьбы у людей неожиданные. А сегодня вдруг вы здесь...

Баженов сидел за столом прямо, не позволяя себе ни откинуться на спинку кресла, ни прислониться к столу. Держал в пальцах папиросу, как будто собирался спросить у Алексея разрешения закурить. На письменном столе у него был порядок, пачки справочников, пачки бумаг. И Алексей, который любил сидеть на стуле развалившись и вытягивать ноги вперед, выпрямился, одернул пиджак, вынул из кармана блокнот, собираясь докладывать, зачем он приехал на завод.

Баженов остановил его.

— Алексей Кондратьевич, извините за нескромность, что заставило вас стать простым научным сотрудником? Какие-нибудь особые обстоятельства? Или вас прибило к тихой гавани после больших дел?

Вопрос был задан дружески, но это была пилюля. Не первая, слава богу, за то короткое время, как Алексей стал «простым научным сотрудником». Казаков тоже

недоумевал и шумел. Но Алексей был убежден, что поступил правильно.

— Институт дает мне возможность заниматься моей темой, — сказал Алексей.

— А чем вы хотите заниматься на нашем заводе? — мягко спросил Баженов.

«Он меня жалеет, черт возьми, — подумал Алексей. — Чепуха какая».

— Повышением производительности каталитического крекинга, — отчеканил Алексей.

— Что ж, добро.

Нужно бензина выпускать больше. И нужно, чтобы он был лучше. Сделать это предстоит на существующих установках, на трех громадинах, которые были видны из окна кабинета Баженова и которые Казаков показывал Алексею с обрыва. Вот, грубо говоря, в чем состояла техническая задача Алексея на заводе.

На заводе об этом тоже думали и... делали. Разумеется, делали, ведь не ждали, пока приедет из Москвы товарищ Изотов. Делали и будут делать. Однако...

— Скрытые мощности — коварная штука. Вы их вскроете и уедете победителем, — сказал Баженов, — а цеху немедленно увеличат план.

Да, надо помнить, что на заводе один могущественный бог — план. Если план выполнен и немного перевыполнен, только немного, все хорошо. Это премии, благополучие и веселое настроение всех, от начальника цеха до уборщицы.

— Начальник цеха сто раз передовой, он хочет выполнять план и может оказаться против новой техники. А вы явитесь нарушителем спокойствия, не так ли? — Баженов засмеялся. Он вспомнил начальника цеха, с которым будет работать Алексей.

— Прогресс неодолим, — заметил Алексей.

— Бесспорно. Я лишь говорю о трудностях, с которыми вы столкнетесь. А может быть, и с сопротивлением.

Алексей улыбнулся.

— И все же прогресс неодолим.

— Видите ли, — сказал Баженов, — всякая реконструкция — это ломка. Всякая ломка болезненна. Рабочий, привыкший к определенной системе работы, поддержит реконструкцию, если она будет доведена до конца и даст видимые и ощутимые результаты. К сожалению, мы ча-

сто начинаем и бросаем и тем самым порождаем настоятельность и недоверие.

— Это правильно,— сказал Алексей.— Вам остается только поверить, что другой задачи у меня нет и не будет.

— Вы человек настойчивый,— рассмеялся Баженов,— и я в вас верю. Еще с тех далеких времен. А что такое повышение производительности труда — это мы все хорошо знаем.

— Я тебя жду! — крикнул Казаков, занимавший весь просвет в двери своего кабинета.— Пора обедать!

Алексей стукнул его по плечу.

— Я готов, старик.

— Что Баженов?

— Встретил хорошо, немножко припугнул.

— Понятно. А я голодный как дьявол. Утром меня покормили очень слабо,— пожаловался Казаков.

Они вышли из заводууправления на мягкий от жары асфальт. У Казакова был вид человека, который не знает, то ли ему лечь спать, то ли пойти в кино, то ли выпить кружку пива.

Он окликнул кого-то.

— Тима, как вчера?

— Хозяин проиграл. А ты что же?

— У меня друг приехал.

— Преферансисты наши,— пояснил Казаков.— Скажу тебе, мы с директором заядлые преферансисты. Ты не начал играть?

— Нет.

— Эх ты! — разочарованно протянул Казаков.

Столовая представляла собой маленькую комнату, где было четыре-пять столиков, покрытых голубоватыми крахмальными скатертями. В углу стояло старое, с подзеркальником, зеркало, отражавшее широкие спины обедавших.

В комнате было тихо, негромко позвякивали приборы о тарелки, негромко переговаривались обедающие. Приятных и Казаков.

Алексей не сразу увидел, что в углу, один за столиком, обедал директор. Вот я ем лук со сметаной, каза-

лось, говорил директор, вот сейчас я буду есть крошку с луком, потом отдельно сметану, потом компот, то есть сейчас на ваших глазах делаю то же, что и вы, но боже вас всех упаси помешать мне, зашуметь, заговорить между собой или обратиться ко мне с каким-либо делом или вопросом. Я обедаю.

У директора было бульдожье, смуглое и значительное лицо, усталые, хмурые глаза, мешки под глазами, волосы, не поддающиеся гребенке, пухлые руки. Он не был старым, но его возраст определить было трудно. Может быть, ему не было и сорока лет. Было видно, что спортом он не занимался, тело его в помятом сером костюме с широкими рукавами было грузным.

Он был важным, он хотел быть важным, это было ясно.

«Если ты умеешь руководить заводом, то на кой черт тебе такая важность?» — иронически подумал Алексей.

Принесли винегрет, любимое блюдо Алексея со студенческих лет. Винегрет пахнул огурцами, засоленными в бочках, был заправлен подсолнечным маслом и уксусом, и хлеб был свежий, ноздреватый, нарезанный большими ломтями. Алексей с удовольствием начал есть, а когда снова посмотрел в угол, директор прикладывал салфетку к губам и поднимался со стула. Он медленно поднялся, медленно пересек крошечную столовую и удалился.

В это время со двора послышались удары, размеренный стук железа по железу.

— Шаги командора, — сказал Казаков.

Все громко засмеялись. Так смеются после вынужденного молчания. И заговорили, зашумели, столовая сразу стала похожа на автобус, в котором утром ехали на завод.

— Олечка, еще винегрету, — попросил главный энергетик.

— Эх, пивка бы холодненького, — сказал Казаков. — Олечка, раздобудьте.

— Нету пива, есть лимонад и минводы, — ответила дебелая официантка, которая тоже стала разговаривать, шутить, быстрее бегать с тарелками, предлагать блюда. — Есть творожок со сметаной, хотите? — спрашивала она у всех. — Свежий, с ледника.

Еще входили люди. Теперь все места были заняты.

— Чертежи даются по ходу пьесы,— высоким голосом говорил человек в голубой куртке на молниях.

— Неизвестно, сколько действий в пьесе,— громко сказал Казаков и шепнул Алексею: — Наш дурачок академик.

Алексей улыбнулся.

«Академик» стоя допил компот, надел темные очки и ушел.

— Когда я просился в академию, мне сказали: «А работать кто будет?» — сказал Казаков.

Все опять засмеялись. Нефтяная академия, куда посылали на усовершенствование, была неисчерпаемой темой для шуток. Склочников, дураков, чересчур обидчивых пытались сплавить с производства в академию. Академию недавно закрыли, но вспоминали ее по-прежнему.

В дверях показался Баженов, увидел, что много народу, помахал приветственно рукой и ушел.

— Здесь есть место, позови его,— сказал Алексей Казакову.

— Он пошел обедать в общий зал,— ответил Казаков.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Нефтеперерабатывающий завод — это прежде всего трубы, белые и черные, широкие и узкие, одни низко над землей, другие подняты высоко, сотни километров труб, в некоторых местах они стягиваются в замысловатые пучки и расходятся дальше по сложному и необозримо-му плану. Под землей труб еще больше, фантастическая паутина.

Завод поражает мощью и красотой. Огромные, высокие колонны, множество странных, необычных на вид сооружений, гигантские серебряные резервуары различных форм, вплоть до совершенно круглых, и все это располагается не в дымных, закрытых, низких цехах, а привольно раскинуто, открытое, белое, сверкающее под голубым небом на зеленой травке, обвеваемое ветрами, обмываемое дождями.

Кругом безлюдно — характерная особенность современного нефтеперерабатывающего завода, на аппарат-

ных дворах мелькают два-три человека. Но люди есть, и пока еще немало, и для них-то и развешаны, прибиты, нарисованы многочисленные предупреждения: «Кури только в специально отведенных для этого местах», «Отбери пробу только в рукавицах».

Плакатов, предупреждений, правил и лозунгов очень много. Некоторые устрашающи. Почти все начинаются словом «Помни!». Почти все наглядно показывают, что неосторожность ведет к взрыву, пожару, отравлению, гибели. В сотнях вариантов сообщается, что «нефть загорается, а водород взрывается». Помни, помни, где ты находишься, помни, помни, помни.

Энтузиазма по поводу реконструкции, предложенной Алексеем, в цехе каталитического крекинга не было.

Алексей понимал: цех выполнял план как надобно, на все сто два процента. Это не всегда удавалось, но к этому стремились. Это сулило безмятежность, насколько она возможна среди огня и газа. Жизнь текла спокойно. Но это было нехорошее спокойствие.

То, что называется «увеличить производительность», в каждом случае означает разное. Для каталитического крекинга это означало брать хуже сырье и давать при этом больше бензина высокого качества, с высоким «октановым» числом, как говорят техники.

«Дадим стране больше бензина!» — висели лозунги на заводе. Комсомольцы следили за тем, чтобы эти лозунги хорошо висели, чтобы их не мочил дождь, не срывал ветер. Комсомольцы ходили по заводу и подставляли баночки и подносики везде, где можно было предположить потери нефти и нефтепродуктов. Эти баночки сберегали государству десятки тысяч рублей. Так экономил хозяйский глаз.

Инженерная мысль искала резервы в главном, в самих установках, которые должны были работать интенсивнее, должны были «увеличивать производительность».

Существующие понятия проектной мощности в действительности, когда машина из рук творца — человека, создающего ее, — переходит в руки, теплые, живые руки другого человека, который будет ею пользоваться, почти всегда рвутся. Оказывается, тот, кто создавал и строил,

запиртал в глубь своей машины то, что называется запасом прочности. Иногда это называют еще скрытыми мощностями. Ни в каких проектах этого нет. И тот, кто взял эту машину, непременно найдет секрет, если будет искать, конечно.

А он будет искать, в этом можно не сомневаться...

Алексей каждый день ходил в цех, часами сидел в операторной, смотрел по приборам, как работает установка. Он почти ничего не спрашивал, ходил, изучал вахтенный журнал, записывал. К нему привыкли. К его сосредоточенному молчанию, к его высокой фигуре в сером комбинезоне. Он лазил по установке повсюду, смотрел, трогал руками. Он любил запахи масла, горячего металла, мазута. Поднимался высоко, на десятый этаж крекинга, откуда виден весь завод и дальше река, лес, поля, и там обдумывал свои предложения, даже писал, прилонясь к ржавым перилам.

В операторной была постоянно сухая жара и усыпляюще стрекотала аппаратура. Алексей оставался и с вечерней и с ночной вахтой, хотя потом признавался себе, что в этом не было необходимости.

Начальник цеха Рыжов, плотный, коренастый человек средних лет, с острыми, дерзкими глазами, крикун, сквернослов и скандалист, известный рыболов и охотник и, как говорили одни, «молодец», другие — «сукин сын и разбойник», обращался с Алексеем вежливо и осторожно.

Казаков смеялся:

— Если Рыжов с тобой такой вежливый, будь начеку.

А сам Алексей однажды слышал, как Рыжов сказал о нем своему старшему инженеру Крессу, тихому человеку с детской улыбкой:

— Ходит здесь, шпионит. Ты его не задевай.

Говорить это самому застенчивому и безобидному человеку в цехе было по меньшей мере смешно. Кресс не только никого не мог задеть, он сам был совершенно беззащитный человек, не от мира сего, из тех, кого забывают включить в списки на награждение, кто в отпуск уходит зимой, а не летом и все блага при распределении получает в последнюю очередь. Кресс не умел постоять за себя, только моргал глазами, большими, черными юж-

ными глазами на маленьком личике и улыбался. Долгое время он жил чуть ли не в подвале и никому не жаловался, ничего не просил, даже скрывал это обстоятельство, пока Рыжов не проведал и не помог инженеру с квартирой.

Рыжов никому не давал Кресса в обиду, заботился о нем, как нянька. Злые языки говорили, что он неспроста так держится за Кресса, у Кресса золотая голова, и это не Кресс спокойно живет за широкой спиной Рыжова, а, наоборот, Рыжов припеваючи живет за Крессом. Рыжов был практик, хотя и старый и опытный, а современная техника — это современная техника, тут глоткой и нахальством не возьмешь. Тут думать надо, а думает у Рыжова Кресс.

Крекингом нефти, производством бензина занимался Кресс, и в этом на него можно было полностью положиться. А Рыжов тем временем перекрашивал все строения своего цеха в розовый цвет, чтобы его хозяйство было далеко видно, чтобы выделяться среди других, красивших стены в менее игривые цвета. Рыжов занимался бытовыми делами, интересы своих рабочих он защищал громко и свирепо, даже когда это было совершенно не нужно. Рыжов ругался с ремонтниками, требуя ускорения ремонта, с главным механиком они были злейшие враги. Рыжов добивался собственной ремонтной службы при цехе, вне подчинения главному механику.

В субботу Рыжов старался пораньше удрать с завода, торопясь на рыбалку. Он мог рыбачить спокойно, знал, что Кресс и в воскресенье приедет из города на завод посмотреть, как идут дела.

С потерями нефтепродуктов Рыжов боролся хуже всех, об этом сообщала комсомольская «Молния», висевшая перед воротами завода. Посадками деревьев Рыжов тоже плохо занимался, а цветы на территории его цеха вовсе не росли. И это несмотря на строжайшее распоряжение директора об озеленении завода, несмотря на многочисленные лозунги и призывы «Создадим завод-сад!», несмотря на энергию и старания комсомольцев, которые этим занимались.

— Я не Потемкин, — острил Рыжов у себя в кабинете перед Крессом, Алексеем и Казаковым. — Зачем я буду сажать цветы, туды их растуды, когда у меня еще сто дыр незалатанных?

— А все-таки, дорогой,— вмешивался Казаков,— там у тебя будка такая страшная стоит, ты ее убери. Несolidно.

— Что, я ее на себе увезу, что ли? Трактор пришли.

— Пришлю.

— А где я буду инструмент хранить? Я же к себе слесарей забираю.

Это была навязчивая идея Рыжова — создать собственную бригаду ремонтников, не зависеть ни от кого. Но пока что ему этого никто не разрешил.

— Нет же у тебя пока слесарей,— сказал Казаков.

— Вот что, дорогие начальники, вы своими высокими подписями приказы визируете, а потом сами эти приказы не выполняете. Так нельзя, дорогие товарищи,— запальчиво говорил Рыжов.

Кресс своими круглыми влажными глазами не отрываясь смотрел в разбойничью рожу начальника цеха и улыбался, приоткрыв рот. В Рыжове было все то, чего не хватало Крессу.

Постучав, вошел механик Митя, молодой парень в соломенной шляпе яично-желтого цвета, в клетчатой рубашке со свежими пятнами мазута. На заводе считалось особым шиком ходить таким перемазанным, в клетчатой рубашке и в соломенной шляпе.

— Я приказал собрать слесарей,— загудел Рыжов.

— Я дал указание,— ответил механик.

— Если бы вся соль была, чтоб дать указание...— сладко и грозно сказал Рыжов.— А почему у тебя рабочие бросили инструмент и ушли?

— Я не знаю,— ответил механик.

— А почему я знаю?

— Вы начальник, вам доложили.

— А тебе почему не доложили?

Молодой механик тряхнул чубом, налился краской и сказал:

— Вам легко говорить, а мы делаем.

— Я тебе прощаю твои дерзости,— величественно произнес Рыжов,— потому что ты еще мальчик, дитя природы. Сын степей.

— А вон слесаря идут,— радостно, желая выручить механика, сообщил Кресс.— Идут все как один.

Но Рыжову еще было мало, он продолжал:

— Я ведь твою работу знаю, я в твоей шкуре был.

Ты с механиками, со слесарями сжился, ты для них Митя. Вот тебе и не доложили, вот ты и потерял бразды правления. Вот мы уже и рабочих собрать не можем, когда нам надо. Он тебе завтра насос остановит, а ты будешь ходить в своей шляпе.

Кресс сказал:

— Никто ничего не остановит, отпусти человека, работать надо.

— Вот я и говорю, надо выполнить тот объем, который я указал, а торжественного собрания для этого не надо.

И генеральским жестом Рыжов отпустил механика. Он очень любил такие спектакли.

В цехе заметили, что в присутствии Алексея начальник становится особенно буйным, показывает свой нрав.

Вот вошел тощий человек со свисающими на лоб волосами и сказал уныло:

— Дайте людей. Восемь человек.

— Идите жалуйтесь на меня директору, восемь человек я выделить не могу. Приказ, который вы мне сейчас начнете тыкать, писался год тому назад,— с каким-то адским весельем в голосе начал Рыжов.

— Если не восемь, дайте четыре,— сразу сбавил проситель.

— Что ж мы будем рядиться? Я не могу остановить производство.

— А другие цеха дали. Что они, хуже вас?

— Хуже. Ведь не директор писал этот приказ, а вы его готовили, он подписал. У меня в цехе семь музыкантов, один раз у трибуны прогудят, а мы им среднюю зарплату платим. А поставьте дело так, чтобы рабочие после работы оставались.

— Я простой инструктор, я не решаю.

— Вы соберете, а они у вас спят на лекции.

— Бывает, что спят.

— У нас еще очень много работы ради работы. Создают искусственные трудности, а потом думают, как их ликвидировать.

Алексей улыбнулся. Рыжов сидел с каменным лицом.

— Дайте хоть четыре человека.

— Доложите директору: Рыжов людей не дал.

На лице инструктора мелькнуло подобие улыбки; может быть, в душе он был согласен с Рыжовым, но вышел он со словами:

— И доложу.

Рыжов откинулся на стуле, искоса взглянул на Алексея, понимает ли товарищ Изотов, с кем имеет дело, нас голыми руками не возьмешь. Алексей понимал и без этих фокусов, что предстоит работа нелёгкая. Ведь не уезжать теперь ему на другой завод оттого, что Рыжов, шельма, все шутит неискренне: «Мы наши мощности скрывать не собираемся». А на лице откровенно написано: «Гулял бы ты, милый человек, подальше».

— Вот,— обратился Рыжов к Алексею,— какой перевод государственных денег. А беременные и кормящие...— Рыжов повысил голос.— Когда вот так, с ножом к горлу, требуют от нас людей на всякую ерунду, лекции слушать, даем исключительно беременных и кормящих матерей. Я не виноват, если у меня сейчас беременных нет. А когда они есть, пожалуйста. Берите.

Рыжов старался разговоривать с Алексеем на отвлеченные темы. Из осторожности даже перестал ругать главного механика, которого вообще крыл без стеснения. И еще любил спрашивать: «А как в Америке?»

Алексей уже несколько раз говорил Рыжову, что в Америке не был, но Рыжов не обращал на это внимания.

— Я тоже не был, ничего не значит. Но знаю, что там ремонтной службы нет совсем. Там фирма меняет оборудование. Но у нас надо сделать, как я говорю. Нам надо иметь своих ремонтников. Иначе мы задерживаемся на ремонте, мы садимся на зарплате, мы садимся на плане. И я не ставлю это в вину ремонтному цеху, их слесарь не заинтересован в досрочном ремонте, а наш будет заинтересован.

На столе у Рыжова лежали технические журналы, стояла колба с кипяченой водой, серебряный кубок-приз, ведомости, которые Рыжов подписывал с постоянным ворчанием.

— Назови его механиком — тысяча рублей, назови его мастером — тысяча триста. Вот и весь фокус. Штаты, штаты и штатная дисциплина. И все это еще ничего, все это я еще могу пережить, пока не вспомню Скамейкина.

Скамейкин был хитрый старик, грязный как дьявол, по специальности слесарь, но находившийся в цехе в должности завхоза.

Придя утром в цех и узнав у дежурного, как прошла ночь, как работали установки, Рыжов первым делом зывал Скамейкина.

И начиналось.

— Почему сегодня, товарищ Скамейкин, автомашины простаивали? И шоферы спали в кабинах? Где вы были в девять часов, товарищ Скамейкин?

— В завкоме,— не моргнув голубым бесстыжим глазом, отвечал Скамейкин.

— Идите распорядитесь насчет машин.

Скамейкин, шаркая высокими сапогами, в которых он ходил и зимой и летом, удалялся.

Спустя некоторое время Рыжов высовывался из своего кабинета в коридор и кричал:

— Скамейкин!

Горемыка Скамейкин являлся.

— У вас, конечно, ума не хватит, что лопата должна быть с черенком. Где бы мне хоть раз в жизни найти завхоза, чтобы он лопаты с черенками имел, чтобы он деревья белил?

Скамейкин, опустив голову, печально смотрел на свои пыльные сапоги.

Рыжов собирался начать посадки, убрать немного территорию своего цеха, потому что на последней оперативке директор пообещал прийти проверить, покончил ли Рыжов с грязью вокруг крекингов.

Рыжов говорил, что «наводить марафет» не его дело, а обязанность дворового цеха, но директора слегка побаивался.

И вот он спрашивал теперь у Скамейкина с непередаваемым ехидством:

— Почему у тебя на пятидесятом году жизни лопаты отдельно, а черенки отдельно?

Скамейкин молчал.

— А сколько у нас граблей?

— Четверо.

— А где они?

Скамейкин почертил сапогом по дощатому полу.

— Ну?

— Я сейчас поищу, я сейчас в тую сторону пойду.

— Ты сейчас ни в какую сторону не пойдешь.

Скамейкин безмятежно смотрел на начальника: ни в какую, так ни в какую.

Но грабли были нужны Рыжову.

— Иди, товарищ Скамейкин, ищи, только лучше ищи.

Скамейкин возвращался не скоро. Он умел исчезать из поля зрения Рыжова очень надолго. Потом он приплетался ни с чем.

Раньше в цехе был толковый завхоз, но эту должность упразднили. Приходилось крутиться. Скамейкин тем был хорош, что числился он слесарем, платили ему зарплату, правда, выше, чем настоящему завхозу, зато, в случае если бы пришла комиссия, Скамейкин изобразил бы из себя слесаря.

— А вы хоть догадались, товарищ Скамейкин, выписать на складе пятьдесят пар рукавиц?

Скамейкин поворачивался, плелся выписывать рукавицы, а Рыжов чертыхался и поминал всех святых. И если Алексей был поблизости, то украдкой поглядывал на Алексея.

Рыжов был человек инициативный и хозяйственный, и, хотя на заводе его многие не терпели, в цехе рабочие и инженеры его любили и уважали. Они привыкли к его резкости, его остроты им нравились. Говорили: «Ну, цирк!»

И уж Рыжов старался всюю, чтобы был цирк.

По телефону он всегда кричал:

— С кем говорю?

По ту сторону провода называли фамилию.

— А ты кто? — спрашивал Рыжов.

Там отвечали.

— Ах, кочегар? А я по твоему голосу решил, что ты замминистра.

Те, кто были в кабинете или слышали крик Рыжова в коридоре, улыбались: «Наш дает!» Рыжов был «наш». И хотя он очень любил в субботу удирать на рыбалку, он кровью был спаян с этими крекингами, с этими людьми.

Рыжов орал в цехе в свое удовольствие, грозил судом, и преисподней, и лишением премии, но однажды Алексей обратил его внимание на какую-то мелкую неисправность, и Рыжов надулся, несколько дней обходил Алексея, как заразного.

Когда Алексей высказывал Рыжову свои технические соображения, тот только покачивал крупной головой. «Ох, реконструкция!» — вздыхал Рыжов, и это было похоже на проклятие.

Сейчас решали, с чего начинать реконструкцию. «Если начинать», — поправлял Рыжов. Он все еще не определил своего отношения к реконструкции, но знал, что лично ему эта реконструкция доставит много хлопот. Он стал проводить на заводе гораздо больше времени, чем обычно, и Алексей понимал, что этот начальник цеха, сидящий в своем дощатом кабинетике на фоне спортивного кубка и колбы с водой, может оказаться тяжелым препятствием.

Алексей составил докладную записку, где перечислил, какое потребуется новое оборудование. Рыжов читал записку с ужимками, с кряхтением: «Ох, реконструкция!» — и звал Скамейкина отводить душу.

А Скамейкин, хитрый старик, тоже научился от своего начальника стонать: «Ох, реконструкция!»

Требования на новое оборудование были столь велики, что Рыжов, видимо, не особенно верил в их реальность.

— Директор не подпишет и не согласится. Это раз. А два — пока изготовят это оборудование в Куйбышеве, рак свистнет. И Скамейкин станет человеком. Наше оборудование не в плане, ждать будем годика два. А может, и не надо вовсе никакой этой реконструкции, как ты смотришь? — высказывался Рыжов перед Крессом.

— Надо, — кротко и твердо говорил Кресс Рыжову, — надо.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Алексей курил под плакатом «Кури только здесь». Дождь шелестел по гравию дорожки, и пахло свежестью, нежными цветами лилового иван-чая и тем сложным химическим запахом, который с детства нравился Алексею и таинственно притягивал. Что взорвала, что недозволенное соединила дерзкая рука человека, отчего в результате запахло так, как в природе само по себе никогда не пахнет?

Алексей погасил папиросу, бросил на цементный пол, затоптал каблуком, вздохнул, закурил новую. Надо ку-

рить поменьше. Сестра не раз предупреждала: легкие, сердце. Алексей жадно затаился.

Послышался веселый голос Казакова:

— Вот ты где! А я тебя в цехе ищу. Знаешь, если бы ты был моим подчиненным, я бы постарался от тебя отделаться. Больно ты как-то паршиво въедлив. Бедняга Рыжов тебя боится.— Казаков расхохотался.— Умора, умора! Я был уверен, что Рыжов тебя замучит своим криком и хамством, а теперь вижу, что ты его доконаешь. Своим таинственным молчанием и своей жуткой въедливостью. Он мужик простой, последнее время притих, не острит, не шумит, он тебя боится, вот что. Надо узнать: может быть, он и на рыбалку ездить перестал?

Казакову очень нравилось представлять дело так, что Рыжов, известный своей строптивостью на весь завод, напуган Алексеем до смерти.

— Зачем приехал, чего от тебя ждать? Ах, Рыжов, бедный парень!

— Перестань,— улыбался Алексей.

— Нет, действительно! — не унимался Казаков.— Иметь перед глазами твою таинственную физиономию!

— Завтра пойду к директору,— сказал Алексей,— никак не могу с ним встретиться, то он в Москве, то где-то еще. Я всю предварительную работу закончил.

— Директор сегодня как раз из Москвы вернулся. Проталкивал там одно дело. Еще не помню, чтобы он вернулся из Москвы ни с чем. Что значит авторитет! И вид импозантный, что ни говори.

Алексей вспомнил фигуру директора в столовой.

— Похож на восточного бога,— сказал он,— как его там, Вишну, Кришну...

Казаков изумился:

— Неужели? А нам он кажется очень представительным. Кстати, знаешь, как теперь называется площадь Ногина? — спросил Казаков.

— Как?

— «Площадь павших министерств». — Шуткой Казаков явно обрывал разговор о директоре.

На следующий день Алексей сидел в приемной на широком черном кожаном диване с высокой спинкой и ждал директора завода.

На этом же диване, развалиясь, сидели шоферы легковых машин, дразнили друг друга, шумели и смеялись:

«А ты химичишь где поближе!», «А ты химичишь, чтобы квартиру переменить!» У шоферов были гладкие, курортные лица.

Секретарша прикрикнула: «Ну, вы, химики, расшумелись, давайте потише!»

Директор прошел мимо Алексея, обдав его запахом одеколона: видно, только что побрился. Он смотрел прямо перед собой, ни с кем не поздоровался. Шоферы вскочили с дивана, вытянулись.

Через несколько минут Алексей миновал обитые кожей двойные двери и вошел в кабинет, обставленный с казенной роскошью.

Мягкий, приятный голос произнес: «Садитесь, прошу»,— и директор с радушной улыбкой указал Алексею на кресло.

Человек, сидевший за огромным письменным столом, ничем не был похож на того сурового бога, которого Алексей несколько раз видел в инженерной столовой. Здесь в свободной позе сидел приветливый человек средних лет, даже молодой, в безукоризненном костюме из светлой дорогой материи в рубчик, в сверкающе-белой рубашке и улыбался, как гостеприимный хозяин.

— Садитесь, садитесь. Вы давно с завода? Что слышно в тех краях? Как там Крептюков?

— Теперь он директор завода гидрирования,— ответил Алексей.

— Молодец! Хороший парень, люблю его. Как ваше самочувствие?

Директор оказался осведомленным о некоторых событиях жизни Алексея: Этим объяснялось радушие. Алексей был для него «своим», погоревшим, но «своим». Алексей улыбнулся. Если он «свой», тем лучше... для дела.

Зажглась маленькая красная лампочка на столике слева, на селекторе. Директор нажал кнопку, включил микрофон.

— Здравствуй, Гриша,— сказал он, поправляя микрофон смуглой пухлой рукой.

— Здравствуй!— В микрофоне послышался смех.— Твое министерство накрылось.

Голос из микрофона был очень веселый, подтрунивающий.

— Да ну?— подмигивая Алексею как своему, отве-

тил директор. — Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

— Я тебе точно говорю, — настаивал веселый голос.

— Верю. А еще что новенького? — улыбаясь бесшабашной улыбкой, спрашивал директор невидимого веселого и равного себе по положению собеседника — в этом Алексей не сомневался.

— Что же еще? — Голос сделался разочарованным. — Вот надел сегодня белые штаны. Что еще нового? Еду в пионерлагерь, дам указания.

Директор засмеялся.

— Ну, погуляй, погуляй. А я вот дал указание, чтобы твоего Баскина отмордовали за то, что он мне дорогу разворотил.

Теперь в микрофоне послышался смехок.

— Ничего, починишь!

Раздался легкий треск, микрофон выключился.

— Ты мне сам починишь мою дорогу, — сказал директор уже Алексею.

Вошла секретарша, подала утреннюю сводку. Директор попросил:

— Ирочка, дай две папироски.

Секретарша скрылась и вернулась, неся на ладони две папиросы.

— Это я сам от себя, чтобы меньше курить, — пояснил директор с улыбкой беспечного человека, который прощает себе свои слабости. — Ко мне не пропусайте, я занят.

— Андрей Николаевич, там начальники цехов собираются, вы их вызвали на половину десятого.

— Ох, забыл! Быстро приглашайте, а вы оставайтесь, — обратился директор к Алексею, — совещание продлится недолго, а потом мы с вами обсудим ваши дела.

Алексей пересел подальше. Ему было интересно, он невольно сравнивал Терехова с собой, там, на заводе, где он был директором.

Начальники цехов, стараясь не шуметь, заходили и рассаживались на кожаных диванах вокруг длинного стола, на стульях, стоявших в глубине кабинета.

Алексей взглянул в сторону письменного стола и усмехнулся. Подперев большую бульдожью голову кулаком, директор ждал, глядя сумрачно и исподлобья на подчиненных. Это опять был восточный бог, к тому же раз-

гневанный. Он ждал, постукивая левой рукой по стеклу на столе.

Расселись, соблюдая чины: начальники цехов на жестких стульях, заместители главного инженера и начальники отделов на мягких диванах, а главные — технолог, механик, энергетик — в полукреслах у стола, покрытого малиновым сукном. Только Баженов вошел и, не глядя, сел на первый подвернувшийся стул рядом с Алексеем.

Продолжая постукивать рукой по стеклу, директор спросил кого-то:

— Ты мне скажи, газированную воду в Дели пьют?

— Нет, там колд вотор.

Вопрос и ответ вызвали оживление. Директор небрежным вопросом давал понять, что его подчиненные ездят в командировки в дальние страны и, хотя сейчас здесь будут обсуждаться незначительные внутренние хозяйственные вопросы, для них открыт и большой мир.

— Ну, а мы потолкуем о газированной воде. Товарищи, когда вы сдадите этот объект, я имею в виду цех газированных вод?

— В июле, — объявил молодой человек в очках, представитель подрядчика.

— А если я вам премию пообещаю? — спросил директор и в первый раз улыбнулся.

Все опять засмеялись.

— Ну как?

— Я подумаю.

— Подумай, через пять минут сообщишь результаты своих размышлений, — сказал директор. — Люди должны получать газированную воду на заводе. Как можно скорее. Я согласен даже принять по частям, я не буду педантом.

Алексея удивило, что на таком большом современном заводе рабочие не имеют газированной воды. Что может быть проще газированной воды?

— Теперь относительно дорог, — сказал директор. — К нашим строителям обращаясь...

Сразу раздались голоса: «Степной тракт надо ремонтировать!», «В первую очередь третью дорогу доделать!», «Дорогу от цеха депарафинизации!», «Небольшой кусок надо холодным бетоном класть!»

Директор поднял руку:

— Коллегиально, но не все вместе.

Опять засмеялись, оценив остроту директора. А он улыбнулся и хитро прикрыл один глаз. Алексей смотрел на него с насмешливым интересом.

Директор поднялся из-за стола, прошел к противоположной стене и эффектным движением раздернул голубые крепдешиновые занавески, скрывавшие большой план завода, нарисованный в пастельных тонах и заключенный в золоченую раму.

Тоненькой указкой директор касался пронумерованных на плане дорог.

— Третий подъезд, товарищи строители, прошу закончить через месяц.

В кабинет вошел невысокий человек с веселым умным обезьяньим лицом.

— Ага,— протянул директор,— вас-то мне и надо. Показываю еще раз дороги, которые следует делать немедленно.

— Это начальник строительного треста,— пояснил Алексею Баженов.

Директор еще раз указкой прошелся по плану.

Баженов громко сказал:

— От миллионки новую дорогу надо. Пешеходную дорожку для людей с маслблока надо.

— А деньги? — спросил начальник треста.

— А мы что, не платим? Должны вам? — осведомился директор, направляясь к столу.

Опять все засмеялись. Нравился тон превосходства хозяина, владыки, каким разговаривал директор. Алексей вообще не терпел такой манеры, но Терехов был хороший актер. Хороший актер и плохую роль играет хорошо.

Начальник треста молчал. В конце концов его обязанностью было строить заводу дороги.

Директор сказал ему:

— Имей в виду, я тракторы без башмаков не пушу на завод. При всем моем уважении к тебе, не пушу. И прошу убрать грунт вдоль второй дороги.

— Моего грунта здесь нет. Я ничего нигде не оставляю. Кто будет финансировать уборку грунта?

Директор ответил ему опять под общий смех:

— Если это недоделки строителей, то за недоделки строителей мы платить не будем. Есть такая поговорка —

договаривайся на этом берегу. Мы договаривались. Грязь за собой вы убираете. И еще раз предупреждаю: я очень рассержусь, если вы мне хоть метр дороги испортите. А теперь мы перейдем к следующему вопросу. О чистоте, о красоте, а также о цветочках.

Пронесся легкий гул.

— Роптать нечего. Почему с холодком относитесь? Товарищ Рыжов, ваши деревья не побелены, не закреплены. Стыдно подойди к вашему цеху. Это же черт знает что! Ведь каждую, понимаешь, соринку надо убрать. Это же завод наш, черт побери! За вас девчонки из дворového цеха работать не будут! Их выделили для посадки цветов. Грязь! Тысячу раз говорил, чтоб урны поставили. Ни одной урны нет! Цветочницы разбиты! Горбыли какие-то пособирали и натыкали на клумбы, когда я приказывал георгины укрепить. В своих садах по-другому цветы сажают! И если кто хочет мешать, понимаешь, пускай он не думает, что ему это удастся. Перед лабораторией, Лидия Сергеевна, деревянный столб стоит — на кой черт он нужен? Немедленно его срубить! Что, я буду за вами как пастух ходить? Этот хозяйственный вопрос перерастает в политический. Металлолом валяется. Деловой двор у нас или свалка там металлическая, не поймешь. Вдоль паропроводов — груды изоляционного материала. Сколько под паропроводами ненужного хлама, проволока висит, доски валяются! Что вам, машин не хватает?

— Не хватает, — хмуро сказал Рыжов.

— Где работают семьдесят машин? — закричал Терехов. — Черт возьми, дайте мне разнарядку!

Рыжов встал.

— Андрей Николаевич, машины нам дают, но как дают?! Если сегодня дали машину в третий цех, то завтра ее пошлют в девятый. Это уже наверняка. Чужой шофер идет, ищет, звонит. То у него пропуска нет, то техталона. Машины надо раскреплять по цехам. Как и ремонтников. А не так, что приедет шофер, ему показывают то склад, то крекинг. Надо товарищу Щепкину это разъяснить.

Раздались голоса:

— Это Щепкин, это все Щепкин виноват.

— Да что вы со Щепкиным? Над Щепкиным тоже есть какой-нибудь Куперник, — сказал директор.

Все засмеялись, кроме Рыжова. Он смотрел в пол,

всем своим видом выражая недовольство и сопротивление, и что-то бубнил под нос.

— Вы что, Рыжов? — спросил директор.

— А то, что цветы надо ночью поливать.

— Ну и поливайте ночью. Я вас всех на казарменное положение переведу. — Директор умолк, собираясь с дыханием. — Куда ни придешь, только ругаешься, ругаешься. Противно! Чего вы ждете и о чем вы думаете? Что у меня эта блажь пройдет? Не надейтесь. На что похожи наши основные дороги? — Легкой походкой директор опять подошел к карте завода. — Здесь, товарищ Рыжов, — показал он, — дорога очень грязная. Только не огрызайся, пожалуйста.

Рыжов проворчал:

— Это не моя дорога, что я, один за нее отвечать должен?

— Ох, товарищи, если вы будете огрызаться и не делать... — сказал директор добродушно. — Если вы там какую-то халабуду оставляете у себя, то сделайте так, чтобы на нее можно было смотреть. Это я вам опять говорю, товарищ Рыжов. У вас там будка ржавая, грязная имеется.

— Да уж я понимаю, что мне.

— Покрасьте, поштукатурьте. У вас мужиков много, а вчера они так лениво работали, что я не видел таких. Они полдня валялись там под паропроводом, загорали на солнышке.

Лица начальников цехов по-прежнему были скептически и упрямы. Начальники цехов считали, что это не их дело, их дело — перерабатывать нефть, и за это пусть с них спрашивают. Они ничего не имеют против того, чтобы на заводе было чисто и красиво, но план они должны выполнять? Они прекрасно понимают, что директор ждет гостей из Москвы, принимает иностранцев, вчера — румын, на прошлой неделе — индонезийцев и англичан, и ему нужно показывать товар лицом. А им надо выполнять план.

Алексей разделял отношение начальников цехов к этому вопросу.

— Простой раз я просил покрасить бытовки, побелить... — продолжал директор.

Директору закричали: «С известью трудно!», «Известь — дефицит!», «А где брать известь?»

— Да, известь — сложная проблема, — сказал Рыжов. Директор поднял брови.

— Развѣ? Не знал.

Он нажал кнопку, зажглась зеленая лампочка, из микрофона послышался надтреснутый патефонный голос: «Слушаю. Кто?»

— Терехов. Слушай, можешь дать мне известь?

— Сколько?

— Ну десять тонн.

— Это можно. Присылай.

Аппарат выключился с характерным легким треском.

У директора было безразличное лицо фокусника, показавшего виртуозный номер на глазах у многочисленной публики. Публика наградила артиста дружным смехом. Послышались возгласы: «Вот как это делается!», «Хорошо быть большим начальником!»

Совещание закончилось.

Когда все вышли, Алексей пересел к столу Терехова. Оба закурили. Оживленные глаза Терехова, его довольная улыбка говорили: «Я все могу. Я очень могущественный человек».

«Он честолюбив, — подумал Алексей. — Но, пожалуй, для его честолюбия в реконструкции каталитического крекинга маловато простора».

— Да, недооценивают нашего брата директора, — сочувственно вздохнув, весело сказал Терехов и выжидающе посмотрел на Алексея.

«Все еще пытается вызвать меня на откровенность. Любопытно ему узнать, почему меня сняли, как сняли. Его это очень волнует, больше, чем меня. На всякий случай хочет знать, за что теперь снимают».

Алексей молчал.

— Ну-с, а как там настроение на «площади павших министерств»? — спросил Терехов, посмеиваясь.

— Настроение бодрое.

Терехов расхохотался.

Алексей сказал:

— Итак, я приехал на ваш завод...

Терехов перебил его:

— Баженов мне говорил, зачем вы приехали. Это в принципе все правильно и верно.

— Вот положение на вашем заводе. Вы берете сей-

час легкое сырье, а производительность у вас в пределах проектной и даже ниже.

Терехов насмешливо приподнял одну бровь. «Ах, вот как, вы приехали нас учить, мы очень любим таких учителей».

«Ничего, послушаешь». Алексей продолжал:

— Повышать производительность вы не можете. Вас лимитирует стадия регенерации катализатора.

На лице директора, на смуглом лице восточного бога, блуждала смутная улыбка.

«Надо заманивать. Бить на эффект,— решил, Алексей.— Черт его знает, понимает он техническую сторону до конца или ему втолковывать надо?» Непроницаемые лица таких руководителей, как Терехов, никогда не выдадут незнания или непонимания.

На всякий случай Алексей рисовал на блокнотном листе картиночки и показывал, что и как надо будет сделать.

Разумеется, сказать, что он против реконструкции, Терехов не мог. Какой нормальный директор скажет, что он против повышения производительности труда? Весь вопрос в том, заинтересуется он как инженер, как руководитель, или отнесется формально, сочтет очередной попыткой столичного института сунуться в работу завода, благо это модно нынче. Таких бесплодных попыток любовью завод знает достаточно.

— Да,— заметил Терехов,— все это серьезно, особенно если учесть вас лично.

Что он хотел сказать этой фразой? Был ли это комплимент Алексею, его имени и знаниям? Или, скорее всего, это был намек на то, что эта работа должна «выручить» Алексея, должна помочь ему вернуть утраченное положение? И он, Терехов, всегда пойдет навстречу товарищу, коллеге, который в беде...

«Если это так, то это глупо,— подумал Алексей.— А в общем наплевать, какие у него там сложные дипломатические соображения».

Алексей протянул Терехову короткую докладную записку, план и смету. Тот прочитал и опять картинно выгнул бровь.

— И-да. С запросом.

— Без запроса,— сказал Алексей.— А вы хотите за копейку канарейку, чтобы басом пела.

Терехов поднял глаза на Алексея, усмехнулся.

— С запросом. Но я согласен. Сделаем.

И поставил свою подпись на документе.

Этой быстротой решения он понравился Алексею. «Все-таки молодец, другой бы канителился».

— Но, — сказал Терехов, — реконструкцию проведем, когда установка станет на ремонт. Выделять специальное время мы не можем.

Алексей понимал, что реконструкцию придется проводить в сложных условиях. Сроки определять будет не он, а завод. Об этом и сказал Терехов. Он предложил всем участникам реконструкции собраться, обсудить с главным механиком детали и все окончательно решить. Но все было решено сегодня.

Через пять дней Алексею предстояло выехать в Куйбышев заказывать оборудование.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Поздно вечером, придя в гостиницу, Алексей принял душ, взял газеты и лег на диван ждать телефонного звонка. Они с Тасей разговаривали почти каждый вечер. Тася просила ей не звонить, боясь тревожить отца, и старалась звонить сама. Если Алексей знал, что звонка не будет, он все равно ждал.

Плечи, руки, лицо Алексея горели, после того как он весь день лазил по установке. Он кашлял, наглотавшись катализаторной пыли.

И все равно он делал сейчас работу, которую любил, и, если бы Тася была с ним, он чувствовал бы себя самым счастливым человеком. Но Таси не было.

Дежурная, вернее было бы назвать ее хозяйкой гостиницы, принесла Алексею графин домашнего квасу. Поставила графин на письменный стол и остановилась в дверях — странное, печальное существо с круглыми совиными глазами и прямыми, светлыми, как солома, волосами, висящими по плечам, в синем халате с белым кружевным воротничком.

— Вы никогда не спите. А я так сплю беспощадно, особенно после купания.

— Не надо много спать, Клавдия Ивановна. Жизнь проспаться можно.

— Я уже не думаю жить семейно. Некоторые так лег-

ко за жизнь берутся. А я нет. Алексей Кондратьевич, какое же это счастье? Как бы его увидеть? Вот над чем я думаю и думаю.

Тусклые, печальные глаза смотрели на Алексея детски вопросительно и серьезно.

— Я понимаю, какой вы человек. Вот у вас возраст еще не уклонный, не после пятидесяти, а вы к людям расположены, хотя бы ко мне. У меня и муж такой человек был. А как умирал уже, говорит: «Ты сядь, Клава, поешь, а то ты истомилась со мной».

Крупные слезы капнули у нее из глаз. Алексей встал с дивана, подошел к ней.

— Что о старом плакать, Клавдия Ивановна? Помнить надо, а плакать не надо.

— Это была такая боль несветимая. Я часто вспоминаю свою жизнь.

— Бросьте, Клавдия Ивановна, зря расстроились. Чудачка вы.

— Нет, Алексей Кондратьевич, не зря. Так надо. А чудачка я, это верно.

Вдруг она, видно вспомнив, что находится при исполнении служебных обязанностей, заторопилась.

— Один раз вы отдохнуть захотели, а я вам не даю. Спите покойненько. А то крекинг вас замучил. Все вы там записываете. Минуты, полминуты. Отдохнуть обязательно необходимо.

Голос Клавдии Ивановны опять дрогнул, и она убежала, размахивая полами синего халата, несчастное, одинокое, маленькое пугало с сердцем, полным добра и надежды.

Алексей заснул, но, казалось, и во сне ждал звонка Таши.

Звонка в этот вечер не было.

Каждый раз по телефону Тася была другой. То спокойная, то деловая, то смущенная и далекая, отвыкшая. Осторожные медленные слова, подумает, вздохнет, что-то спросит, помолчит. Алексей прощался, вешал трубку, через полчаса опять заказывал Москву, чтобы услышать радостный возглас: «Как хорошо, что ты позвонил! А то я расстраивалась, мне казалось, что мы как-то не так поговорили».

Все было так и не так.

Алексей писал: «...Все будет хорошо. Приезжай. Не тревожься ни о чем, не сомневайся, доверься мне. Впрочем, не буду тебя уговаривать, решай сама. Я-то решил. Знаешь, я пришел к грустному выводу, что от тебя нельзя отойти ни на шаг, отойдешь, ты сразу забываешь. Ты такой человек, ненадежный. У тебя отсутствует чувство географии. Ты носишь центр мира за собою. Ты, наверное, не представляешь себе, что есть на свете еще город, кроме того, где ты живешь. Еще улица, кроме той, по которой ты ходишь. И там ходит как сумасшедший человек, который любит тебя. Да, для меня центр мира — всегда ты, где бы ты ни была».

Тася писала: «Сегодня я была на Арбате, пошла перулком, где мы старика со скрипкой встретили. В скверике те же гуляли собаки. Все по-прежнему, только тебя нет. Центр мира потерялся, он там, где повышают производительность установок каталитического крекинга. Если папе будет лучше, я, может быть, приеду. Мне надо проверить одну вещь...

...Вчера приезжала Лена с двумя врачами. Они смотрели папу. Лена обещала достать венгерское лекарство. И папе сразу стало лучше от этих забот. Он говорит, что раз ему не дают умереть, то он не умрет, хотя бы из вежливости. Спасибо Лене. Я бы хотела быть на нее похожей».

Алексей был благодарен сестре. Она умела, когда надо, действовать без лишних слов. При всей своей любви к лишним словам.

«Скучаю без тебя», «Жду тебя» — телеграфировал Алексей Тасе и представлял себе, как звонит почтальон в дверь дома на Таганке, как она бежит к дверям, принимает телеграмму. Улыбается, знает, что телеграмма от него. И читает, что сегодня, два часа назад, он так же скучал, думал о ней, звал к себе.

Письма, телефонные разговоры, телеграммы. «Я использую все современные средства связи, — думал Алексей. — Неужели не поможет? А ну-ка пойду еще отобью телеграммку-молнию, последнее, что осталось в моем распоряжении».

Телеграфистка протянула ему бланк и улыбнулась, как знакомому.

«Когда влюблен мальчик восемнадцати лет, это ес-

тественно и превосходно, — подумал Алексей, — но в моем возрасте надо остерегаться быть смешным». Ему казалось, что все знакомые, какие только есть, включая работников цеха Рыжова, должны видеть, что он влюблен. Недаром девушка, передавая ему бланки, всякий раз посмеивается. Лидия Сергеевна спросила как-то: «А свадьба когда?»

Люди располагают на редкость малым запасом слов. Вот «свадьба», «невеста»...

Он писал Тасе: «...Ты моя невеста; моя любовь, мое все на этом свете. Завидую сейчас только поэтам, они могут писать стихи. А я не могу найти слов, чтобы выразить тебе...»

Приехать Тася не могла. Он понимал, что торопит Тасю, и не мог иначе. Надо было научиться ждать. Ей надо было «проверить одну вещь». Но у него-то все было проверено. Иногда Алексею казалось, что на улице он видит ее. Сердце начинало колотиться. Потом он называл себя идиотом, ведь она была в Москве, вчера разговаривал с нею по телефону. Сегодня опять будет говорить с нею, услышит, как она дышит у трубки, смеется. Господи, как приятно быть идиотом!

И вот она сказала: «Между прочим, завтра вечером я выезжаю к тебе, вагон номер семь». — «Так не шутят, — сказал Алексей. — Неужели это правда?» — «Правда! — смеялась Тася на другом конце провода. — Я не шучу. Почему ты молчишь?»

Он молчал, замер у трубки. Ведь не мог он сказать ей, что уезжает в Куйбышев вечером того дня, когда она приезжает. Это было невозможно!

— Я рад, счастлив. Благодарен тебе, — глухо сказал Алексей, — безгранично благодарен. Не знаю, как дожидаться.

Она решила приехать. Любит. Алексей был потрясен. Он не мог оставаться в гостинице, вышел на улицу.

«Надо прийти в себя, успокоиться». Он шел, пока не обнаружил, что город кончился и начался пустырь.

— Ну и прекрасно, — сказал Алексей и пошел дальше, проверив по карманам, есть ли у него спички и папиросы.

До этого дня он еще сомневался, не был уверен в ее отношении к нему. Даже его отъезд в Куйбышев переставал казаться такой катастрофой. Алексей знал,

что сумеет вернуться очень быстро. Тася все-таки решила приехать,— значит, она любит его. Остальное неважно.

Он забрел далеко и увидел небольшое озеро.

Он разделся и прыгнул в воду, выплыл на середину и лег на спину. «Просто пруд,— думал Алексей,— озером его не назовешь. Слишком важно для такой лужи». Нарвал лилий и вылез из воды.

Одевался и думал о том, как поставит лилии в воду и послезавтра расскажет Тасе, что нарвал их, обалдев от счастья.

Он пошел назад и потащил охапку мокрых, грязных лилий со стеблями, которые волочились по земле. Через некоторое время он посмотрел на них и изумился: цветы были серые, жалкие, пахли тинной.

«Ну их!» — решил Алексей и отдал лилии босой и совершенно голой маленькой девочке, у которой на шее болтался на веревке ключ. «Чудесная девочка», — подумал Алексей, оглянувшись. Девочка смотрела ему вслед.

«А Тасе я куплю розы».

Тася приезжала в воскресенье.

Казаков достал машину, и они поехали на вокзал.

Машина, мягко пружиня, ехала по главной улице, шелковые голубые занавески давали голубую тень. Машина изнутри была обита голубым шелковистым плюшем. Это был «ЗИЛ» директора завода.

Алексей удивился, когда увидел, что за машину взял Казаков у «одного знакомого».

— Какого черта?.. — начал Алексей, когда Казаков открыл перед ним дверцу серебристо-серого «ЗИЛа».

Казаков дернул Алексея за рукав и глазами показал на шофера. Алексей знал директорского шофера, раза два видел его на черном кожаном диване в приемной. Это был разбитной, красивый, кудрявый парень. На диване, в компании других таких же разбитных шоферов, он громко обсуждал заводские дела, международные проблемы и переругивался с секретаршей. Алексей, пожав плечами, сел на голубое прохладное сиденье. Он мог встретить Тасю на такси.

Пахло цветами — Алексей купил розы, красные и белые, большой букет.

Казаков понюхал розы и задумчиво сказал:

— Цветы. Начинается твоя новая жизнь. Счастливый! Завидую!

— Только слишком голубые сиденья для моего за- да,— сказал Алексей.

Казаков расхохотался.

Шофер обернулся и показал:

— Здесь строится наш больничный городок, больница уже готова, видите? Говорят, в Москве еще такой нет, по последнему слову науки и техники.

«Она стоит в вагоне у окна, смотрит,— думал Алекс- сей, и сердце его колотилось и замирало.— Неужели она сейчас будет здесь?»

— Там умирать не будут,— сказал Казаков, нюхая розы.

— Вы не смейтесь, Петр Петрович, говорят, очень хо- рошие аппараты там есть. Надо будет полечиться.

— Чего ты лечить собираешься, больной? — грубова- то-покровительственным тоном, каким разговаривают подчиненные с шоферами и детьми своих начальников, спросил Казаков.

Мелькают краны, фундаменты и стены с квадратика- ми окон.

— Вот вы смеетесь, Петр Петрович, а у меня печень больная,— продолжался разговор.

— Много водки пьешь,— отвечал Казаков, посмеиваясь.

— Интересно, когда я пью? Я с утра до ночи за ба- ранкой, теперь еще рыбалка у нас, так что и ночью рабо- таешь. Когда пить?..

— Бедняга!

Мимо пронеслись две легковые машины с надписью крупными белыми буквами: «Консультанты».

— Что они консультируют? — спросил Алексей.— Что за консультанты такие?

Казаков и шофер не знали.

Сейчас он увидит Тасю, услышит ее голос.

— А что? — сказал Казаков.— Разве плохо было бы, если бы по городу разъезжали консультанты и давали бы консультации по всем вопросам жизни? Спокойные седые люди, которые бы все знали, мгновенно бы сообра- жали...

— Неплохо,— громко засмеялся шофер,— очень даже неплохо.

— Чтобы мы уж совершенно прекратили сами думать,— сказал Алексей,— и стали бы полными идиотами.

Сказал и удивился: «О чем это я? А не все ли равно, о чем! Еще сорок минут осталось. Еще тридцать девять».

Машина ехала теперь по узким, кривым, мощенным булыжником улицам, мимо деревянных одноэтажных домиков с окнами, сплошь заставленными розовыми и алыми цветами с густой темно-зеленой листвой, мимо скамеек, заборов и старых, косо растущих деревьев. Это был маленький старинный деревянный городок, который срастался с тем, новым, каменным. Но пока еще он был сам по себе и носил свое собственное название.

Мелькали голубые ларьки с пивом, вывески на домах: «Парикмахерская», «Фотография», «Починка часов», «Окраска обуви» и, наконец, коротко — «Мастир».

— Сердце пишется через «д»,— сказал Казаков.

— Что это значит? — осведомился Алексей.

— Когда я учился в девятом классе, я написал учительнице дарвинизма записку с объяснением в любви. Писал долго и вложил в записку все свое сердце, не вдаваясь в подробности, как оно пишется. Написал «сертце», очень волновался. А она громко прочитала фразу и сказала: «Сердце пишется через «д». Мне казалось, что все поняли, кто писал и вообще все. Это была, конечно, страшная подлость с ее стороны.

Шофер засмеялся.

— Не гони, не гони,— сказал Казаков.

— Дело под горку, катится само.

— Гони,— попросил Алексей.

Тася вышла из вагона и остановилась. В светлом плащике, в розовой косынке, она стояла у вагона и улыбалась. Увидев Алексея, она бросила чемодан и сумку и, раскинув руки, подбежала к нему.

— Я не верила, что еду. Ехала и все время не верила,— смеясь, говорила она, поднимая к Алексею свое изменившееся, очень яркое лицо.

Он крепко обнял ее, прижал к себе.

— Что в тебе изменилось? — спросил Алексей.— Девочка моя ненаглядная. Ты еще красивее стала.

— Да, правильно,— засмеялась Тася. Она загорела, и ее продолговатые зеленые глаза особенно выделялись на потемневшем румяном лице, а волосы были почти белыми.

— Петя! — окликнул Алексей приятеля и познакомил его с Тасей.

— Это замечательно, что вы приехали. Посмотрите наш завод, вам будет интересно. Будем ездить на рыбалку, варить уху. Любите? — Улыбаясь всем широким лицом с угольными бровями, Казаков крепко пожимал руку Таси.

— Очень,— отвечала Тася,— очень люблю. Рыбу удить, плавать, на лодке кататься и грести люблю.

«Все врет,— радовался Алексей,— сама говорила, что грести не умеет».

У витрины привокзальной парикмахерской Тася задержалась. Там были выставлены модели причесок. Она прочитала вслух: «Любительская. Фантазия. Демократическая. Юность мира».

— Вот такую я себе сделаю,— показала она.— Юность мира.

Потом она увидела уличные весы, и все трое взвесились.

Алексей взял Тасю под руку.

— Еще весы,— сказала она весело.— Тщательный контроль над весом приезжающих граждан.

— Прошу вас! — Казаков открыл дверцу машины.

Тася села, поздоровалась с водителем, улыбнулась. Она сидела очень прямо и свободно. Так же села бы она в телегу, в кузов грузовика, так же бы улыбнулась и поехала.

На сиденье лежал букет роз. Тася прижала цветы к лицу.

— Розы,— сказала она.— Какие хорошие.

Шофер несколько раз с любопытством оглянулся на нее.

— Это баня, а не машина,— как бы извиняясь, сказал шофер, обращаясь к Тасе и показывая на дизельный грузовик, который в клубах черного вонючего дыма поднимался в гору и не давал себя обогнать.

— То, что вы видите, еще не город, эти домики к нам отношения не имеют. Наш город новый, красивый,— объяснял Казаков.— Вам понравится.

— Я иногда думаю,— сказала Тася,— а что, если бы я родилась не в Москве, а в таком вон домике, за вон той геранью...

— Может быть, там родился маршал авиации,— сказал Алексей.

— Возможно. А если не маршал, а если жить так всю жизнь, за этими окнами, жить и жить? И ничего больше не знать? И здесь состариться и уже быть старушкой? В железных очках.

Шофер обернулся.

— Там городской парк, на обрыве. Хотите посмотреть?

Для шофера Тася была женщиной из Москвы, которую директор приказал встретить на своей машине. Он не знал, что Казаков попросил эту машину для Алексея и Терехов дал как любезный хозяин уважаемому гостю.

— Если вы не устали,— добавил шофер.

— Пожалуй, сейчас не стоит,— небрежно ответила Тася, и шофер решил, что она, наверное, жена или дочь какого-нибудь московского начальства.

— Тогда прямо в гостиницу? — вопросительно сказал Казаков.

— Везите куда хотите! — засмеялась Тася.— Я привыкла слушаться. Здесь очень хорошо. Мне даже кажется, что я приехала в рай.

Алексей улыбнулся. Его неправильное лицо с большим, отчетливо шишковатым лбом и далеко расставленными карими глазами делалось очень привлекательным, когда он улыбался.

И Тася тихо сказала ему:

— Улыбайся почаще.

— Теперь я буду улыбаться всегда,— ответил он.

— Справа аэродром,— доложил шофер,— а слева строится телевизионный центр.

На шоссе было много велосипедистов, тархтели мотоциклы, с бешеной скоростью и гудением проносились такси.

— У-у, бандиты таксомоторщики,— сказал шофер,— гоняют как шальные. Хулиганье. А звуковые сигналы у нас не запрещены, не то что в Москве.

— Не думайте, что я приехала как турист: у меня командировка на завод,— сказала Тася.— Прошу уважать

мои научные интересы. Довольно трудно было убедить мое руководство, что мне требуется именно этот завод, а не какой-нибудь другой, поближе от Москвы. Но аспирантура это такое благородное, такое гуманное заведение, там так идут навстречу интересам людей. Меня шеф спросил, нет ли здесь личных мотивов. Я не стала отрицать, но заметила, что это только поможет делу, в принципе. Мой шеф всегда говорит или «Не смею сомневаться» или «Позволю себе усомниться», я уже не помню, что он мне сказал, кажется, «позволил усомниться», это значения не имеет.

Каждое ее веселое слово добивало Алексея. Он еще надеялся, что уговорит ее поехать вместе с ним в Куйбышев, а теперь и это оказалось невозможным.

— Шеф меня спрашивает, а что диссертация? Будет в срок или с опозданием? Я говорю, с опозданием. Неприятно, но по крайней мере честно,— смеялась Тася.— Что ты помрачнел? Тебе не нравится, что я болтаю? Может быть, ты не любишь, когда болтают, тогда имей в виду, что я очень много болтаю.

Она волновалась, была возбуждена, щеки у нее горели. Казаков двигал мохнатыми смоляными бровями, смеялся и исподтишка разглядывал Тасю.

Говорил Алексей почти с трудом.

— Я как раз очень люблю, когда болтают.

Скорее бы ушел Казаков, скорее сказать ей, что он должен сегодня уехать, не таить в себе эту подлость.

В гостинице Клавдия Ивановна приветливо встретила Тасю.

— С приездом. Вот ваша комната. Садитесь кушать. Я крошечку приготовила. Луку много-много накрошила. Хотя, знаете, сейчас уже лук в дудку пошел, желтизна появилась и грубый он стал. Но зато огурчики парниковые я достала. Покушайте, садитесь.

Клавдия Ивановна хлопотала, у нее вздрагивало лицо от желания угостить вкусной окрошкой, удивить своей стряпней.

Тася подходила к окнам, выходила на балкон, смотрела на улицу и восхищалась — необыкновенной гостиницей, тополями под окнами, даже химическим запахом, вдруг нахлынувшим с заводов из-за сильного ветра.

— Улица новая,— говорила она,— и дома, и деревья, все здесь абсолютно новое.

Казачков поел крошки и ушел.

— Ты не ждал, что я приеду? — спросила Тася. — До последней минуты сомневалась, правильно я поступаю или нет. Потом в поезде я рассудила так: ты работаешь и я буду работать. Мешать не буду. Я не из тех, кто мешает. Я из тех... — она засмеялась, — ну ты сам увидишь, за чем я буду хвалить себя.

Поймет ли она? Должна понять. Отложить отъезд он не мог, уже действовали железные сроки. Впереди у них жизнь, и это пустяки. Потом ему будет стыдно перед Тасей за свое недоверие к ней.

— Сегодня вечером я уезжаю в Куйбышев, — выговорил Алексей.

— Как в Куйбышев? — спросила Тася с недоверчивой улыбкой. — Что это значит? А как же я?

— Не добивай меня такими словами, умоляю тебя. Срочная командировка. Я очень быстро вернусь. Я и так проклинаю все на свете.

— Почему же ты раньше не сказал? — голос Таси оставался растерянным.

— Я боялся. Тогда бы ты не приехала.

— Нет, почему же.

— Прости меня. Я очень быстро вернусь. Можешь мне поверить.

Она молчала.

— Казачков — мой старый друг, он тебя развлечет, все тебе покажет. Я буду звонить каждый день.

Он попытался шутить:

— Ты уже знаешь, как я хорошо умею пользоваться междугородным телефоном. У нас век телефона.

Тася молчала.

Бросить все, не поехать, остаться с нею? Что делать?

— Скоро ты будешь меня встречать, — сказал Алексей. — Улыбнись.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тася осталась одна. Она решила много работать, это было верное и единственное средство от грусти, от плохого настроения и той обиды, которую вызвал у нее отъезд Алексея.

Она была особенно подтянута в эти дни, трудолюбива и вела тщательные записи в лаборатории.

Она была в цехе каталитического крекинга, в операторной, и смотрела вахтенный журнал, когда распахнулась дверь и вошла группа людей.

Дежурный вскочил и выпрямился по стойке «смирно». «Я генерал», — говорило лицо и фигура того, кто вошел первым.

— Ну, как дела, все в порядке? — Голос был доброжелательный, красиво рокошущий...

Тася поняла, что это обход директора. Директора сопровождала свита.

Веселые изломанные брови на смуглом лице директора дрогнули, когда он увидел Тасю.

— Терехов, — представился он и пожал Тасе руку. — Приятно, что у нас гости.

Все засмеялись, как будто сказано было что-то очень остроумное.

Директор наклонился к Казакову, который вышел с ним, и о чем-то негромко его спросил. Тася почувствовала, что спросил о ней, и нахмурилась. Казаков произнес имя Алексея.

Терехов посмотрел в окно.

— Солнышко сегодня. Погода шепчет: бери расчет. Так, кажется, говорится.

Восточный бог шутил.

Собственно, директору в цехе больше делать было нечего. Спросив, как дела и все ли в порядке, он сделал все, что от него требовалось, он появился. Услышав, что все в порядке, установка на режиме, он мог повернуться и шествовать дальше. Но он не уходил. Постоял перед аппаратами, полистал вахтенный журнал. Задал еще несколько пустых вопросов.

Казаков, увидев, что бег на месте продолжается, выскользнул из операторной.

Тася чувствовала себя почему-то неловко, и, как всегда в таких случаях, у нее сделалось надменное и недовольное лицо.

— А вот я говорю, Андрей Николаевич, — сказал Рыжов, — стало быть, ихний «Лумус», американский, с одной стороны, лучше, а с другой — хуже. Они более правильно используют отходящее тепло. Однако если установка выходит из строя, то лихорадит весь завод.

Директор не поддержал излюбленной темы начальника цеха насчет американцев. Рыжов замолчал, в глазах у него застыла мука, ему хотелось только одного — чтобы директор поскорее убрался с установки.

— Американцы американцами, — сказал Терехов, — а ты мне зубы не заговаривай. Я еще не видел, как ты деревья побелил, как грязь убрал и вообще как ты марафет навел.

— Скамейкина ко мне! — простонал в пространство начальник цеха.

Все стояли и ждали. Директор почесал затылок, улыбнулся бесшабашной улыбкой — не восточный бог, а простой деревенский парень — и сказал громко, обращаясь к Тасе:

— А наверху вы были, завод с высоты видели? Идемте, покажу.

И посмотрел на часы, чтобы подчеркнуть присутствующим, что время у него золотое, государственное, но есть законы гостеприимства и они превыше всего. И пусть все у него учатся, каким надо быть радушным хозяином.

Тася хотела отказаться, но почему-то не смогла сказать «я не хочу» или «я не пойду». Это было бы грубо и невежливо, все бы удивились, если бы она так сказала, а сейчас никто не удивился тому, что директор пригласил ее посмотреть завод с этажерки каталитического крекинга. Наверно, его любезность объясняется тем, что они знакомы с Алексеем, может быть — даже друзья.

— Пропустим даму вперед, — сказал Терехов. — А потом я твои деревья все равно посмотрю, — пригрозил он Рыжову. Пусть ученики не надеются — учитель не забыл, что он на дом задавал.

— Я не Потемкин, — пробурчал Рыжов и вместе со всеми пошел вслед за директором.

Тася оборачивалась, искала глазами Казакова, но его нигде не было видно.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил Терехов барским тоном: мол, я прикажу — и вам найдут.

— Ничего, — резко ответила Тася.

— Сейчас я вам печь покажу, — сказал Терехов, останавливаясь возле печи, которая была похожа на железный домик без окон.

Терехов обернул руку белоснежным носовым платком, открыл смотровое окошечко, полюбовался яркими языками пламени сам, пропустил вперед Тасю и предупредил:

— Осторожнее.

— Страшный огонь,— сказала она, чтобы что-нибудь сказать.

Терехов посмотрел на нее с улыбкой.

— Страшный? Вам страшно?

Она промолчала. В сказанном был скрытый смысл. Это было неприятно.

Свита несколько поредела, потому что как ни приятно разгуливать по заводу в компании с директором, а надо работать.

— Осторожней, не запачкайтесь,— сказал Терехов.— В таком нарядном светлом платье могут здесь ходить только гости.

Сам он был в светло-кремовом костюме, в шелковой рубашке и в серых с дырочками туфлях.

— А вы? — сказала Тася.

— Я директор.

Когда подошли к крекингу, поднялась суматоха, связанная с тем, что один лифт не работал, а второй, грузовой, был страшно грязный и тоже ходил плохо, останавливался и ходил не до того этажа, до какого требовалось, и лампочка в нем не горела. Словом, как всякий лифт, он доставлял множество неприятностей.

— Не бойтесь? — усмехнувшись, спросил Терехов и открыл тяжелую железную дверь грузового лифта.— Со мной?

Тася ступила на звякнувший железный пол. Пол качнулся под ногами. Кто-то побежал за лампочкой, опять послышался крик: «Скамейкина сюда!»

Терехов, сощурив насмешливые глаза деревенского отчаянного парня, посмотрел на Тасю, закрыл двери и нажал кнопку. Лифт дернулся и пополз вверх. Солнечный луч, затканый паутиной сверкающих пылинок, проникал откуда-то в этот дребезжащий темный ящик. Тася видела только этот луч и острые пылинки, которые плавали и кружились в нем. Терехов молчал. Когда лифт остановился, он подал Тасе горячую крепкую руку и засмеялся: «Ну?»

Он потопал ногами по площадке, спросил:

— Что, очень было страшно?

Тася пожала плечами.

Надо было еще подняться вверх по винтовой узенькой лестнице. Терехов пошел вперед и, подавая Тасе руку, каждый раз улыбался.

— Я очень люблю ходить сюда. Убежишь от всех, а здесь ветер такой хороший, и весь завод виден и даже весь мир.

Он взял Тасю за руку, повел.

— Сюда, сюда, теперь сюда, еще немножечко поднимемся. Вы не боитесь высоты? По-моему, вы не должны бояться. Еще сюда. Здесь перила, вставляйте. Теперь смотрите.

Они стояли на большой высоте, завод был весь перед глазами, дальше — река, темный угол леса. Люди отсюда были не видны.

Терехов закрыл глаза, подставил лицо ветру. Потом усмехнулся:

— Маленькие слабости больших начальников.— Показывая рукой, он объяснял: — А вот градирня. Видите, вода.

Потом нагнулся, поднял с пола белые крупинки, похожие на крупинки града.

— Катализатор,— сказал он с улыбкой.

— Тонна которого стоит дороже тонны сахара и который надо экономить.— Тася улыбнулась, вспомнив содержание одного из плакатов.

— Д-да, дорогой, даже противно, до чего дорогой. Скажите мне ваше имя,— попросил Терехов, пересыпая с руки на руку крупинки града-катализатора.

— Таисия Ивановна.

— Нравится завод, Таисия Ивановна? — Он с расстановкой произнес ее имя.

— Нравится.

— Здесь, на крекинге, особенно хорошо. Не слышно шума городского... Уходить не хочется. Там, внизу, дела, а здесь ничего нет, только ветер и незнакомая женщина... очень красивая.

Тася молчала, держала обеими руками развевающиеся от ветра волосы. Шарики катализатора, сахарного града, хрустели под ногами. Странное, неверное, летящее ощущение охватило ее.

— Вон строится завод-смежник, завод синтетического волокна. Разные кофточки нейлоновые хорошенькие будем производить для наших женщин и девушек. А справа тоже завод-смежник, синтез спирта, горе мое. Он завод еще пусковой, на нашем газе, а у нас газа много, они не поворачиваются брать. Мы и ссоримся. Такова жизнь. ТЭЦ видите?

— Вижу.

Он показывал что-то для него бесконечно дорогое, свое, чем он гордился и жил. Это чувствовалось. Он говорил просто, но не мог сдержать гордости. И то, что он показывал, было действительно величественно.

— А сферыки видите отсюда, как детские воздушные шарик? Серебряные. Нравятся?

— Нравятся.

— В сферических емкостях хранятся жидкие газы. Вы нефтяник?

— Да.

— А я вошел в операторную, смотрю и думаю, что это за жар-птица здесь сидит,— засмеялся Терехов.

— Пойдемте вниз, я все уже посмотрела,— оборвала его Тася.

— Минуту, еще минуту, вот по часам, ровно пять минут,— стал просить Терехов.— Не сердитесь на меня, не смотрите на меня так зло. Давайте побудем здесь еще немножко.

Тася не ответила.

— Когда я вас на крекинг позвал, я ждал, что вы меня сейчас отошьете, директора на глазах у подчиненных, и приготовился к позору. Такой у вас был вид. Честное слово. А, думаю, была не была. Почему-то очень захотелось самому показать вам владения... эти...

«Эти» он сказал после паузы, явно вместо «мои».

— Когда-то я был мальчик-градусник. Бегал с термометром быстро-быстро, проверял температуру на кубах. Мальчик-градусник.

Видимо, ему нравилось, что он был мальчиком-градусником. Он и этим хвастался.

— До сих пор, между прочим, на вашем заводе девушки-пробоотборщицы лазят по совершенно отвесным лестницам. И бывает, падают и калечат себе руки. Вы знаете? — спросила Тася.

— Неужели? — Терехов засмеялся. — Они лезут, как обезьянки. Это стоит посмотреть, вы, наверное, не видели. Молодые, ловкие — разве такие упадут? Как обезьянки лезут, честное слово. А уж вам тут кто-то пожаловался, наплакался, вы и поверили.

Терехов насмешливо посмотрел на Тасю.

— Мне никто не жаловался, — резко сказала она. — Я вижу сама.

«Почему мы здесь стоим?» — подумала она.

— У меня такое чувство, как будто я всех обманул. Взял вот и убежал с вами. Я в восторге, но вижу, что вы моего восторга не разделяете. Поэтому давайте вашу ручку и будем спускаться.

Он опять пошел впереди.

— Вы любите цветы? — спросил Терехов.

— Люблю.

— Розы любите?

— Люблю.

— А на рыбалку ездить? Уху варить в ведре, песни петь?

— Не знаю.

— А реку, бакенщиков, лес зеленый?

— Не знаю. Наверное, люблю.

— А можно, я вам покажу все это?

— Но почему вы будете мне это показывать?

— Но ведь я показал вам завод... сверху. И ничего не случилось. Почему это нельзя?

— С какой стати?

— Ну, мы придумаем, с какой стати. Это все пустяки.

Он смотрел на Тасю веселыми, легкими, влюбленными глазами, у него было ликующее лицо, как будто он не сомневался, что Тася приехала для того, чтобы он водил ее по крекингу и показывал ей лес и реку. А о девушках-пробоотборщицах он весело сказал, что они лезут, как обезьянки.

— Черт, черт, что делать? Я что-нибудь придумаю. Главное, что я вас встретил, — говорил Терехов почти про себя.

— Что вы такое говорите? — изумилась Тася.

— Не обращайтесь внимания, я самому себе говорю. Это замечательно, что я вас встретил.

— Замечательно? — переспросила она.— Но это ровно ничего не значит.

— Поверьте мне, что это замечательно, Таисия Ивановна. И очень много значит.

Он посмотрел ей прямо в глаза.

Покраснев, Тася отвела взгляд.

— Идемте быстрее, у меня дела.

— У меня тоже дела, между прочим,— засмеялся Терехов.

Они медленно спускались по винтовым лестничкам.

— Вот наш лифт. Не боитесь? А то идти пешочком.

Он как будто смеялся над нею. Она открыла дверь.

— Поедем.

Теперь, спускаясь в лифте, Тася видела глаза Терехова, веселые, горячие, искушающие. Кто-то, пока они были наверху, ввинтил лампочку. Железная кабина грохотала и повизгивала, скрипела, грозя остановиться. «Что, если остановится?» — со страхом подумала Тася и рассердилась на себя. Почему она волновалась и почему была недовольна собою? Ведь она ничего плохого не сделала. В том, что она согласилась подняться с директором завода наверх, не было ничего особенного. И Терехов — Тася посмотрела на него благожелательно и спокойно — незнакомый человек, ничем для нее не интересный, только своим заводом. Завод действительно замечательный, грандиозный.

— Осторожно, Таисия Ивановна, здесь грязь, я голову оторву Рыжову,— сказал Терехов своим барственным смеющимся голосом.

Внизу стоял знакомый Тасе серебристо-серый «ЗИЛ» с голубыми занавесками.

— Может быть, хотите еще посмотреть миллионку? — предложил Терехов.— Мы сейчас туда едем. Это интересно. А потом шофер отвезет вас, куда прикажете.

Именно потому, что ехать не следовало, Тася согласилась.

Чувствуя, что делает что-то не так, она с растерянным лицом села в машину. «Почему я не могу посмотреть завод? — упрямо спросила она себя.— Если бы Алексей был здесь, он бы мне сам показал, но его нет. А со стороны директора довольно любезно...» Не слишком ли любезно?

— Поезжай дальним путем,— приказал Терехов шоферу, и Тася поняла, что это сказано для того, чтобы она смогла побольше увидеть.

«Очень любезно с его стороны»,— упрямо повторяла про себя Тася.

Весь завод — это гигантская лаборатория под открытым небом: спиртовки превратились в этой лаборатории в печи, а колбы в пробирки — в колонны и трубы.

Приехали на установку. Терехов опять спросил: «Как дела, все в порядке?» Постоял, задрал голову вверх, рассматривая, как выкрашены трубы. То же самое сделали сопровождающие, постояли, посмотрели наверх и по сторонам и уже собирались идти к машине, как послышалось тихое слово «горит». Тася увидела бегущих людей. Бежали девушки, все время поднимая головы, за ними бежал вперевалку Казаков.

Проследив за взглядом Терехова, Тася увидела маленькое сиреневое пламя довольно высоко на колонне. Терехов пошел вперед. Тася тоже двинулась, но Терехов грубо и властно положил тяжелую руку ей на плечо и оттолкнул назад. Она остановилась, он коротким жестом показал, чтобы она отошла еще дальше.

— Вам нечего там делать, стойте,— приказал он.

Вернулся запыхавшийся Казаков и встал рядом с директором. «Обшивка горит»,— услышала и уже увидела Тася.

— Форменные пустяки,— сказал Казаков. Его толстое лицо с угольными бровями было красным и мокрым, и брови тоже были мокрыми, он тяжело дышал.

Тася знала, что на нефтеперерабатывающем заводе нет пустяков. Девушки, которых она видела беспорядочно бегающими, теперь стремительно лезли по наружной лестнице на колонну и тянули рукав пожарного шланга. А нежное голубовато-сиреневое пламя то появлялось, то пряталось. Это пламя было не большое, безобидное на вид. Но все вокруг было коварно притаившееся, готовое в любую секунду и от меньшего огонька полыхнуть таким страшным пламенем, грохнуть таким взрывом...

Здесь все хорошо представляли себе, что может сделать такое маленькое, невинное, лениво скачущее пламя. И все-таки не боялись пожара.

Тася посмотрела на Терехова. Он стоял, немного рас-

ставив ноги, засунув руки в карманы светлого пиджака, и не отрываясь смотрел наверх. Он не давал указаний, не вмешивался в приготовления, не подгонял.

Резко и громко сказал только одно слово: «Пáром!» — и стоял, смотрел. Он стоял прямо под тем местом, где танцевало маленькое голубоватое пламя.

— Сейчас пáром возьмут, — сказал Тасе Казаков и пошел к колонне. — Пожарную команду не вызывали, сами тушат.

Тася хотела пойти за Казаковым, но Терехов издали заметил ее движение и опять бросил ей:

— Оставайтесь на месте.

Огонек нервно дернулся, когда его коснулась струя молочного шипящего пара, струя превратилась в облако и через мгновение уничтожила, прихлопнула пламя.

Тася при виде этого маленького поединка огня с людьми испытала странное возбуждение. Сейчас могло случиться страшное, и три растрепанные девушки в ситцевых коротких платьях безмолвно и быстро предотвратили катастрофу.

Девушки на лестнице уже что-то говорили и смеялись, пар прекратили подавать, и шланги были сброшены на землю, люди начали расходиться с аппаратного двора, говорили о постороннем. А Терехов все еще стоял, и его смуглое лицо было сосредоточенно и глаза подняты к тому месту, где только что резвился легкий голубоватый огонек, а сейчас темнела грязная подпалина. Как будто то, что кончилось для всех, еще не кончилось для него, и он ждал, когда будет совсем все кончено и для него тоже. Он уходил последним.

Десять минут назад на площадке крекинга с Тасей шутил беспечный, самоуверенный человек, говорящий пошловатые комплименты. Тася все отлично понимала. «Мальчик-градусник», «Черт, черт, что делать, что-нибудь придумаю». А сейчас она увидела другого человека, и этот спокойный, смелый, молчаливый человек понравился ей.

Терехов подошел к Тасе, как бы вернулся оттуда, куда ее не пустил, потому что там было опасно, там был огонь, нефть, газ, и там было его место, а не ее, спросил:

— Испугались? — И опять засмеялся легким, беспеч-

ным смехом.— Вот бы вы видели настоящий пожар! Когда весь белый свет горит!

Опять он чем-то хвастался перед нею. Тася весело расмеялась.

В этот же вечер Терехов прислал Тасе букет красных роз и записку: «Вы сказали, что Вы любите цветы».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Казаков сказал Тасе:

— Завтра воскресенье, едем на рыбалку.

— Не хочется,— ответила она.

— А я Алеше обещал, что вы поедете, посмотрите окрестности, подышите свежим воздухом. Вам надо развlechься. Будет большая компания. Поедем.

Рано утром в воскресенье в гостиницу, где жила Тася, пришла полная высокая женщина, подошла к зеркалу в гостиной, поправила светлые, без блеска волосы, уложенные массивным валиком, попудрила нос, постучала в комнату к Тасе и сказала:

— Вас все ждут, московская гостья.

Это была «сама» Терехова, жена директора завода, Тамара Борисовна.

— Где тут телефон? — спросила она.— Мне надо позвонить, всегда в спешке что-нибудь забудешь.

Она стала говорить по телефону. Тася слышала ее чуть хриловатый голос: «Мы забыли термос, салфетки и лимоны. Шоферу передашь и пыльник Андрея Николаевича и мои старые туфли, которые стоят в прихожей. Поняла? Повтори».

— Надевайте что-нибудь попроще! — крикнула она Тасе.

Тася надела ситцевый красный сарафан, сверху коротенькую кофточку и повязала волосы косынкой.

— Ситец,— проговорила Тамара Борисовна,— а мы здесь никак не можем привыкнуть к ситцу и носим шелк. Не знаю почему. Ситец быстро пачкается, мнется, стоит семь рублей метр. А мы любим, чтобы был шелк, и дороже. А на вас мне очень нравится.

Тамара Борисовна была живой, немного громкой женщиной. И только недавно начала стареть и, может быть,

еще не замечала этого сама. У нее было матовое лицо, мягкие щеки без намека на румянец, подрисованные в длину брови, голубые глаза.

— Жарко сегодня, учтите,— сказала Тамара Борисовна.

Солнце сверкало, небо было голубое. Предстоял длинный день у реки, с незнакомыми людьми. Алексей уехал, ну и что, ничего не случилось, и она очень рада этому пикнику и этим людям. Даже хорошо, что все незнакомые, еще лучше. Алексей писал: «центр мира носишь за собой». Очень хорошо,— значит, центр мира здесь. Где-то Москва, где-то Куйбышев. Алексей прав: у нее отсутствовало чувство географии, и не надо было ему уезжать, не надо было ему уезжать...

На улице, неподалеку от гостиницы, Тася увидела группу рослых мужчин возле автомобилей. Все смеялись, громко разговаривали. Казаков был там и тоже смеялся.

Дежурная гостиницы, Клавдия Ивановна, стояла в подворотне и смотрела на отъезжающих.

Кто-то из мужчин сказал: «По коням».

Подошел Терехов, пожал Тасе руку, помог сесть в машину. Помахал рукой, сказал: «Трогаемся».

В машине, куда сели Тася и Тамара Борисовна, были еще три женщины, шофер, девочка и рыжая собака. Машина тронулась, собака зарычала и зевнула.

Женщины все были нестарые, все держали в руках темные очки. Разглядев Тасю без очков, они надели очки и снова стали смотреть на нее.

Девочка лет десяти — двенадцати сидела впереди, топила шофера: «Давайте ту машину обгоним, ну-у, обгоним», без конца ела конфеты и кидала бумажки за окно, выковыривала из сладкой булки изюм, а остатки сыпала на сиденье. Шофер смотрел на нее, и видно было, что он еле сдерживается, чтобы не стукнуть ее.

Девчонка оборачивалась назад, темные очки она подняла на лоб, короткие светлые волосы стояли дыбом. Гримасничая, она говорила:

— У меня невры.

Все смеялись.

— Наши детишки начинают выходить замуж и же-

ниться, — сказала Тамара Борисовна. — Вчера мы гуляли на свадьбе у дочери второго секретаря. Чудная девочка, прекрасный мальчик. Чудесная была у них свадьба.

Терехова была доброжелательна.

— Хорошо начинать жизнь с ничего. С самого начала, — заметила Аня Казакова, единственная, с кем Тася была раньше знакома.

— Ну-ну, это вы бросьте! Неплохо, когда родители подкинут для начала гарнитурчик-другой, — сказала громко мать девочки, толстая женщина с медно-красными крашеными волосами, темными у основания. — Я была недавно в Москве. Мы здесь шире живем. Я посылаю девушку в магазин, покупаю два кило ветчины, закладываю в холодильник. У нас масштабы. Другой вопрос, что деликатесы редко бывают. А москвичи, я смотрю, двести грамм, триста грамм, — разглагольствовала толстуха. — А уж пироги я пеку — во! — Она обратилась к шоферу: — Верно? Ты мои пироги знаешь, Гони, голубчик, жарко невозможно, выкупаться пора. И дите наше устало. Дите, ты устало?

— Устало. У меня невры, — запищала девочка. — Поехали назад. Дома лучше. Здесь жара...

— Жара для нас неплохо. Похудеем, может быть, на пару килограммчиков. А то с диетой у нас не получается.

— Новое средство — сидеть на одном боржоме, — сообщила Аня Казакова.

— В высшей степени оригинально, — сказала третья женщина с шестимесячной завивкой барашком, украшенная, как елка, бусами, серьгами и браслетами. — Умереть можно — целый день на одном боржоме.

Девочка, видя, что на нее не обращают внимания, стала разговаривать с рыжей собакой.

— Иди сюда, моя собачка дорогая, спрячься у меня, а то товарищ Грушаков тебя поймает и убьет. Собачка моя бедная. Ты не знаешь еще, какой он выпустил приказ горисполкома.

Женщины рассмеялись. Терехова объяснила Тасе:

— Товарищ Грушаков — наш председатель горисполкома. На днях было постановление в газете напечатано — о пристреле бездомных, бродячих собак, которые бегают без намордников. А это как раз товарищ Грушакова, — указала она на завитую женщину.

— Откуда моя дочь все слышит и все знает? — удивилась мама. — Боржом, говорите? Уж лучше мы будем сдобу кушать и торты ореховые. Эх, времени нет, а то бы я показала всем, какой я кондитер.

«Куда же она деваает время?» — подумала Тася.

— Вчера четыре операции, одна тяжелейшая. Резекция желудка. А вы говорите; боржом, — продолжала мама.

«Она хирург? Резекция желудка?»

— Сердце и сейчас беспокойно. Я после пикника прямо в больницу поеду. Честное слово, еще ни одного воскресенья летом спокойно не провела, — жаловалась толстуха. На дочь она шикнула: — Замолчи сейчас же!

— Сейчас у всех время тяжелое, — поддержала ее Казакова. — У нас в техникуме самые экзамены. — Она обратилась к Тасе: — Наши студенты все работают и учатся. Взрослые они, и жизнь у них взрослая. Иногда выходит к доске красный — пивом перед уроком заправился — ученичок. Только и знаешь, что поздравляешь их: то один папой стал, то другой. А тяга к знаниям поразительная.

— В моей лаборатории все девчонки учатся, — сказала Грушакова, — поняли, что ученье — свет, а неученье — тьма. Это ж хвакт? Хвакт. — Она улыбнулась тому, что говорила «хвакт» вместо «факт». — Не хотят сидеть со сковородками.

— Вам, наверно, неинтересно слушать наши разговоры, — улыбаясь, сказала Тасе Терехова, — но что поделаешь, дорогая, все мы работаем, и минуты свободной нет. Эльвира вон пирогами хвасталась, а нечет она их в год раз, и то нет.

«Поторопилась я их осудить, — подумала Тася. — Что со мной творится? Какая-то я злая стала, противная. Это оттого, что Алексей уехал. И оттого, что мне не надо было ехать на этот пикник, а надо было сидеть в гостинице и ждать звонка Алексея. А я поехала, потому что хотела увидеть еще раз Терехова, хотя мне это абсолютно не нужно».

— Комары-кровососы! — хныкала девочка.

— Сейчас отправлю тебя домой, немедленно! — прикрикнула мать.

Машина пробиралась сквозь заросли кустов, по топким, узеньким, затененным дорожкам. Недавно пролился

дождь, кружевной папоротник рос вокруг, трава была яркая, высокая, какая бывает вблизи реки.

Выехали на открытое место — лужайку, белую от ромашек, — и показалась река.

Женщины вышли из машины, потянулись, размялись, стали дышать глубоко этим речным воздухом, пахнущим дымком костра, травами и еще чем-то, что вспоминает человек, когда думает о том, что умирать не хочется.

Но комары как будто ждали, чтобы наброситься на приехавших людей и съест их живьем.

Девочка сразу заорала: «Ой, мамочка, папочка, спасите, комары-кровососы!»

Еще две машины прибыли сюда раньше. У костра над ведром стоял толстый мужчина, живот у него был повязан полотенцем, в руках деревянная ложка. Он варил уху и приговаривал:

— Еще перчику, еще лаврового листику, еще сольцы, еще перчику.

— Долго вы ехали, товарищи. Это уже вторая порция, — объявила женщина в комбинезоне с капюшоном и сеткой от комаров на лице. — Одну мы съели. Я сейчас посуду для вас помою.

— Посуду давайте я помою, — сказала Грушакова и сдернула белые перчатки с рук. — Я химик, а для химика мыть посуду — привычная работа. Чистая лабораторная посуда — полдела.

Тася стала ей помогать мыть и вытирать тарелки и ложки. Тамара Борисовна выкладывала на разостланную на траве скатерть несметное количество разной еды.

Женщина в комбинезоне принесла Тасе чью-то мужскую пижаму.

— Наденьте, иначе вас комары сожрут.

Тася в коричневой огромной пижаме, с платком, повязанным по самые глаза, стоя на коленях, перетирала посуду нарочно медленно, чтобы быть занятой. Женщины разговаривали и смеялись о своем.

Ей было грустно. Почему она плохо проводила Алексея? Он ждал от нее ласкового слова, просил «улыбнись». Она косо улыбалась, как будто он нанес ей бог весть какое оскорбление. Уехал в служебную командировку. Не сумела принять это просто, по-товарищески, изобразила страшную трагедию. Это свинство с ее стороны, она сама не понимала, что с ней стряслось. Сегодня же вечером

она скажет Алексею по телефону, что все в порядке, она успокоила свои нервы. Взять ромашку, погадать: любит — не любит. На саму себя погадать, любит она или не любит, вот что узнать у ромашки. В сущности, она этого до сих пор не знает. Зачем она вообще из Москвы приехала? И зачем на этот пикник дурацкий поехала? Ей здесь одиноко, неловко. Никому она не нужна. И ей никто не нужен. И делать ей здесь нечего. Если бы можно было уйти, она бы ушла. Вышла бы сквозь папоротники на дорогу, к вечеру бы, наверно, дошла. Сколько километров? Может быть, попросить машину, сказать, что нездоровится. Но никто не поверит и стыдно привлекать к себе общее внимание. Надо как-то дожидаться вечера. Причесаться, снять пижаму, комары кусают тех, кто их боится. И хорошо бы поесть. Что случилось, подумаешь.

— Ну что, очень вам скучно? — услышала Тася над собой ласковый смеющийся голос Терехова.

Она посмотрела наверх, увидела его глаза и опустила голову.

— Бедная девочка. Вас съели комары, бедняжка моя. Закурите, комары боятся дыма. Вы умеете курить? — Он протянул ей папиросу, поднес, закрывая ладонью спичку. — Закурите, не сердитесь на меня. Я знаю, какая вы сердитая.

Тася что-то пролепетала. Она чувствовала себя беспомощной и растерянной перед ним с первой же встречи на заводе. Потом она не думала о нем, не вспоминала. Вернее, не разрешала себе думать, ничего не ждала и все-таки ждала и что-то предчувствовала.

Ей следовало немедленно уехать в Москву, а не делать вид, что ничего не происходит.

— Да вы курить не умеете, вот беда, — засмеялся Терехов и отошел.

Она посмотрела ему вслед — у него была смешная походка — и вспомнила, как он стоял, задрав голову, перед колонной с голубым огоньком.

Казakov и другие мужчины с полотенцами на головах, похожие на бедуинов, разводили второй костер, чтобы вскипятить ведро с чаем.

Терехов окликнул бакенщика и стал говорить с ним. Бакенщик, небритый, в холщовой робе, ухмылялся:

— Приехали ко мне на курорт.— И требовал за что-то денег.

Терехов нахмурился.

— Что ты, братец, чересчур много о деньгах говоришь. Мы только что приехали.

Но бакенщик перечислял и загибал темные пальцы на руках: он хотел получить деньги за ведра, за воду, за наловленную на заре рыбку, за сучья, приготовленные для костра. Глухая алчность светилась в его глазах. Сами начальники, любители свежей ухи и чая с дымком, развратили его. И Терехов, видно понимая это, махнул рукой, безразлично сморщился и отошел.

Уха, приготовленная серьезным толстяком, была очень вкусной.

Неподалеку была разостлана еще одна скатерть. Там пировали дети различных возрастов, вернувшиеся с купания, и шоферы. Там не было ни вина, ни водки,— только лимонад.

Терехов несколько раз поднимал стакан с вином и молча пил, глядя на Тасю.

Разговор зашел о взрослых детях, которые не хотят учиться. Завела его женщина-хирург, у которой, оказалось, был еще сын. Сын-десятиклассник приносил двойки, предпочитая танцульки приготовлению домашних заданий.

— Ну что делать? — восклицала мать.— Чем я виновата, что он, оболтус, не хочет учиться? В Москве я видела так называемых стилияг, на улице, в ресторане,— в общем, их там легко увидеть. Ходят кудлатые, в узких брюках, с гадкими рожами. У нас вы таких не встретите. Их нет. Впрочем, это понятно, наш город заводской, откуда им браться? Мой оболтус тоже не стилияга, ничего такого, а просто оболтус. Вот полюбуйте, он идет.

Подошел ее прелестный лодырь, добродушно и ясно улыбающийся, походка вразвалочку, одет буквально в лохмотья. Он нагнулся к матери и шепотом что-то спросил, как спрашивают трехлетние дети, смущенно пряча глаза и улыбаясь пухлыми губами, над которыми уже был заметен темный пушок.

Что-то он попросил, мать разрешила, и он побежал, резвый теленок, испытывающий простые радости: вот он бежит, вот мама разрешила выпить портвейну.

— Не горюй, Эльвира,— грубоватым голосом сказал Терехов,— я заметил, что каждый в конце концов находит свою судьбу. Никто не пропадает. Пойдет твой парень послесарит. Это нам, родителям, так страшно все кажется, а ему небось не страшно. Ему жизнь улыбается.

— Тебе хорошо говорить, твой сын — отличник и зубрила, с утра до ночи сидит зубрит, я знаю,— ответила Эльвира,— а мой — оболтус и балбес. Интересно, между прочим, где моя младшая дочь, что-то она притихла, это мне не нравится.

На другом конце скатерти тоже шел разговор.

— Я начал создавать район с карандаша,— говорил краснолицый грузный человек с полотенцем на животе, тот, который варил уху. Казаков сказал Тасе, что это секретарь райкома.— Провели мне телефон, поставили его на окне и блокнот под нос положили. А через три дня привезли нам десять кухонных столиков — это было событие.

Увидев, что Тася слушает, он обратился к ней:

— А здание райкома нам нефтяники построили. Они богатые, черти. Вся наша работа — это все нефть.

— Что было, то было. Теперь совнархоз — он тебе и министр, он тебе и Москва,— заметил кто-то.

— Мы засыплемся со строительством. Не хватает кирпича и шлакоблоков. Стеновой материал нам никто не даст и не привезет, а план с нас не снимут.

— А что с дорогами будет? — спросила Грушакова.— Я у мужа машину редко беру, так пальто за год истрепала, пуговицы не успеваешь пришивать. Когда строили завод, не думали о людях. Кто-то недоделал, а кто-то теперь своей шкурой расплачивается за это.

— Илья, Илья, уйми жену, а то она на меня кидается! — крикнул секретарь человеку, который возился внизу, на реке, с удочками.— Дороги наши, Люся, машины съели. Камень виден, а асфальт уже съеденный. Наши машины какие? Бульдозеры и тракторы. Теперь в совнархозе эту проблему решим. Будет наш совнархоз по этим же дорогам ездить, никуда не денется. А куда он денется.

— Кладут тонкий асфальт на плохую подушку,— объяснил Терехов Тасе,— к тому же город стоит близко к

грунтовым водам. Год был особый: сильные дожди прошлого года, земля воду не принимала. А дать подушку, потом бетон двадцать пять сантиметров, сверху асфальт — тогда все дороги были бы у нас хорошие.

Он говорил «бетон», «асфальт», как говорят — «моя дорогая», «моя любимая».

— У нас еще с жильем большой голод, — сказал секретарь райкома. — Людям надо дать в первую очередь жилье, а дороги потом. Мы считали, что если у них будет жилье, то они к нему как-нибудь доберутся.

— А человек ведь как устроен? Ему, по счастью, все мало.

— Ты мне лучше скажи, почему опять со снабжением хуже стало? — спросила Эльвира, обращаясь к молчаливому громоздкому человеку с лысой головой. — Ну!

— Что ты на меня орешь, чем я тебе виноватый? Вчера в трех гастрономах были яйца. Сегодня в одном гастрономе будет хороший лещ.

— А мясо?

— Мы будем откармливать скот, в сентябре дадим. А ты пока кушай молочко, и творог, и сметану, тебе очень полезно.

— В сентябре? — возмутилась женщина. — Товарищи, почему вы ему не вправите мозги?

— Ты, Эльвира, не возмущайся, некоторые работники общественного питания еще просто ленятся. Мы им сказали уже горькую правду. Не одумаются, пусть пеняют на себя, — сказал секретарь райкома, — их предупредили. Сейчас меня интересует, как уха, почему мало ели. Давайте всем рыбку подложу. Невкусно? Пересолил? — спрашивал он.

— Ну, товарищи, доставайте еще вина, — сказала Грушакова.

На обратном пути Тася села в машину с Казаковым. В последний момент Терехов сел в ту же машину.

— Понравились вам мои друзья? — спросил Терехов. — Вы их еще не видели как следует. Они, когда разойдутся, замечательные парни.

Он хвастался перед Тасей. На заводе он хвастался заводом, здесь хвастался друзьями.

Он обращался к Тасе, но улыбался при этом Казакову.

— А река разве плохая? — Он хвастался рекой. — Что вы смеетесь? Правда, правда. Где вы лучше реку видели? Как бы я хотел покататься с вами вдвоем по этой реке, — шепнул он Тасе.

Машина протучала по шаткому мосточку, который грозил вот-вот обвалиться. Тася обернулась назад — посмотреть, цел ли мостик. Проехали деревню: избышки под мохнатыми соломенными крышами, на плетеных, как женские косы, заборах нахлобученными шапками висели вымытые кринки. Поодаль виднелось кладбище на пригорке, голое, без единого деревца, заброшенное.

— Ушла деревня к нам на завод почти вся, — сказал Терехов. — Молодые переселились в город, остались только старые старухи свой век доживать.

«Он здесь связан со всем, что происходит вокруг, — подумала Тася. — Вся жизнь города, и окружающих деревень, и ближних платформ, где грузят сельскохозяйственные машины, и дальних заводов проходит через него и касается его. Это его жизнь, как и жизнь тех, кто хлебал сегодня уху из ведра».

За деревней началась плохая дорога. Такая плохая, что шофер затормозил и тоскливо оглянулся. Терехов приподнялся на сиденье, крикнул:

— Быстро! Здесь быстро проскочить!

Шофер сказал: «Елки зеленые!» — остановил машину, включил скорость, дал газ и с разгона перескочил трудное место.

И дальше, при виде ям, колдобин, луж величиной с хороший пруд, Терехов не давал шоферу остановиться, подгонял: «Быстро давай! Быстро!»

Потом крикнул: «Пусти, я сам!» — и сел за руль и погнал машину.

Когда выбрались на шоссе, Терехов повел машину спокойнее, но все-таки очень быстро. Сидел он пригнувшись к рулю, почти лег на руль, обернулся назад только один раз и сказал:

— Люблю быстро ездить. Ну, держитесь!

— Андрей Николаевич, — простонал шофер, — тормоза слабые.

Прощаясь с Тасей, Терехов тихо сказал ей:

— Не презирайте меня и не сердитесь. Я потерял голову. Это со всяким может случиться. Даже с вами.

В гостинице Клавдия Ивановна встретила Тасю с обычным радушием и затараторила, не скрывая почти-тельного интереса к пикнику:

— Такая компания прекрасная. Уху, значит, варили. И бела была и красна была? Ой-ой, очень прекрасно. Хотите моего квасу? Или душик сперва?

Тася приняла душ и решила идти на кухню пить квас, который готовила Клавдия Ивановна. Свою симпатию к Алексею Клавдия Ивановна перенесла на Тасю. Ее сердце было полно доброты и участия к людям.

Тася продолжала уверять себя, что ничего не происходит.

Но она вспомнила, как он вел машину, как пил вино, как разговаривал с бакенщиком, как говорил о деревне, как стоял на установке, когда загорелась обшивка колонны. И наплёвять. Ее это все не касалось.

— Уха вкусная была, я никогда такой не ела,— рассказывала она Клавдии Ивановне,— река хорошая, и вообще места прекрасные. Настоящая русская природа.

— А тут Алексей Кондратьевич звонил,— сообщила Клавдия Ивановна.

— Звонил? Что говорил? Сказал, когда приезжает?

— Вечером еще позвонит. Ничего не сказал.

«Неужели он еще не скоро приедет?» — подумала Тася. Что же это такое? Что ей делать? Что будет?

После горячего душа руки и ноги, искусанные комарами («бедная девочка, закурите, комары боятся дыма...»), стали багровыми. Тася натерлась одеколоном, включила приемник, услышала обрывок фразы «...восходят к третьему веку нашей эры...» и выключила приемник.

«Господи, что же это? Что же будет? — спрашивала она себя.— Что со мной? Неужели я просто дрянь или я не люблю Алексея? Что делать? Надо уехать. Уеду, и все уладится».

На мгновение показалось, что достаточно уехать, как все уладится. Скорее бы позвонил опять Алексей, она поговорит с ним, услышит его, расскажет ему, что была на рыбалке, познакомилась с людьми, посмотрела окрест-

ности. Окрестности изумительные, настоящая русская природа. А люди? Очень интересные, все нравится. Познакомилась с директором завода. Вот так, спокойно поговорит, узнает, когда он возвращается.

И она никуда не уедет, но больше не увидит Терехова.

Она пошла еще раз спросить; когда обещал позвонить Алексей.

У Клавдии Ивановны на кухне сидела сестра Мария Ивановна. Это была маленькая, незаметная, тихая женщина с незаметным лицом. Она работала медсестрой в поликлинике нефтяников, бегала по вызовам делать уколы и воспитывала двух детей. Воспитание заключалось в том, что она старалась этих детей накормить и при всяком удобном случае отправить к матери в деревню.

Отец ее двух ребят, мальчика и девочки, был когда-то завхозом в одном учреждении. Потом он работал механиком пишущих машинок. Потом сбежал. Мария Ивановна разыскивала его несколько лет.

— Я знаю,— застенчиво говорила она Тасе,— я знаю, он спился на нет. Четырех копеек за четыре года и то нет от него. А двое детей законных. И не найти мне его никогда,— печально заключила она,— хоть всю жизнь буду искать. И не видела я от него ни слова, ни ласки, ни материальной помощи.

Теперь Мария Ивановна жила со слесарем. Парень был моложе ее, непутевый, пьющий, а она его любила и жалела.

— Ну что,— сказала она,— он несамостоятельный. Куда ж я его прогоню, квартиранта моего?

Тася знала от Клавдии Ивановны, что Мария Ивановна бегала с утра до вечера по вызовам, старалась заработать побольше, накормить посытнее двух своих ребятшек и квартиранта.

Клавдия Ивановна стояла тут же, тоже маленькая, тоже худенькая, в синем коротком халате с белым кружевным воротником и закатанными рукавами, сказала:

— Могла бы жить как все люди. Детей бы пожалела. У мальчишки ни одной троечки нет, а ты ему не мать. Вон кудри себе навилла. А все квартирант твой проклятый, чужой. И детям чужой, и тебе чужой. А чужие пройдут, как ветер пройдет.

Мария Ивановна вытирала мгновенно выступающие слезы, сердце ее ожесточалось на сестру за такие разговоры.

— Твое горе для меня родное, кровное,— продолжала Клавдия Ивановна.— Ты наше детство вспомни, Маша. И в лаптях ходили, и картошку черную, гнилую ели. Сушили и ели. Сушили и ели,— повторила она задумчиво.— Я бы этого квартиранта своими руками...

— Клавдия Ивановна, зачем вы так? — сказала Тася.

Клавдия Ивановна дернула свой кружевной воротничок, всхлипнула, отошла к газовой плите и стала разогревать для сестры макароны. Она знала, что сестра голодная.

Сестры были непохожи. Мария Ивановна, при всей ее незаметности, была очень хорошенькая. У нее были пепельные волосы, уложенные пышным рассыпающимся узлом, большие черные глаза и красивые бледные губы. В ушах она носила красные стеклянные серьги. И на пальцах с коротко остриженными ногтями, желтыми от йода, два серебряных кольца — одно гладкое, другое с красным дешевым камушком.

Комната Клавдии Ивановны находилась рядом с кухней, маленькая, светлая, квадратная, как будто накрахмаленная.

Сейчас в комнате сидела подруга Клавдии Ивановны, Люся, затейница из заводского пионерского лагеря. Собственно, это Клавдия Ивановна считала Люсю своей подругой, а как считала та — было неизвестно.

Затейница — забубенная голова — ходила в резиновых черных ботах на каблучках, носила широкий черный пояс, туго затянутый большой квадратной пряжкой, и зеленое шерстяное платье с высокими плечами.

Клавдия Ивановна умела хорошо стирать и гладить. Она старалась постирать и погладить всем, кому могла. Алексею, другим командированным, живущим в гостинице, сестре, ребятишкам сестры, своей подруге Люсе.

И сейчас, поставив кастрюльку на газ, Клавдия Ивановна посмотрела на сестру, отвернулась и пошла доглаживать зеленое платье Люси.

— Что мне с нею делать? — сказала Клавдия Ивановна, пробуя на палец электрический утюг.— Скажи, Люся, такие ребятишки у нее превосходные! У мальчиш-

ки ни одной троечки даже нет. А она? Так себя она не уважает. Что делать с ней?

Но Люся умела ловко прихлопывать тонкой ногой в резиновом ботике на высоком каблуке, и давать команду, и запевать хрипловатым голосом, и бегать, и плавать, и метать диск. Давать советы? Кому они нужны?

— Она его мужем называет, а у меня одно слово: квартирант. Бесстыжий он все же. Цепляется за нищую юбку. Я, Люся, чужих никогда не сужу, а за своих болею. Это ж позор, перед детьми позор,— печально повторяла Клавдия Ивановна, разглаживая зеленое платье Люси.

Люся, в черной комбинации, не снимая бот, сидела на белоснежной кровати Клавдии Ивановны. Она была единственным человеком, которому это позволялось.

— Вот это платье у тебя какое носистое, прочное,— заметила Клавдия Ивановна и продолжала главное: — И не бросит он ее никак, ведь он моложе. Нашел бы себе другую, молодую. Она бы осталась детей растить.

— Она другого найдет, раз она такая,— сказала Люся, нетерпеливо следя за уютгом.

— Найдет, эта найдет. В кого она такая? И не трогай меня, говорит, и не наставляй. Я без мужика жить не буду и не хочу. Что с ней говорить, только хуже будет! Квартирант выпивать принесет и ее соблазняет. Если бы не дети, пускай бы делала что хочет. А детей жалко, они все понимают. Уже, наверно, осудили ее.

— А забери себе детей, в крайнем случае, по суду. И воспитывай,— посоветовала Люся, надевая через голову платье.— Я побежала.

— Она не отдаст. Мать все же. Беги, беги, завтра приходи,— попрощалась Клавдия Ивановна, одернув платье на Люсе,— расскажешь, какое содержание у картины.

— Обязательно! — уже в коридоре крикнула затейница.

Клавдия Ивановна сняла кастрюлю с огня, положила туда кусок масла, ей показалось мало, она положила еще кусок и поставила перед сестрой глубокую тарелку дымящихся макарон.

— Ешь,— сказала она,— ешь все. А вы, Таисия Ивановна, не хотите?

Тася сидела на подоконнике, от еды отказалась. Только что Мария Ивановна рассказала ей, как она работает в поликлинике, какие там врачи. Рассказывала вяло, каждое слово приходилось из нее вытаскивать, — видно, мысли женщины были далеко от всего этого, работа была нелюбимой, не радовала. И Тася подумала, что такая медицинская сестра может и назначение перепутать, забыть.

Клавдия Ивановна с ее грустными совиными глазами как будто угадала мысли Таси и спросила:

— Ты, Мария, сегодня все вызовы уже выполнила?

— Все.

Клавдия Ивановна посмотрела на Тасю, прося поддержки.

— Как ваши ребятишки, здоровы? — спросила Тася.

— Здоровы, я их в деревню к маме отвезла. Ну, я пойду! — Мария Ивановна, оставив тарелку с недоеденными макаронами, встала. Вытащила из кармана своего белого халата папиросу, прикурила от газовой горелки, мелькнуло колечко с красным камушком. — Прощайте, женщины, — сказала она, поправляя волосы, — мне домой пора.

— Может быть, тебе деньги нужны? — не глядя в лицо сестры, спросила Клавдия Ивановна и вынула десятирублевую бумажку из старой коричневой сумочки. Десятирублевка лежала мелко-мелко сложенной и развернулась в руках гармошкой. — Бери, бери, мне она не нужна.

Мария Ивановна взяла деньги и ушла, не сказав ни слова.

Клавдия Ивановна села на табуретку и опустила голову. Прямые светлые волосы рассыпались по плечам.

Тася попробовала утешать:

— Клавдия Ивановна, она человек не такой уж плохой и детям своим мать. А что поделаешь, раз она его любит. Любовь...

— Любовь! — с презрением крикнула Клавдия Ивановна. — Он так ее не уважает, так не почитает! Любовь разве такая бывает?

— А дети все равно вырастут хорошие. Вы им помогать будете.

— Она своим детям не мать, эти дети не к рукам. Мне

уж все равно, что она, б..., думает, она отрезанный ломь, но дети невинные.

— Неправда, вы ее тоже жалеете.

— Сестренка, сестренка,— как будто позвала Клавдия Ивановна, и глаза ее наполнились слезами.

Раздались частые телефонные звонки. Звонил Алексей. Он задерживался в Куйбышеве.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Тася была одна в гостинице. Командированные соседи с утра разъезжались по делам.

Надо было ехать на завод, но она медлила. Ей хотелось побыть одной.

Она вышла на балкон. Внизу увидела знакомую серебристо-серую машину с голубыми занавесками, возле нее Терехова. Он смотрел на окна гостиницы, встретился глазами с Тасей, улыбнулся и скрылся в парадном. Через минуту стоял перед ней в прихожей, запыхавшийся, потому что бежал по лестнице.

— Я пришел проверить, все ли в порядке,— сказал он развязно,— телефон, электричество, радио, газ, водопровод.— Потом сказал другим голосом, смущенно:— Здравствуйте, Тася!

-- Здравствуйте!..

— Вы не приглашаете войти?

Он стоял перед ней с виноватыми глазами и теребил кепку: смешное движение, неожиданное для него... Он опять был в новом костюме. Тася подумала: «Франт!»

Он причесывался у зеркала, и выражение лица у него было все еще нерешительное.

Он приехал, пришел к ней, и она не удивилась и не рассердилась. Она обрадовалась.

Вот так оно и случается, неведомо как. Еще можно остановиться, еще не поздно, еще не ступили на шаткие мостки, еще можно сделать так, что эта встреча останется легким воспоминанием. Еще ничего нет, не было, ничего не произошло. Дребезжащий железный лифт, букет роз, высокая трава на берегу реки. Если бы существовал невидимый голос, который предостерегал бы человека: «Остановись!» Впрочем, такой голос существует, и Тася слышала его отчетливо.

Они сели в гостиной за круглым столом, покрытым парчовой скатертью. О чем им было говорить? Обо всем или ни о чем. И они стали говорить обо всем, торопясь рассказать как можно больше, путая серьезное с мелочами.

— Знаете, я родился в Грозном, в семье нефтяника. Всю жизнь с детства нефть, нефть. Поэтому я такой темный, кожа темная, и нефть у меня в крови. Учился — это были счастливые голодные годы. Красивый был, свободный, молодой. Знаете, кем я был? Я был и грузчиком, и слесарем, и вальцовщиком. Студентом я играл на тромбоне. Грузил арбузы, пять рублей вагон. Был даже начальником конторы по сбору металлолома. Когда попадались моторы, которые можно было починить, мы их чинили и продавали — и имели деньги в обороте. Я был смысленный парень. В молодости человек выписывает различные курбеты. Уж не знаю, какие курбеты мне предстояли, но война все перерешила. Был на фронте, а потом в Баку, после контузии. Давали фронту бензин, придумали тогда забуривать нефть обратно в скважины, все было залито отбензиненной нефтью. А мы давали бензин.

Тася улыбнулась — все те же слова: «бензин», «нефть».

— Что вы улыбаются, Тасенька, я что-нибудь не так говорю? — Он взял ее руку, сжал легонько пальцы. — Ну, а вы как жили?

— А я в войну жила в Москве, училась в школе, ходила в госпиталь, писала письма раненым, танцевала перед ними.

— Да, косички, пионерский галстук, пряменькие ножки. А потом?

— А потом училась еще. И после войны еще училась. Неинтересно.

— А я после войны стал директором завода, сперва в Гурьеве — ох и несчастное место, сожженное, настоящий ад! — а потом опять был директором. Одного строящегося завода... большого.

— Вы очень честолобивый человек.

— Нет. Просто уж работать так работать. Верно я говорю?

— Верно.

- Не люблю на печке лежать.
- Я тоже не люблю.
- Что же нам делать, Тасенька?
- Вы про что?
- Мне надо ехать. Время горячее, совнархоз жмет.

Работы уйма.

Он радовался, что работы много.

— Мы сделаем настоящую республику химии.

— Здесь все говорят, что вы очень важный. Это правда?

Терехов весело засмеялся.

— А вам говорили? Правда.

— Зачем?

— Так надо.

— Зачем?

— Для пользы дела.

— Не согласна. Это очень неправильно.

— Я лучше знаю, правильно или нет.

Он помолчал и сказал:

— Через два часа я поеду назад. Будете дома?

Еще можно было сказать «нет».

— Да,— ответила Тася.

Прощаясь с Тасей в прихожей, Терехов сказал:

— Я виноват перед вами только в том, что я женат.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Зазвонил телефон. Она взяла трубку.

— Тася, вы? — услышала она голос, от которого у нее перехватило дыхание.— Мне повезло, что я вас застал. Давайте увидимся поскорее. Вы можете убежать?

— Могу,— ответила она и через пять минут стояла на углу улицы перед Андреем Николаевичем, не думая о том, что в этом маленьком городе, где каждый знает директора завода, их могут увидеть. Если уж он не думал, то и она не могла думать об этом.

— Здравствуй,— сказал Андрей Николаевич.

Она посмотрела на него вопросительно.

— Мне исполнилось сорок лет. Я должен был обязательно увидеться с вами. Весь день об этом думал.

— Да, да,— прошептала она.

Были какие-то привычки, манеры, походка, голос, характер — и не стало ничего. Тася с удивлением думала: «Он даже не знает меня. То, что он знает, — это не я».

— Мне вас надо было увидеть...

Он взял Тасю крепко за руку.

— Пойдем на другую улицу, там не так светло.

Он прижал ее ладонь к губам.

— Милая, милая, милая, — шептал он.

Терехов заметил, что она поежилась как от холода.

— Даже пиджака не могу снять, дать тебе.

— Не надо мне пиджака.

— Куда же нам деваться? — пробормотал он и взглянул на Тасю.

Она посмотрела в его темные, веселые, встревоженные глаза, сказала:

— Куда? Никуда.

— Бедные мы, бездомные, — рассмеялся Андрей Николаевич, привлек к себе Тасю и поцеловал в губы.

Они молча прошли несколько шагов.

— Молчишь? — шепотом сказал Андрей Николаевич. — Молчи, молчи, мне все равно. Ты единственная, всю жизнь я думал о тебе. Слышишь? Как ты смешно стояла в операторной. Злилась на кого-то. На кого ты злилась? Почему ты не ушла? Я тебе хоть немножко понравился?

Тася кивнула.

— Не можешь мне сказать? Ну скажи: «Ты мне понравился».

— Ты мне не понравился, — сказала Тася.

— Но ты не хотела идти со мной на крекинг?

— Было неудобно отказаться.

— Сто лет прошло с тех пор. Что же нам делать?

— Не знаю.

— А я, как только вошел, увидел твое лицо, твои глаза, я сразу понял, что я погиб. И обрадовался. Теперь я как-нибудь так устрою, чтобы разделаться со своими делами, и мы с тобой куда-нибудь уедем. Подальше. Поедешь со мной?

— Поеду.

— А можешь сейчас взять и поехать?

— Могу.

— Ты правду говоришь, я знаю. Но так все трудно,

Тася. Я стараюсь не думать. Я сказал тебе, что виноват перед тобою только в том, что женат.

— Да,— сказала Тася,— сказал.

— Если бы не это... Что же нам делать?

— Не знаю.-

Теперь они встречались каждый день. Иногда по два, по три раза в день. Терехов приезжал в гостиницу; придумывая всевозможные предлоги. Вызывал Тасю поздно вечером на улицу на несколько минут. Днем сажал ее в машину и притворялся при догадливом и хитром шофере, что показывает приезжей москвичке город и окрестности. При шофере им приходилось молчать или обмениваться незначашими словами, которые имели для них всегда один и тот же тайный смысл. Слова «посмотрите, какие поднялись сады», или «это строительство нашего завода», или «в Москве тоже жара» означали только одно: «Я люблю тебя».

Тася никого не замечала, кроме Андрея Николаевича, ничего не слышала, ничего не помнила, кроме того, что говорил он.

Он говорил, отсылая шофера в киоск за папиросами:

— Тася, я теперь понял, я устаю без тебя. Я понял: именно так оно и есть, я страшно устаю без тебя. Как я жил без тебя, не понимаю. Но самый лучший виноград — синенький, без косточек! — Это возвращался шофер. — Забыл, как он называется.

— Без косточек, вы говорите?

— Без каких бы то ни было косточек.

— Сладкий?

— Да. Ну как же он называется? Забыл, все на свете забыл...

— И я забыла...

— Ты скоро уезжаешь?

— Через неделю.

— Тася, а ты не можешь задержаться?

— Отец болен, я должна уехать.

— Да, конечно. Я постараюсь поехать с тобой в Москву. Возьмем билеты в международный вагон, хоть оста-

немся вдвоем, я больше не могу так... Или, знаешь что, поедем теплоходом по Волге. Несколько дней. Неужели возможно такое счастье?

— Идет шофер!

— Вот проклятие! Я хотел спросить, Таисия Ивановна, когда возвращается товарищ Изотов?

— Не знаю. И уже не буду знать. Я написала ему обо всем.

— Ах, вот как!

— Да. Так.

Андрей Николаевич замолчал. И так, одна судьба разрушена. Точнее, две. Что дальше? В его жизни бывали легкие, необременительные связи, романы, не причинявшие никому беспокойства, курортные, командировочные знакомства — осторожная, тайная жизнь. Он всегда хорошо знал, что можно и чего нельзя.

Но то, что он испытывал сейчас с Тасей, было другое, может быть, отдаленно напоминало его давнюю любовь, в молодости, к девушке, которая стала его женой, к Тамаре Борисовне. По воспоминаниям то даже было не таким всеобъемлющим, не таким необходимым.

«Может быть, это последнее, поэтому так сильно», — думал он.

— Тася, Тасенька, — шепнул он, глядя в спину шоферу.

— Не говорите ничего, я все понимаю, молчите.

Он устроит так, чтобы поехать куда-нибудь вместе, побыть с нею без посторонних глаз. Только надо соблюдать осторожность. Все всегда у него получалось просто, легко и весело. На этот раз просто не будет. «И все-таки, — сказал он себе, — это подарок».

— Ты просил там квартиру для своего брата, — обратился он к шоферу, — пускай ко мне зайдет в приемный день с заявлением.

«Так, — сказал он себе, — страшуемся», — и посмотрел на Тасю, но она, казалось, не слышала его слов. Глаза ее были опущены, она незаметно дотронулась рукой до его руки, и у него забилось сердце.

— Останови машину, — приказал он, — Таисия Ивановна, вы хотели посмотреть книжный базар... Тася, я больше не могу. Я ничего делать не могу, клянусь честью. У меня больше нет другого дела, только ты. Смотреть,

как ты идешь, как ты улыбаешься. Ты иди домой, я тебе буду звонить, ты сама бери трубку. Что-нибудь ты скажешь, я услышу твой голосок, и то будет счастье.

Даже когда Андрей Николаевич говорил с нею, она не переставала повторять про себя его имя. Когда оставалась одна, все время вспоминала его голос и его слова: «...Смотреть, как ты идешь...»

Она всегда была готова немедленно выбежать на улицу, если он позвонит и позовет. Она сидела в гостиной и следила, чтобы никто не взял телефонную трубку, если позвонит телефон.

Ничего не было больше в жизни, кроме этих обрывков встреч и необходимости притворяться перед шофером, перед всеми. Она не спрашивала себя, что будет дальше.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

«Я люблю его; и все». А пока все сводилось к несложным, казалось бы, близким действиям, но они составляли жизнь. Телефонный звонок — успеть взять трубку, выбежать на улицу, надеть платье, которое он похвалил, вспомнить, что он сказал вчера вечером, что говорил вчера днем. «Убежать с тобой подальше куда-нибудь, от всех, от всех. Просыпаться с тобой, возвращаться к тебе, ничего больше на свете не надо».

Станет ли эта любовь счастьем? Или очень скоро придется раскаиваться в том, что так опрометью кинулась в эту любовь? Но это все будет потом. Стоит ли думать об этом сейчас?

Грустными глазами Клавдия Ивановна следила за Тасей, несколько раз вспоминала Тамару Борисовну Терехову: «А жена директора, и прекрасный же это человек!»

Однажды Тася по необходимости зашла в комнату Клавдии Ивановны. Надо было заплатить за номер. Клавдия Ивановна была после-ванны, ее красное, распаренное лицо лоснилось, волосы закручены и повязаны вафельным полотенцем.

— Прямо сплю я беспощадно, — сказала она. — А сейчас мне сон такой наснился, что мы с Машей молоденькие, сидим в избе, и мама с нами, и ткём на маленьких

станочках. И у нас с Машей плохо получается, а у мамы такая красота, какие-то человечки в шапках, и птицы, и цветы.

Раздался резкий звонок. Клавдия Ивановна бросилась открывать дверь. В кухню вбежала Мария Ивановна и повалилась на табуретку. Красные пятна горели у нее на лице, бледные губы были еще блее обычного, она задыхалась и не могла говорить.

— Что? — крикнула Клавдия Ивановна. — Говори, что?

— Дети, — простонала Мария Ивановна, — в деревне пожар...

— Что ты знаешь?

— Кажется, сгорел наш дом, — выговорила Мария Ивановна и стала раскачиваться на стуле, закрыв глаза.

— До деревни сорок километров, — сказала Клавдия Ивановна. — Где брать машину? Автобус уже не ходит.

— Я с вами поеду, я сейчас машину достану! — крикнула Тася и вызвала по телефону квартиру директора завода. К счастью, Терехов оказался дома и сам подошел к телефону.

— Говорит Тансия Ивановна, — назвалась Тася.

— Слушаю, — ответил родной низкий голос, и Тася почувствовала, что Андрей Николаевич взволнован. — Слушаю вас.

Она ничего не стала объяснять, попросила дать ей немедленно машину. Андрей Николаевич ответил, что машина сейчас будет.

— Только скажи, — шепотом проговорил он в трубку, — с тобой ничего не случилось?

— Со мной ничего.

Клавдия Ивановна уже стояла в прихожей.

— Спасибо вам, — сказала она Тасе. — Ну, поехали, — обернулась она к сестре.

— Можно еще попробовать в деревню позвонить, — тихо сказала Мария Ивановна и опять застонала. — О-о-о-ох, горе, горе какое!

— Поедем быстро, — приказала Клавдия Ивановна. — Надо ехать, какие звонки еще!

— Я не поеду, я боюсь, я не поеду, я боюсь, — с лицом помешанной повторяла Мария Ивановна.

— Ну сиди здесь, бессовестная! — крикнула Клавдия Ивановна. — Какая ты мать после этого?

— Ой, ой, ой! — причитала Мария Ивановна и не двигалась с места.

— Но если дети живы и ты после этого не выгонишь своего квартиранта, ты после этого, ты...

— Никогда... никогда... я выгоню... деточки, — рыдала Мария Ивановна.

— Ну поедем, перестань, Маша, разве можно так, — попробовала успокоить сестру Клавдия Ивановна.

— Вы же мать, как вы можете?.. — стараясь сдерживаться, сказала Тася. Она стояла в плаще, волосы повязала розовой выгоревшей косынкой.

— Не могу, боюсь, — всхлипывала Мария Ивановна.

Беспомощная, не владеющая собой, жалкая, Мария Ивановна ничего не могла. Только плакать, вскрикивать и раскачиваться на стуле. Тася и Клавдия Ивановна ушли, а она осталась сидеть на стуле, бормоча:

— Выгоню его, выгоню... дети...

Машина еще не подошла.

— Ой, вы куда это собрались? — Люся в сопровождении высокого молодого человека шла мимо и увидела Клавдию Ивановну с Тасей. Люся сегодня навила кудри и выпустила их кольцами на лоб и на щеки, даже узнать ее было трудно.

Клавдия Ивановна ответила:

— В деревне пожар, а там дети, понимаешь.

— Ой, — тоненько сказала Люся и повернулась к своему спутнику. — Иди без меня в кино, а я с ними поеду.

Подъехала машина — крытый зеленый «газик». Женщины сели в машину.

— Я буду ждать, спать не лягу, я к тебе в парадное приду, — сказал Люсин знакомый и отдал Люсе свой пиджак с большими ватными плечами.

— А мы утром вернемся, не раньше, — это далеко. Иди-ка лучше в кино, — сказала ему Люся. — За пиджак спасибо, конечно. Только одян иди, на мой билет никого не води. Какому-нибудь мальчику отдай. Слышишь?..

Темная деревня спала, крайний дом, где жила мать Клавдии Ивановны, стоял на месте, и приехавшие с трудом достучались, перебудили ребят, разбудили старуху.

Тревога оказалась ложной, у кого-то сгорел сарай. Проснувшиеся ребята сказали, что сарай горел быстро, хорошо — «р-раз — и нету», но бабушка прицыкнула на них.

— Сгорел сараюшек, а все одно страшно,— сказала старуха.— А ты чего переполошилась, доченька, ночью приехала, сполох такой?

При свете яркой лампочки Клавдия Ивановна разглядела, что племянники загорели, посвежели и глаза у них веселые, детские. Не то что в городе, там ей всегда казалось, что дети голодные и смотрят всепонимающе. Про мать они спросили только один раз, почему она не приехала.

— Мама дежурит,— ответила Клавдия Ивановна, зная, что дети гордятся, когда их мать дежурит.

Маленький старинный ткацкий станочек, который она недавно видела во сне, стоял в углу. На нем уже много лет никто не ткал.

На обратном пути Люся крепко спала на плече у Таши.

— С добрым утром,— сказала она, проснувшись, около своего дома.

Войдя к себе, Клавдия Ивановна не удержалась и обняла сестру. Обе заплакали.

Потом Мария Ивановна уехала в поликлинику.

— Ты помнишь, Маша, что обещала? Теперь все по-другому будет? По-иному? — напомнила Клавдия Ивановна на прощание.

Мария Ивановна несколько раз кивнула и судорожно обняла сестру.

Тася посмотрела из окна и увидела, как, сгорбившись, мелкими шажками, семенила по улице Мария Ивановна и плечи ее вздрагивали.

Вечером Тася с Клавдией Ивановной пошли к ее сестре. Тася сама не понимала, зачем она идет:

В кухне за столом сидели квартирант без рубашки, в одной голубой майке, и раскрасневшаяся Мария Ивановна в шелковом платье. Перед ними стояли граненые стаканы, котлеты на сковороде и бутылка водки.

— Такая радость, выпей за такую радость, выпейте и вы, девушка,— обратилась к вошедшим возбужденная Мария Ивановна.— А я думала, сгорел мамин дом, а это

оказался простой сарай. Ха-ха-ха! А дети мои живы-здоровы и даже поправились, поздоровели. По такому случаю выпить надо. Вот он принес. Ты, Клаша, его не любишь, квартиранта моего. А он принес за детей моих выпить.. И ты и вы, барышня... Да чего ж вы не присаживаетесь?

Клавдия Ивановна повернулась и, не сказав ни слова, вышла. На улице она говорила с Тасей о посторонних вещах, но глаза ее, круглые, всегда печальные глаза, были негодующими. Тася думала: «Вот настоящий человек, а та уже не человек. Душа распалась, и человек кончен».

— Если вы про сестру мою думаете, то не думайтенисколько,— сказала Клавдия Ивановна.— Она не стоит того, чтоб об ней думали, и я об ней больше уже думать кончаю. Потеряла она себя окончательно. Она мне не сестра. Мне Люся больше сестра.

— А детишки хорошие.— Тася вспомнила соломенные головки ребятишек в избе.

— Я их постараюсь по суду себе забрать, а если не отдадут, я им все равно вырастать помогу. Встанут на ноги и без нее.

...Встретившись на улице с Тереховым, Тася рассказала ему, что произошло. Но на него это не произвело впечатления. Он больше всего удивился, что она поехала ночью в деревню.

— Значит, поехала ребятишек спасать? А между прочим, если бы толком объяснила, в чем дело, я бы туда дозвонился и вообще ехать не пришлось бы.

— Не в этом дело,— попыталась объяснить Тася.— Какое это имеет значение, поехала я или нет? Я о другом говорю, об этой женщине, ты подумай.

Она старалась растолковать Терехову, как поразил ее душевный распад человека. Что-то тревожное для нее самой было в этой истории. Терехова все это не трогало.

— Я тебе, моя дорогая девочка, таких историй могу сколько хочешь рассказать и еще похлестче. Что такого особенного? Пьяная баба с кем-то там путается. Ребятишек, конечно, жалко. Но ничего, вырастут не хуже других. Ты слишком впечатлительна.

Тася покачала головой: он не понимал ее.

— Знаешь, ты бы ко мне на прием пришла, таких че-

ловческих историй бы наслушалась, что куда твоей медсестре.

Терехов весело расхохотался, он был в прекрасном настроении.

— Сейчас я тебе скажу приятную вещь — мы с тобой послезавтра едем вместе в Москву.

Тася молчала.

— Ты не рада?

Каждый день приближал разлуку. Что будет потом?

— Еще одна приятная вещь заключается в том, что мы поедем на теплоходе.

Это сообщение она тоже восприняла безучастно.

— Что с тобой? — нежно спросил Терехов. — Неужели из-за медсестры этой ты расстроилась? Скажу тебе как старый опытный дядя: все бывает в жизни, хуже, лучше... Расстраиваться, во всяком случае, не следует. Другое дело, что ты села и поехала. Молодец, что захотела помочь. Мы с тобой в этом, оказывается, похожи. Р-раз — и влезть в драку! Правильно? Но после этого уже голову вешать нехорошо. Даже если тебе нос в кровь расквасили. Ну, улыбнись, и я побежал.

Терехов уехал, а Тася медленно пошла в гостиницу по темной улице. Послезавтра они поедут вдвоем. Это могло считаться радостью, но она не радовалась.

Она понимала, что не уступить этой любви труднее, чем уступить, отказаться достойнее, чем принять.

Передавая Тасе билет на теплоход, Терехов сказал:

— Давай сделаем так, чтобы никто не видел, что мы едем вместе. Соблюдая осторожность, мы многое облегчим себе. Приезжай пораньше и оставайся в каюте, а я приеду в последний момент. Я знаю, это очень неприятно, но что же нам делать, бедные мы, несчастные, — засмеялся он. — Не сердись?

Тася покачала головой, она не сердилась. К этой обиде она подготовила себя давно.

Что-то она наврала Лидии Сергеевне, которая хотела ее проводить, наспех попрощалась с Клавдией Ивановной, стыдясь смотреть в глаза, взяла чемодан, села в автобус. Уехала, как убежала.

В автобусе ей вспомнился приезд сюда. Это было очень давно: молчаливо-счастливый Алексей, она сама, Казаков. То — открытке, ясное она променяла на тайное и воровское. И пускай!

Любой пассажирский теплоход имеет праздничный, сверкающий вид, потому что вокруг вода, солнце, зеленые берега.

Тася поднялась по трапу. Голоса, звучащие у воды, перед отплытием всегда кажутся взволнованно приподнятыми, а люди, которые должны сейчас уплыть куда-то по зеленой воде, — особенные счастливцы. Они сами себе готовы завидовать, и Тася, несмотря на то что щемило сердце, улыбалась, идя коридором и отыскивая среди кают первого класса нужный ей номер.

Она положила чемодан и слегка отодвинула занавеску иллюминатора. Мимо двигались люди, смеялись, кричали, а она сидела на диване и, остерегаясь быть замеченной, не поднимала головы.

Она услышала энергичный, начальственный голос Терехова:

— Ну, решили так, а теперь решите иначе.

Фраза была типична для него. Скажи ее кто-нибудь другой и таким вот голосом, Тасе бы наверняка не понравилось, но она любила этого человека и даже поверила, что так можно говорить.

Сейчас он должен постучаться в дверь. Наконец случилось так, как они оба хотели, — они убежали.

В щель слегка открытого иллюминатора прорывался речной воздух, пахло свежестью и нефтью.

Когда Терехов постучался в дверь, она бросилась к нему, он обнял ее, отшвырнув чемодан. И они долго стояли молча, прижавшись друг к другу. Потом Андрей Николаевич предложил пойти посмотреть теплоход, выйти на палубу, в салон, поужинать в ресторане. Тася вышла в маленькое соседнее отделение каюты, переодеться.

— Ты скоро, Тасенька? Я уже соскучился! — крикнул Андрей Николаевич. — Я не могу так долго быть без тебя.

Она причесалась, вымыла лицо холодной водой.

— Какая ты красивая и молодая, — задумчиво сказал он. — Это невероятно.

Они пошли вдоль палубы. Тася чувствовала, что им смотрят вслед. Сейчас в довершение всего они встретят кого-нибудь знакомого — и что тогда?

— Я забыл папиросы в плаще, я сбегаю.

Терехов быстрыми шагами вернулся в каюту, а Тася остановилась возле лестницы, ведущей на капитанский мостик. На капитанском мостике стояли два похожих друг на друга мальчика. На лесенке внизу была прибита надпись: «Посторонним вход запрещен».

— А вы разве не посторонние? — с улыбкой спросила Тася: ей хотелось доставить мальчикам удовольствие.

— Мы не посторонние, — скрывая бешеную гордость, сдержанно ответили мальчики.

— А-а, — протянула Тася, — все понятно. Вы дети капитана.

Мальчики посмотрели на нее участливо, они понимали, что она завидует. Так же сочувственно посмотрели они и на Терехова, когда он подошел. Она услышала, как один из мальчиков сказал:

— Дяденька такой старый, а тетенька такая молодая-молодая.

Они прошли несколько шагов, и Терехов спросил:

— Ты слышала?

— Слышала. Глупости. Мальчишка не понимает ничего.

— Нет, понимает. Ты меня бросишь. Я знаю, я старый. Ты меня очень скоро бросишь. Найдешь себе молодого красивого моряка. На что я тебе?

«Если бы ты знал», — растерянно думала Тася, глядя ему в лицо.

К вечеру у Терехова началась мучительная, до черноты в глазах, мигрень. Он лег и заставил Тасю лечь, просил ее заснуть, сказав, что пирамидон ему в таких случаях не помогает и что он попытается заснуть, чтобы прошла головная боль. Она задремала, но, открыв глаза, увидела, что он не спит, лежит, закусив губы, с резко обозначенными морщинами на лбу и на щеках. Она вскочила, босиком, в ночной рубашке, нагнулась над ним.

— Не можешь заснуть?

— Спи, Тасенька, — ответил Терехов и погладил ее по руке, — спи, миленькая. У меня разболелась голова.

Тася разыскала в его чемодане анальгин, налила воды в стакан, подала ему.

— Прости меня,— прошептал он, закрывая глаза и сдвигая брови,— прости меня, я никуда не похужу.

— Что ты говоришь! — воскликнула Тася, опускаясь рядом с ним на колени.— Спи, пожалуйста, сейчас тебе станет легче, сейчас все пройдет. Тебе уже лучше.

— Как мне стыдно, что ты не спишь из-за меня,— медленно проговорил он.— Доктор мой милый, не стой босыми ножками, ложись.

Он вздохнул.

— Ножки босые у тебя, ложись,— повторил он.

У Таси сжалось сердце. Она легла, натянула одеяло, но спать не могла. Скоро у нее заболела голова. Это случилось редко, и она подумала, что теперь, наверно, всегда она будет испытывать то же, что испытывает он.

Потом она стала угадывать его мысли.

На следующий день за завтраком Андрей Николаевич ей сказал:

— Я хотел бы подарить тебе колечко.

— Я знаю какое,— улыбнулась Тася.

— Ну?

— Бирюзовое колечко?

— Кто ты? Ведьма?

— Ясное дело, ведьма,— прошептала она.

Путешествие продолжалось несколько дней. Но им казалось, что оно началось давным-давно, и они старались не думать, что скоро оно кончится.

— Странно, стоит мне проснуться, как ты тоже открываешь глаза. Отчего это? — спрашивал Андрей Николаевич.

— Потому что я люблю тебя,— отвечала Тася.

— А я тебя. Но что это за чудо: когда б я ни проснулся, ты открываешь глаза. И глаза совершенно чистые, ясные, прозрачные, как будто и не спала. Птица моя родная. Как бы хорошо, если б сломался винт. Что-нибудь бы сломалось, и мы бы с тобой так плыли и плыли,— повторял Андрей Николаевич.— Плыли бы и плыли.

В другой раз он сказал:

— Я бы хотел за борт вниз головой.

Только раз он сказал:

— Имей в виду, что я все понимаю. Все абсолютно. И как тебе трудно, и то, что ты молчишь. Но, честное

слово, жизнь человеческая достаточно тяжела и печальна — стоит ли нам самим делать ее еще сложнее и печальнее? Не надо ни о чем горевать. Спасибо тебе за твое молчание и за твою веселость. За твою молодость. Ты счастье, которого я не заслужил. Как это в стихах? «И может быть — на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Вот ты мне блеснула и светишь мне. И, пожалуйста, никогда не думай, что я чего-нибудь не замечаю, чего-нибудь не вижу. Я все вижу, все замечаю и за все благодарен тебе.

Вот и все, что было сказано между ними об их отношениях. Правда, гораздо больше пушкинских строк Андрей Николаевич любил повторять строки шекспировского сонета: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть».

Та бесшабашность, с какою он исповедовал свое отношение к жизни, обескураживала Тасю.

«Пусть все будет хорошо», — повторял он. Или: «Все будет очень хорошо», — и Тася повторяла эти слова за ним, как заклинание.

Смуглое лицо Андрея Николаевича было всегда веселым. Он как будто владел тайной хорошего настроения, хотя можно было не сомневаться, что неприятностей и трудностей у него хватало. «Так и надо, так и я буду. И все будет хорошо», — продолжала повторять Тася. — Только бы папа был здоров».

Но иногда заклинание неожиданно теряло силу. И тогда ей казалось, что у нее не хватит сил так жить.

Когда до Москвы оставалось несколько часов, она заплакала. Это произошло в ресторане за завтраком. Слезы капали на платье, на загорелые руки, на скатерть, в тарелку на котлету. Она с ожесточением жевала жареную картошку.

Андрей Николаевич улыбался.

— Ревут и не теряют при этом аппетита. Сколько тебе лет? Ты не знаешь? Перестань, Тасенька, нам же было так хорошо вместе. Ты моя умница, самая красивая, самая веселая. Улыбнись скорей. Я не могу видеть твоих слез. Не плачь никогда. Мы с тобой не расстанемся, я еще долго буду в Москве, потом уеду и почти сразу снова приеду.

Андрей Николаевич допустил незначительную ложь. Но он считал, что ложь — средство полезное и необходимое в человеческом общении. Он даже Тасе сказал,

что ему придется иногда лгать. «Для твоего же спокойствия. Только тогда, когда тебе от этого лучше. И ни в каких других случаях. Пойми это». Понять это было невозможно, но пришлось улыбнуться.

Успокаивая Тасю, Андрей Николаевич сказал, что пробудет в Москве долго, на самом же деле он не мог оставаться больше трех дней. И в эти три дня он будет занят бешено. Когда попадаешь в Госплан, всегда оказывается куча вопросов, которые надо решить, оттуда быстро не вырвешься. Министерство расформировали. Старый хозяин уходит, его немного жаль. Завод был в министерстве на хорошем счету, а для самого Терехова были открыты все двери. Он улыбался, вспоминая перемещения многих своих приятелей и знакомых, волнения их жен, которым не хотелось покидать столицу, оставлять уютные квартиры. Сам Терехов когда-то распрощался с Москвой легко и решительно. Он любил город и столичную жизнь, но считал, что «лучше быть первым в деревне...», а кроме того, стремился к живому делу. Скромное место в Москве не устраивало его. Он считал, что здоровый мужчина в расцвете лет не должен просиживать штаны в кабинете, даже если кабинет большой и красивый, а кресло мягкое и удобное.

Он улыбался, думая об одном своем приятеле, веселом толстяке, несостоявшемся оперном певце, ныне начальнике управления, о другом — замминистра. Оба попали в совнархоз, который стал теперь полномочным хозяином над его, Терехова, заводом. Что ж, он ничего не имел против, они всегда работали дружно и теперь работают дружно. Скоро отстроят комфортабельный дом, куда переедут все новые работники совнархоза и где не будут уж так сильно тосковать по своим московским квартирам. Черт возьми, старость, люди привыкают к насиженному месту. Раньше, когда были молодые, ничего не надо было. Ни о какой мебели не помышляли — кровать и стол, а теперь вон кафелем на кухне стали интересоваться. Без кафеля кухня уже не нравится.

Терехов умел говорить о людях остроумно и зло, Тася замечательно слушала. Не то что жена, Тамара Борисовна, которая уже наперед знала, что он скажет дальше, и перебивала его. Тася задавала вопросы, удивлялась, смеялась и никогда не перебивала. Одно удовольствие было ей рассказывать. За эти дни на теплоходе она стала та-

кой близкой! Она решилась на связь с ним и ни разу ни одним словом не упрекнула его, хотя он видел, как минутами ей было тяжело. Да, вся эта история становилась похожей на то, что у него бывало раньше. Сейчас Тася поплакала недолго, вытерла слезы и постаралась улыбнуться. Он, конечно, не плакал, но и ему было грустно.

Спустя четыре дня Терехов ждал Тасю в гостинице «Москва», чтобы вместе ехать в аэропорт. Предстояло прощание, которое страшило Терехова. Он боялся слез Таси, ее глаз, ее отчаяния, он расхаживал по просторному номеру и морщился, придумывая, как будет утешать ее, что ей совет.

— Я пришла,— услышал он ее голос. Она неслышно открыла дверь и подбежала к нему. Она поцеловала его, и он уловил запах лекарств.

— Здравствуй, здравствуй, мое воскресенье,— проговорил Андрей Николаевич, радуясь, что видит ее, не понимая, как он будет дальше жить без нее. «Наверно, я старый дурак, выживший из ума. Я не могу жить без нее». — Ты мое воскресенье,— повторил он.— Понимаешь?

Тася молчала. Неужели сейчас он уедет, а она останется?

— Дай я на тебя хоть посмотрю. Целый день я тебя не видел. Что ты делала целый день?

Она дала себе слово не портить прощания слезами. Еще оставалось два часа, еще что-то было впереди. Они приехали в аэропорт, еще осталось сорок минут. Еще полчаса.

— Я скоро приеду. Я буду писать. Звонить, Тасенька!

— Да, да, конечно.

— Скажи мне что-нибудь хорошее на прощание.

— Я умру без тебя.

— Неплохо. Еще скажи. Что-нибудь в этом роде.

— Я умру без тебя.

— Мы расстаемся на несколько дней. Хорошо?

— Очень.

— Ты меня не разлюбишь?

Он еще мог шутить. Тася молчала.

Отлетающих пригласили пройти к самолету. Еще осталось посмотреть, как он идет по дорожке, оглядываясь. И все. Больше ничего не осталось.

Терехов последний раз взглянул на маленькую светлую фигурку на ступенях аэровокзала и помахал рукой. Она будет ждать. Когда теперь он сможет вырваться в Москву? Что-то трудной становится эта любовь...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Самолет всегда успокаивал Андрея Николаевича. С тех пор как он перешел в разряд людей, которые в силу своей занятости никогда не ездят поездом, а только летают, он полюбил самолет. Ему нравилось идти к самолету с легким чемоданчиком, а то и просто с портфелем, с газетами, торчащими из кармана пальто. Нравились спутники в самолете. Его восхищали новые аэровокзалы, и он всегда пользовался возможностью выпить на остановке рюмку коньяку и, повеселевший, покрасневший, легкой походкой возвращался на свое место. Сперва усердно смотрел в окно, следя за тем, как поднимается самолет, нетерпеливо ждал, когда можно будет закурить. Потом, если не было поблизости симпатичной молоденькой пассажирки, засыпал и спал до следующей посадки.

В этот раз Андрей Николаевич не испытывал обычного удовольствия от полета. С тоской, с чувством утраты смотрел в окно.

Взглянув на крыло самолета, Андрей Николаевич заметил, что вытекает масло. Темно-коричневое, густое, принадлежащее продукции его завода, оно искристым ручейком текло по крылу.

— Масло вытекает,— показал он своему соседу, немолодому человеку с гладко выбритым мягким лицом артиста.

Тот сказал:

— Не люблю летать,— и пристально посмотрел на Терехова, как будто пытался вспомнить, знакомы они или нет.

— Мотор раздерет,— произнес голос сзади.

— Не раздерет,— усмехнулся Терехов.— Не бойтесь.

Он закурил, глубоко затянулся и прикрыл глаза, заподозрив в соседе желание разговаривать. Ему разговаривать не хотелось. Он думал о Тасе.

Уже давно не переживал Терехов ничего подобного, думал, что навсегда забыл, как это бывает. Казалось, что это случается в жизни только один раз и не повторя-

ется. А вот повторилось, да с такой силой, что он растерян. Дома ждет его жена, которую он уважает и любит, ну, скажем, любил, и никогда не сможет обидеть ее и никогда не бросит. И все мысли на эту тему надо дергать.

Он стал думать о жене. В войну Тамара Борисовна пошла работать на завод, где он был главным инженером. У нее были тогда белокурые косы, стройная фигура, голубые прозрачные глаза и белая кожа, которую она умело оберегала от южного солнца. Она была всегда очень нарядна. Тогда на заводе были почти одни женщины, пропыленные, закоптевшие, почерневшие. Они осудили ее. Но очень скоро ее полюбили за доброту, за ум, за энергию. Даже стали гордиться ею. Терехов помнил, как неожиданно заговорили на собрании о том, что с приходом Тамары Борисовны многие стали лучше работать. Его самого жена в войну поражала. Сколько она работала! Она была хрупкая женщина, не отличалась особым здоровьем, а войну прошла на одном дыхании, как боец, не останавливаясь, ровным шагом, не повышая, не снижая темпа. Она взяла на воспитание девочку, у которой погибла мать при взрыве на промыслах. После войны эту девочку забрал отец, вернувшийся с фронта. За всю совместную жизнь Терехову нечем упрекнуть Тамару Борисовну. Она была ему другом, была легким человеком, хорошей женой. Она работала, не жалея себя, хлопотала по дому, воспитывала сына.

Сын вырос и обожает мать, гордится ею. Таков итог... Воспоминания были неясными и почти насильственными. Как будто человек говорил себе: «Да, да, смотри, вот это так, именно так, знай, помни и не вздумай забыть. Помни, как ты болел, а она за тобой ухаживала. Помни, как ты радовался рождению сына. Помни, как она помогала в те твои дни, когда ты из утильсырья выбирал и чинил моторы. Вспомни, как вы спали на раскладушке, похожей на железную гармошку, а сын спал рядом в колыбели из чемодана и чихал, как взрослый человек. Как ты бежал к ней с новостями и никогда не боялся огорчить ее неприятностями, потому что она их не боялась. Не дрожала за свое благополучие, не ездила на казенной машине...»

Предстояло решить вопрос, можно ли жить воспоминаниями. Андрей Николаевич опять закурил и опять пой-

мал на себе взгляд соседа. «Что ему от меня надо?» — подумал Андрей Николаевич, рассматривая остроносые ботинки соседа, узкие ворсистые брюки, лиловатый пиджак из какой-то необыкновенной материи. «Заморская одежда, — решил Терехов. — Товарищ возвращается из заграничной командировки. Но он русский, не иностранец».

Сосед все-таки заговорил с Тереховым. Он оказался русским, который давно живет в Америке и приехал на родину в гости на месяц. Он летел к сестре.

Терехову последнее время приходилось часто встречаться с иностранцами. Он любил принимать делегации на заводе, любил показывать завод, вести тонкую дипломатическую беседу, угощать вином, фруктами, давать ужины. Языков иностранных он как следует не знал, хотя техническую литературу — английскую и немецкую — читал. У Терехова было свое понимание дипломатии: главное — показать широту и обаяние.

Ни египетские нефтяники, ни английские государственные деятели, ни представители американских фирм нефтяного оборудования, однако, не пытались посвятить Терехова в свои душевные переживания. А человек в самолете, глядя на Андрея Николаевича воспаленными глазами, хотел говорить о себе.

— Больше тридцати лет я не был на родине, — сказал он.

Он оказался антрепренером. Родину покинул без каких-либо серьезных причин, просто хотел привольной, богатой жизни, хотел путешествовать, летать из страны в страну.

— Ну, женщины еще, конечно, — сказал он. — Когда это много значило. Отец у меня был фабрикант, эксплуатировал рабочих, как говорится, но он никого не эксплуатировал, он был очень добрый. Он недавно умер в Чикаго.

— А масло все течет, — произнес голос сзади.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Терехов, — пустяки.

— В Америке очень много авиационных катастроф, — сообщил сосед любезно.

Терехов засмеялся.

— Я вижу, вы смелый человек. Я тоже был смелый... раньше. Так, значит, про отца я вам сказал. А мы были

тогда такая молодежь, мы жили искусством, у нас были высокие интересы. Мы были своеобразные люди. Очень своеобразные.

Он очень напирал на то, что они были своеобразными, ему нравилось слово.

— В Америке я стал модным антрепренером, другом великих артистов. Они любили меня. За что, вы хотите знать? За то, что я был честным.

Успех сопутствовал ему, он научился зарабатывать, делать деньги. А тратить он всегда умел. Красивых женщин было тогда гораздо больше, чем теперь, между прочим. Про него говорили, что он «носит корону». Но жизнь — это борьба, как утверждал один его старый товарищ, давно отказавшийся от этой борьбы. И вот в ходе этой борьбы мистера Акимова, так звали антрепренера, объявили сумасшедшим. Двери концертных залов не только Америки — всего мира закрылись перед ним, всех оповестили, что он рехнулся. Великая конкуренция погубила его, он оказался слабее. Его даже упрятали в сумасшедший дом, где сидели настоящие сумасшедшие, которые лаяли и мяукали. Потом его взяли оттуда. Жить стало тяжело. Корона упала с его головы. Между тем жизнь неслась вперед так стремительно, так изощренно технизировалась, что он за нею не поспевал и, что самое главное, жизнь эта перестала ему нравиться.

— Боже мой, — сказал он Терехову, — люди теперь разучились слушать. Они отвечают уже на первые пять слов, а остальные двадцать пять они не слышат. Что будет дальше? Если бог все-таки существует, как он допустил, что люди перестали думать? Нажатием пальца на кнопку они освобождают себя от необходимости думать. Разве это не ужасно? А ведь мозг ржавеет так же, как ржавеют машины. Если человек перестанет двигаться, он разучится ходить. Если человек перестанет думать, он перестанет быть человеком. Вы понимаете меня?

Львиная седая голова соседа едва заметно тряслась, выцветшие, некогда ярко-голубые глаза наполнялись слезой. Старость, одиночество были в его глазах.

— Вы знаете, что такое машина, что такое технология всей жизни насквозь?

Он так и сказал «технология всей жизни». Он был уверен, что весь мир развивается по этому пути, СССР тоже.

— Пока этого еще у вас нет, но я предчувствую, что будет. И тогда мир погибнет.

— Зачем же так мрачно? — пошутил Терехов. — Я другого мнения.

— Вы слепы, вы ошибаетесь! — живо воскликнул мистер Акимов. — Очень ошибаетесь. Вы младенец, который ничего не боится, потому что ничего не знает. А я очень старый человек, я знаю все, но у меня нет сил. Не могу никого предупредить об опасности, меня не слушают, мне не верят, считают чудачком и юродивым. А-а-а! — простонал он и откинулся в кресле.

Самолет снижался.

— Вот я и долетел, — сказал он. — Сейчас я увижу свою сестру. У нее муж и дети. Всё мое кровное. Боже мой, боже мой, вся моя жизнь — это тоска по родине. Словами выразить нельзя. Музыкой, может быть. А здесь... здесь все говорят по-русски, и это потрясает мое старое сердце. Не судите меня сурово. Прощайте.

Андрей Николаевич медленно пошел по направлению к аэровокзалу. Это последняя посадка. Следующая — дома. Всегда он дрожал от нетерпения, желая скорее добраться с московскими новостями, впечатлениями, подарками.

Собственно, это уже почти дом. Погода здесь всегда была такая же, какая ждала его дома. И запахи были схожи. И здесь и там пахло горячей сухой травой, полынью, мятой, нефтью. Здесь всегда можно было встретить знакомых, которые летели в Москву. Здесь он знал буфетчицу и швейцара в ресторане.

Мистер Акимов скрылся из виду. Печальная судьба промелькнула перед глазами Терехова. Невольно задумавшись над самим собою хоть на мгновение. Но только на мгновение, потому что уже давно пора отряхнуть все посторонние мысли, не относящиеся к делам. Изотов все еще в Куйбышеве, но он вернется на завод, придет к нему. Да, неприятно. Тася была его невестой, они любили друг друга. Придется встретиться... решать дела реконструкции. В конце концов никто не виноват, что так случилось.

Что там, на заводе? Он подумал о строительстве новой железнодорожной ветки. Со стороны восточной проходной. Беда с путями сообщения, с погрузкой-разгруз-

кой. Неправильный это принцип — сперва строить производственную площадку, а потом подъездные пути. Если еще когда-нибудь судьба приведет строить завод, скольких ошибок можно будет избежать! И Терехов, прогуливаясь по открытому степному аэродрому, вдруг ощутил острое юное желание все начать сначала. Хоть еще один раз в жизни. Пустырь, геодезисты, временные, пахнущие краской, неудобные дома вместо обжитых, обставленных квартир, новый гигантский завод, такой, как этот, только еще больше, комбинированные установки, автоматика. Бытовые помещения сделать просторные, светлые, в кафеле, с метлахской плиткой. Огромные подземные резервуары. Рядом чтобы были заводы нефтехимии.

После Двадцатого съезда наконец-то стали всерьез заниматься производством синтетического каучука, моющих средств, спирта. А искусственные смолы — это золотое дно. Андрей Николаевич часто ловил себя на том, что на любой бытовой предмет смотрит с одной точки зрения: может он быть заменен искусственным материалом или нет? И приходил к убеждению, что все можно заменить. Он вынул из кармана записную книжку. Таких книжечек он купил двадцать штук и вез домой, чтобы подарить товарищам. Обложка была из полиэтилена, яркая, голубая, Терехову очень нравилась.

Выйдя на площадь перед аэровокзалом, Андрей Николаевич остановился, помахал рукой самолетному спутнику. Старый антрепренер шел, обнявшись с сестрой, тучной женщиной с пышной прической, они поддерживали друг друга и шли медленно, спотыкаясь, а дети, племянники, бежали впереди с криком и смехом, толкали ногами какую-то бутылку и не обращали на взрослых никакого внимания.

Мимо Терехова прошли двое мужчин с портфелями, донесся обрывок разговора.

— ...Собрали собрание — Боголепова проработывать. Где Боголепов? Нет Боголепова!..

Андрей Николаевич засмеялся, а услышав собственный смех, удивился. Господи, сколько лет он не бродил так, засунув руки в карманы, по площади незнакомого города, не шатался вольной птицей, не прислушивался к чужим разговорам, не провожал взглядом случайных прохожих. Он знал, что про него говорили: «Наш дирек-

тор пошел, понес собственное достоинство». Он смеялся, считал, что ничего плохого нет, что так говорят. А хорошего мало, если разобраться. Тася права. Если бы она была с ним... Ему предлагали ехать за границу, возглавить строительство нефтеперерабатывающего завода — он решительно отказался. Далекие страны не манили его, он и думать не хотел о том, чтобы ехать за рубеж, даже ненадолго. Он был недавно в Англии, писал потом в отчете: «...на заводе мы не заметили дымка даже меньше дымка от папирасы». Завод, завод, завод — вот что он видел в Англии. А с Тасей ему были бы интересны люди. Она смотрела на мир с молодым любопытством, которое не могла скрыть, даже если хотела. Надо быть смелым, признаться себе, что она действительно молода, а он уже не очень молод. Кто-то из приятелей недавно рассказывал, что в Японии есть день старика. Такой праздник, когда веселятся старики, когда старикам разрешается считать себя молодыми. Андрей Николаевич ненадолго разрешил себе считать себя молодым, но следующая остановка самолета — дом, праздник старика окончен.

Уличная сцена заставила его обернуться и даже остановиться. Он увидел юношу и девушку. Они стояли у невысокой ограды аэродрома и прощались. Мира не существовало, только их прощание. Горя в мире не существовало, только их горе. Девушка держала руки юноши в своих, то прижимала их к губам, то опускала светловолосую голову на его руки. Девушка не плакала, серые глаза ее были сухими и выражали ту степень горя, при которой невозможны слезы. Лицо юноши было напряженным, страдающим, глаза устремлены в одну точку, губы сжаты. Оба были такими непостижимо молодыми, такими прекрасными... Что заставляло их расставаться? Почему они, они-то? Люди проходили мимо и оборачивались. Обнаженное горе этих двоих вызывало у прохожих зависть. Какие еще чувства могло вызвать это молодое горе? Можно было только завидовать, что юноша и девушка могут стоять так у забора, на виду у всех, что девушка может так смотреть на юношу, так держать его руки, так не замечать и не слышать ничего.

Андрей Николаевич остановился, пошел, обернулся еще раз. Те двое стояли все так же. Андрей Николаевич сделал еще несколько шагов и в последний раз посмотрел. Юные, стройные, смугло-румяные, они были по-

прежнему неподвижны. Им ни до кого не было дела. Они были на этой площади самые счастливые, хотя думали, что они самые несчастные.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он ошибся. Его вина, его ошибка. И он справится с нею. Слава богу, что все разломалось сейчас, а не потом.

Сейчас только нужно время, чтобы шли, уходили дни дальше от того дня. Он справится,— не с изменой Таси, что об этом думать,— надо справиться со своей ошибкой. Тасю он презирал. Он любил не ее, другую женщину. Та, которую он любил, не могла увлечься Тереховым. Та, которую он любил, была ясной, открытой, надежной. Та, которую он любил...

Он перечитывал короткое письмо: «Прости, если можешь. Я себя не прощаю. Так получилось. Я виновата перед тобою глубоко. Хочу, чтобы ты узнал правду от меня, а не от других. Мне очень тяжело, меньше всего на свете я хотела тебе причинить зло...»

«Менше всего на свете я хотела тебе причинить зло...» — читал Алексей и видел ее лицо. Пожалуй, надо было сказать себе правду — он любил, она не любила. Но все-таки она приехала к нему почему-то...

Алексей все вспоминал: Тася у него на заводе, две-три короткие встречи, которые, наверно, ничего не значили для нее и очень много для него. Потом в Москве она пришла на вокзал, неожиданно и решительно, как все, что делала. Там, на заводе, пообещала: «Я приду вас встречать в Москве». Он ей не поверил. Потом неделя в Москве, только неделя, сосновый лесок, зеленый вереск. Она пришла к нему домой и сразу показалась своей, даже «скандалисты» полюбили ее. Тогда в Москве ему не понравились ее друзья, но он не придумал этому значения. Она не познакомила его с отцом, и этому он нашел объяснение. Она была все время немного напряженной, она тогда еще не решила ни на что, хоть и сказала, что любит. И этому Алексей находил объяснение. А объяснение было одно — она его не любила. Да, так, а если так, чем же она виновата.

Алексей хотелось застрелить Терехова. Убить, уничтожить. Было невыносимо думать, что где-то ходит, смеется, радуется жизни этот страшноватый грузный чело-

век с опухшим темным лицом. И Тася с ним, в какой роли, на каком положении! Алексей верил в нее, гордился ею. Чем скорее он ее забудет, тем лучше. Но не забудет. Не забывал ни на мгновенье, все перебирал в памяти события, которые еще недавно казались значительными. Теперь они были не нужны, мешали жить. Но уберечься, спрятаться от воспоминаний было невозможно. Алексей видел, как Тася входит к нему в дом. Тетя Надя приглашает ее. Потом она поет «скандалцетам». Она улыбается ему.

Какое милое лицо было у нее тогда! Все рухнуло от ничтожного ветра.

А он верил, что нашел Тасю на всю жизнь.

В городе были все те же пахнущие штукатуркой дома, сквер с полотняными портретами передовиков производства.

В гостинице Клавдия Ивановна вылупила на Алексея свои печальные глаза, заговорила громко и приветливо:

— А мы уже заждались. Что, думаю, не едет и не едет?..

Напрасно он был насторожен заранее, нервничал, ожидая понимающих взглядов, сочувствия, любопытства. Ничего не было, все было просто, спокойно, обыкновенно. Может быть, только Казаков был шумнее и оживленнее обычного, а может быть, и это казалось Алексею. О Тасе не было сказано ни слова.

Опять Алексей стал ездить «замовским» автобусом на завод. Так же по утрам автобус вел кто-нибудь из инженеров, шофер дремал и, просыпаясь, острил: «Ой, падаем!»

Лидия Сергеевна, как и прежде, давала Алексею пояснения.

— Вон баженовская «Победа»,— говорила она, глядя в окно,— всегда битком набита. А иногда и совсем свою машину отдаст, а сам с нами едет.— Поколебавшись, негромко добавила: — Не то что некоторые.

И как бы в подтверждение ее слов, красуясь, проехала серая директорская машина с голубыми занавесками, слегка покачиваясь на ходу.

Этого было достаточно, чтобы в автобусе засмеялись.

Сейчас мимо проехал «тот»... Алексей наклонил голову, занялся своими часами. Он успел увидеть сочувст-

венный и понимающий взгляд Казакова и растерянное лицо Лидии Сергеевны.

— Как бы нашего директора не забрали от нас. Такой сильный товарищ,— почтительно, как будто «сильный товарищ» мог его слышать, произнес главный механик.

— А что, есть такие слухи? — спросил «академик».

«Тася, Тася, Тася...»

— Ну-с, что с тем бензином? — спросил Казакова главный технолог, седой человек в пенсне.

«Тот бензин» — это была партия высококачественного бензина, которую железная дорога неожиданно отказалась перевозить. Как это случается, что-то где-то не учли, не договорились, не согласовали, и ошибка грозила грандиозным невыполнением плана. Отношения с капризной и своенравной железной дорогой были тяжелыми.

— Железная дорога посмотрела в свой талмуд и не пропустила бензин. А над железной дорогой только один бог,— сказал Казаков.

— Н-да, маршрут был согласован. Такая неожиданность! — ответил главный технолог. Он был всегда серьезен, озабочен и немного всеми недоволен.

— Куда идти, кому жаловаться? — сказал Казаков.

Главный технолог не имел обыкновения поддерживать шуточный тон, говоря о серьезных вещах.

— Вопрос вывоза готовой продукции слишком существен для нас, Петр Петрович,— сказал он своим тихим, бесстрастным голосом,— нам этот бензин слишком дорого стоил...

— Да, уж влетел в копеечку,— согласился Казаков.

— Не хочется, чтобы завод страдал из-за чужого головопьяства,— продолжал главный технолог.

Казакову также не хотелось, чтобы завод страдал из-за чужого головопьяства.

— Сегодня будем пробивать это дело.

Он уважал главного технолога и мирился с тем, что старик был занудой и сухарем. Чтобы увидеть старика улыбающимся, надо было посмотреть на него в окружении семьи: Казаков жил с главным технологом в одном подъезде и наблюдал по воскресеньям идиллические сцены «Дедушка и внуки».

Казаков спросил у главного технолога, как поживают его очаровательные внучата, два мальчика семи и восьми лет, форменные хулиганы. Старик улыбнулся.

Автобус остановился у заводууправления.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

До остановки на ремонт, то есть до начала реконструкции, оставалось двадцать дней. Оборудование из Куйбышева должно было уже прибыть. Его не было.

Алексей телеграфировал в Куйбышев. Оттуда отвечали: «Отгружено тогда-то». И сообщали номера накладных.

Он звонил на железную дорогу. Там отвечали: «Не прибыло». Обещали выяснить.

Он оставался на заводе допоздна. В сумерках, в сиреневом освещении, в особенной тишине, лучше чувствуешь, как работают аппараты.

Молодой краснощекий механик Митя хотя принадлежал к службе главного механика, к реконструкции каталитического крекинга относился горячо и сочувственно. Он постоянно был на установке. Этот человек вообще чуть ли не жил на заводе.

Был еще на установке старший оператор, рабочий Малинин. Он тоже охотно оставался вечерами с Алексеем. У Малинина, правда, была ревнивая жена, она не сочувствовала реконструкции. Когда она звонила, Малинин передавал Алексею трубку и просил:

— Алексей Кондратьевич, скажите ей что-нибудь.

Алексей выполнял эту странную просьбу, как мог, шутил с ревнивой Калисфенией, сокращенно Калей, рассказывал, что сейчас ее муж делает на установке, и Каля, присмирив, говорила:

— Ну ладно, всегда вы меня заговорите, я и забуду, зачем звонила.

А розовощекий Митя говорил Малинину:

— В принципе, дорогой товарищ, ты глубоко неправ. Ты из нее психопатку воспитываешь. Разве можно строить семью на взаимном недоверии?

— А у нас не взаимное, у нас только одна сторона на недоверии, а другая на полном доверии,— улыбался рослый Малинин, голубоглазый, с пшеничными кудрями, с леноватой такой усмешечкой. Неторопливый, выдер-

жанный человек, физически очень сильный. Про него говорили «смекалистый».

На заводе скупко хвалят, такими словами, как «одаренный», «талантливый», не кидаются, и ходил Малинин «смекалистым». Он непрерывно искал и пробовал новое. Пока это были незначительные изменения, которые Малинин предлагал на своей установке. На большее он не замахивался, не хватало знаний: Установку свою Малинин чувствовал, знал насквозь. В ночные вахты, когда начальство спит, он слегка менял режим, смотрел, что получается. Удержаться от этого не мог. Когда Малинину предстояла ночная вахта, Рыжов заранее бесновался: завод не лаборатория, каталитический крекинг не экспериментальная установочка.

— Ты рабочий или кто? — спрашивал Рыжов. — Может быть, ты член-корреспондент Академии наук?

Малинин усмехался и обещал вести себя аккуратно.

— Рабочий, рабочий я, ничего не трону, пускай себе спокойненько гудит.

— Что это ты называешь «гудит»?

— Да так, все, — неопределенно отвечал Малинин, не в силах дождаться, когда он останется один и сможет подрегулировать по-своему и посмотреть, что из этого получается.

Рыжов чертыхался и уходил, а Малинин оставался.

Конечно, Рыжов понимал, что Малинин знает свою установку. Но понимал и то, что этого кудрявого, рыжеватого, широкоплечего человека сейчас лихорадит, так ему хочется проверить одно свое предположение, даже не одно, а несколько. Всегда не одно, а несколько.

«Тьфу, наваждение», — говорила со вздохом жена Каля, видя, что Малинин задумался и молчит.

Для Малинина все изменилось с приездом Алексея. Раньше его предложения вели к отдельным улучшениям, теперь реконструкция покрывала частные усовершенствования. Вбирала их в себя.

Вначале Малинин удивлялся тому, что Алексей внимательно слушает его. Потом понял: им было одинаково интересно и одинаково необходимо изменять и пробовать. Малинину было не лень по десятку раз бегать на этажерки. Потому что изменять и пробовать — это значит бегать. Далеко бегать, высоко подниматься, там открыть, там закрыть, там прикрутить, там просто посмот-

реть. Другие операторы делали это с неохотой — зачем создавать себе лишнюю работу, лишнее беспокойство. А Малинин с радостью: для него это было самое интересное в жизни. Ради этого он жил, ради этого пошел учиться, решил стать инженером.

Он был только на первом курсе института, на заочном отделении. Учиться было нетрудно, но медленно, страшно медленно отчего-то все подвигалось. И было жаль Калю, которая не видела жизни.

А двадцатипятилетний Митя, механик, поучал:

— Ты свою Калисфению страшно распустил. Почему ты такую ревность и подозрительность разрешаешь? Даже не знаю, как ты ее теперь призовешь к порядку. А не призовешь, она тебя погубит. С таким характером она тебе расти не даст. Денег она с тебя сильно требует, ты скажи? На наряды.

— Брось ты, Митя, Каля человек как человек. Что ты на нее взъелся? — отвечал Малинин.

— Я не зря взъелся, у меня могучая интуиция. Ревность — страшная штука, большой тормоз в личной и общественной жизни, — заявил Митя.

— А ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Малинин.

— Интуиция, — рассмеялся Митя.

— Ну, друзья, полезем к регенератору, посмотрим, что там сегодня делается, — предложил Алексей.

— Полезем, — ответил Митя, и все трое, надев ватники, шли в пыль, к раскаленному железу, к самому нутру каталитического крекинга.

С Митей и Малининым Алексеем было легко.

— А с «пауком» решено твердо? — спросил Алексея Малинин, стыдась своей настойчивости. Он задавал этот вопрос не первый раз.

Им давно владела заманчивая идея — регулировать объем катализатора в реакторе на ходу, не останавливая установку. Существующее устройство в реакторе — распределитель — неподвижное. Малинин предлагал сделать вместо него подвижной «паук». Дело это было тяжелое. Главный механик возражал. Но Алексей в предстоящую реконструкцию собирался установить подвижной «паук» Малинина.

— Решено твердо, — ответил Алексей.

— А когда вы к нам придете? — спросил Малинин. — Вы не забыли, что вы обещали? Моя мама ждет вас.

— Как позовешь.

— Значит, насчет «паука» это твердо? — опять переспросил Малинин, краснея и ненавидя самого себя. — Вы меня, конечно, извините.

— Слушай, перестань меня пытаться, ты все равно поверишь только тогда, когда твой «паук» будет поставлен и начнет работать. Отстань.

— Верно, — засмеялся Малинин, — извиняюсь.

Вскоре одна из трех установок каталитического крекинга встала на ремонт. Началась реконструкция.

Пока шла обычная жизнь, Алексей существовал на заводе, в цехе гостём, теперь он стал центральной фигурой. Он вел реконструкцию, он решал, он принимал всю ответственность на себя. И невольно сразу этому подчинились все, даже Рыжов.

Было много трудностей, настоящих и мнимых, неуязвок, неполадок, из-за которых приходилось трепать нервы и тратить время.

Из Куйбышева прибыли коробка, но без закладных устройств, — может быть, они потерялись, лежали где-нибудь между сотнями ящиков на деловом дворе.

Слесарь, который монтировал коробка, предложил приваривать. Это было надежно, но конструкция становилась неразъемной. Митя-механик предложил закручивать металлический прут. Митя бегал с этим прутком, лазил в регенератор, объяснял и показывал Алексею, хотя объяснять особенно было нечего — Алексей согласился. Сделали по-Митиному.

— Мы не работаем, а выходим из положения, — ворчал Рыжов.

Уже в разгар работ Алексею понравилась в журнале одна картинка — новая конструкция ввода сырья, новый принцип, отлично придуманный. Алексей только кое-что изменил в чертеже и показал новый ввод своим товарищам.

Митя сразу разобрался, понял и одобрил. Малинин смотрел, долго думал, потом сказал: «Плохо не будет». Баженов посмотрел, ему понравилось. Казакову тоже,

Только Рыжов противился бешено. Заладил: «Я против, против, возражаю, запрещаю, у меня чувство». Но руководил реконструкцией Алексей, и ввод сырья сделали по-новому.

«Паук» Малинина тоже с божьей помощью сделали и установили. Выполнили основные предложения Алексея. Дело тяжело и медленно подвигалось к концу, вернее первый — и главный — его этап.

Установку начали выводить на режим. Все имевшие отношение к реконструкции были в цехе, ждали, подходили к щиту с контрольно-измерительными приборами. Выводить установку на режим всегда трудно, тревожно, а в данном случае было особенно тревожно.

Пришел Баженов справиться, как дела. Пока все шло нормально.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал Алексей. Он не доверял этому благополучию. Опять проверил давление в колонне, в реакторе. Все было нормально.

Внезапно порвалась сварка на трансферной линии. Загорелось. «Так, — с тревогой подумал Алексей, бегом направляясь к месту аварии. — Первая аварийная остановка. Сколько их будет?»

Их было еще много, гораздо больше, чем можно было предположить. Пять-шесть остановок, одна вслед за другой, на протяжении десяти дней.

Катализатор, эти драгоценные беленькие шарики, то шел, то не шел в реактор. «Шуршит», — говорили в цехе. «Шуршит», — докладывал Казаков на утренних совещаниях у директора. «Шуршит», — сообщал ежедневно Алексей Баженову.

Вдруг начался бешеный вынос катализатора. Все вокруг было засыпано белой крупой, катализатор сыпался на головы, на землю вокруг этажерки крекинга. И всему виной был неправильный ввод сырья, та самая картинка, пленившая воображение Алексея. Надо было срочно переделывать по-старому. Рыжов, который говорил: «У меня чувство», оказался прав. У старого нефтяника-сгонщика действительно было шестое чувство, нефтяное. Рыжов бесился, ругал Кресса и Алексея, проклинал реконструкцию. Ввод переделали.

А драгоценный катализатор, тонна которого дороже

тонны сахару, продолжал литься дождем на головы авторов реконструкции и засыпать территорию цеха. Это всем видимое расточительство происходило на заводе, где борьба с потерями нефтепродуктов была одной из главных забот. Митя возглавлял рейдовую комсомольскую бригаду. Комсомольцы ходили и тщательно проверяли каждый насос. Тот же Митя круглыми глазами молча смотрел на снежные сугробики катализатора и не знал, что делать.

Установку пускали и останавливали. Еще одна остановка произошла из-за того, что перегорел мотор у сырьевого насоса. Это была очередная досадная случайность. Ведь мотор мог перегореть и в другое время, но он перегорел именно сейчас.

Когда установку наконец пустили и она стала работать, выяснилось, что ничто не изменилось.

Брала установка то же самое количество сырья, что и раньше, то есть позорно мало. Давала бензина столько же. Катализатор расходовался бешено.

В цехе говорили о том, что вообще не надо было затевать реконструкцию.

Алексей ломал голову, искал просчеты. Он был уверен, что упали короба из-за ненадежных Митиных креплений. Но для того чтобы проверить это предположение, нужно было опять остановить установку, а Рыжов категорически воспротивился.

— На этот раз, — сказал Рыжов, — моей властью мы будем продолжать работать. Довольно мы шли на то, что не получали денег. Сели на зарплате, сели на плане. Теперь попробуем план выполнять как есть. А когда остановимся в нормальном порядке, проверим Митины крепления, а заодно и все остальное.

Рыжов больше не говорил: «ох, реконструкция», — он страдал из-за этой реконструкции по-настоящему.

Алексей был расстроен, но он видел пути исправления ошибок. И опять оставался на заводе допоздна. И опять вместе с ним оставались Малинин, механик Митя, появлялся Кресс, неизвестно откуда, словно и не уходил совсем. Приходил Казаков.

Однажды вечером все собрались в операторной.

Операторная была знакома, как бывает знакома собственная комната. Ящик с аварийным спиртом, бинтами,

ватой. Косо приклеенный на стене плакат: «Отбирай пробу только в рукавицах». Кошка в углу выпила молока, прыгнула на круглый металлический стул, на место дежурного, зевнула, разлеглась.

— Кошки могут спать...— сказал Митя.— А я сон потерял.

— Не ворчи, Митя,— засмеялся Алексей.

— Кошке позавидовал,— сказал Малинин.

— Позавидуешь тут...— пробормотал Митя.— И кошке и собаке.

Приборы, круглые, поблескивающие стеклянными поверхностями, по-прежнему не показывали ничего отрадного. «Все-таки торопились с реконструкцией, торопились пустить установку, все сроки, сроки, железные сроки, вот и расхлебываем теперь,— думал Алексей в который раз.— Ломаем головы...»

Алексей оглянулся на товарищей. Это были верные товарищи, но и они приуныли. Сидели с незажженными папиросами и смотрели на кошку.

Алексей сказал:

— Сегодня утром видел такие стихи на щите у дороги. Про кукурузу. «Тем хороша она, что на все она годна — и для супа, и для каш, и особо на фураж».

Малинин сказал:

— Люблю кукурузу с маслом.

Митя сказал:

— Неужели мои крепления подвели? Уму непостижимо.

— Что-то мне вас жалко стало. Сидите тут одни ночью, я решил к вам поехать, посидеть с вами,— неожиданно раздался в операторной мягкий, веселый голос Баженова.

Решили пойти в кабинет к начальнику цеха, там покурить и поговорить.

Митя сказал: «Сейчас бы чего-нибудь пожевать».

Малинин принес откуда-то хлеба с маслом, несколько холодных котлет и две бутылки молока, которое ежедневно получали в цехе «на вредность».

— Да,— задумчиво проговорил Баженов, прикуривая у Алексея и оглядывая присутствующих,— смотрю на вас, товарищи, и думаю: вот что-то же заставляет людей совершать поступки вопреки своему благополучию, вопре-

ки так называемому здравому смыслу, в ущерб себе. Для чего-то лучшего и того, что будет не сейчас, а потом.

— Бесспорно,— отозвался Алексей.

— Что-то заставляет человека лезть на вершину горы? Это ведь не только спорт — мол, полезу, завоюю, буду первый. И не любопытство: что там, на вершине? На вершине снег, это все знают, и трудно дышать. А человек лезет. Или полеты в стратосферу. Зачем человек стремится полететь на Луну, на Марс, к черту, к дьяволу? Где-то я читал, что мечтают все люди, но не одинаково. Те, которые мечтают ночью, утром видят, что их мечты только мечты. А те, которые мечтают и дело делают, тем выпадает редкое счастье увидеть, как их мечты становятся действительностью.

— Мы мечтаем вслух только после выпивки или в поезде,— сказал Митя и покраснел.— А вообще-то вполне возможно, что мы наш кокс в алмаз превратим,— добавил он и окончательно смешался.

— Я всегда считал, что инженер должен быть мечтателем,— сказал Алексей.

— Вы часто говорите: «это по-инженерному», «это инженерная задача», я замечал,— засмеялся Калинин.

— Реконструкцию хочется сделать хорошо,— заметил Алексей.

— А что мешает? — спросил Баженов.

— Ошибки.

Он не хотел сейчас говорить о спешке, о недовольстве некоторых работников цеха, о сопротивлении Рыжова, его нежелании еще раз остановить установку, о том, что в цехе реконструкцию называют «горе-реконструкция».

— Не будем унывать, товарищи,— сказал Казаков.— Я лучше вас всех знаю Алексея Кондратьевича, он человек неожиданностей. Потомок Чингисхана, будет вот так, как сейчас, улыбаться загадочной улыбкой пустыни, а потом вдруг — бац!

— Что «вдруг»? Что «бац»? Почему вы говорите обо мне? Протестую,— сказал Алексей.

— Говорим о тебе, но думаем о катализаторе.

— Давайте говорить о катализаторе,— сказал Алексей.

— Надо останавливаться,— заговорил молчавший все время Кресс и оглядел присутствующих круглыми детскими глазами. Волосы его, седые спутанные кудри,

падали на умный, в морщинах, коричневый лоб.— Останавливать установку и смотреть.

— Да! Нужно довести это дело до конца,— сказал Баженов.— Мы не должны здесь допустить проигрыша.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Спустя несколько дней установка опять встала. Баженов приходил в цех, разговаривал с рабочими. Кресс умело нажал на Рыжова. Казаков действовал среди заводского руководства, обрабатывал главного инженера, главного механика. Алексей и Малинин поднимали настроение в цехе. Митя воодушевлял ремонтников и старался обеспечить каталитический крекинг материалами, которые он чуть ли не воровал.

Установка встала с согласия и одобрения работников цеха, хотя это был еще один удар по плану и зарплате во имя «чего-то лучшего и того, что будет не сейчас, а потом», «вопреки своему благополучию, в ущерб себе», как сказал ночью Баженов.

Алексей осмотрел установку и пришел к Рыжову. Начальник цеха сидел за столом, рисовал на листе бумаги кружочки и квадратики и не поднял головы.

Вместе с Алексеем пришли Митя, Кресс, Малинин.

— Надо сменить коллектор,— сказал Алексей.

— Надо,— подтвердил Кресс.

— Как они просто говорят,— усмехнулся Рыжов, снял телефонную трубку, вызвал ремонтный цех и заорал: — Вы сразу начинаете задерживать ремонт! Давайте усиляйте это дело! Людей давайте! Чтобы волокиты не было, хватит!

Это была излюбленная манера начальника цеха — кричать на одних, чтобы пугать других. Сейчас он показывал энтузиастам, что не намерен опять возиться с ремонтом. Цех не выполнял плана уже несколько месяцев, и Рыжову это надоело. У себя на установке он хозяин. Но «энтузиасты» бились за свое.

Алексей по привычке рисовал на блокнотном листке то, что, по его мнению, надо было сделать.

— Приваривать не надо,— говорил Алексей,— надо сделать как следует.

— Некому делать как следует. Людей нет! — Рыжов раздраженно чиркнул спичкой и выпустил облако дыма.

— А вообще на установке жизни нет,— сказал Алексей.— Основное — надо коллектор поменять. Вон и Кресс считает, что надо поменять.

— Считаю,— подтвердил Кресс.

— Ему легче всего считать,— сердито ответил Рыжов.— Сейчас первое число. Начнут останавливаться одна за другой установки. Термический крекинг останавливается.

— Мало ли что! Надо же один раз сделать хорошо.

— Шестого вечером, крайнее — седьмого, должны быть на режиме,— отрубил Рыжов.

Алексей поморщился. Опять начиналась спешка, этот страшный бич, гибель для любой попытки что-то усовершенствовать, сделать по-настоящему.

Рыжов был раздражен.

— Это не по-инженерному, товарищи,— сказал Алексей.

— А-а, инженеров здесь нет, здесь дельцы,— сказал Малинин с резкостью, какой Алексей в нем не ожидал.— Можно ведь сделать все культурно,— продолжал Малинин,— как предлагает Алексей Кондратьевич. Регенератор нуждается в ремонте.

— А можно его залатать и работать дальше,— сказал Рыжов,— коли на то пошло.

Алексю теперь все было ясно, все ошибки и просчеты понятны, надо было еще раз, последний, взяться и сделать все как следует. Теперь неудачи не будет, Алексей мог ручаться.

Он опять пошел на установку. Обернувшись, увидел, что Митя идет следом, за ним плетется Малинин. А маленький мужественный Кресс остался с Рыжовым — будет его укрощать.

Бой с Рыжовым — не главный бой. Предстоял еще серьезный бой с главным механиком. Сейчас вся задержка была из-за него. Главный механик уже высказался в том смысле, чтобы катились ко всем чертям со своими непомерными требованиями — на заводе не один только цех каталитического крекинга. Так кричат плохие кондукторши в трамваях или кассирши в магазинах: «Вас много, а я одна». Там берут жалобную книгу и пишут жалобу на некультурное обслуживание пассажиров или покупателей. А здесь? Для реконструкции требуется оборудование, которое стоит десятки тысяч. Главный меха-

ник его не дает. Он даст, если ему прикажет директор завода.

Надо было идти к Терехову. Алексей знал, что этого не избежать. Он готовился к этому, то есть говорил себе слова, которые всегда были для него убедительными, но сейчас теряли значение: «надо», «необходимо», «должен», «я не имею права не идти, страдает дело». Ведь только дело и оставалось в жизни Алексея. Оно оставалось всегда. Помогало ему держаться. Постоянная необходимость общаться с людьми тоже заставляла его держаться. «Никто не должен знать, что я перееханный трамваем», — повторял Алексей.

Через знакомую приемную, мимо черного дивана с шоферами Алексей прошел в кабинет Терехова.

Начиналось утреннее совещание.

Терехов сидел за столом с обычным своим видом величавого неудовольствия — неподвижная фигура на фоне розовой стены.

Сердце Алексея забило быстрее, в висках застучало, как будто в кабинете не хватало воздуха и было слишком много людей. Он сел, еще раз посмотрел на человека за столом и внезапно успокоился.

— Кого мы ждем? — спросил Терехов.

Ему ответили:

— Горелов в горкоме, Середа не придет.

— Значит, напрасно я кричу, — сказал Терехов, улыбаясь глазами.

«Комедиант», — презрительно подумал Алексей.

Молоденькая девушка-диспетчер встала, чтобы ответить на вопросы директора.

— Неприятностей ночью не было?

Диспетчер ответила сдавленным голосом:

— Электроэнергия отключилась на пять минут.

Директор крикнул:

— Когда это прекратится?

Кто-то ответил меланхолически:

— Ошибки случаются.

— Все несчастные случаи из-за ошибок. Как все-таки избавиться от таких вещей? — гремел Терехов. — Ни одного еще не посадили в тюрьму, чтобы другим неповадно было! Они недопонимают, где они работают, пожара еще не видели!

Главный механик сказал:

— Надо все время людей держать в напряженном состоянии.

— Так держите! Кто вам мешает?!

Пожевав губами и дав всем посмотреть, как он сердится, Терехов спросил:

— Что у нас в плане на этот месяц?

Алексей задумался и прослушал, о чем стали говорить дальше:

Потом Рыжов доложил о реконструкции каталитического крекинга.

— Изложи свои соображения, Леша.— Казаков потянул Алексея за руку.

Алексей, не поднимаясь со стула и глядя прямо в бульдожье лицо Терехова, в его ускользящие, неприязненные глаза, сказал:

— Надо менять коллектор. Коллектор имеет сильный прогиб. Сделать раз, но хорошо.— Помолчав, Алексей еще раз повторил громче: — Надо менять коллектор.

Терехов спросил, сколько еще — он сделал ударение на слове «еще» — времени надо на «все эти доделки и переделки».

Алексей просил еще две недели, просил такелажников, некоторые новые запчасти и... новый коллектор.

— Коллектор? — удивленно переспросил Терехов. И хотя, казалось, ничего особенного не было в том, что он переспросил, на самом деле он выразил свое недовольство неудачей и нежелание дальше поддерживать все это дело.

Он сказал только одно слово: «Коллектор?» Но того, как он это сказал, было достаточно, чтобы главный механик заявил: «О коллекторе не может быть и речи». Его молодежавое лицо пошло красными пятнами. «Припадочный», — подумал Алексей. Оставалось сделать последнее усилие, и установка каталитического крекинга начала бы работать вдвое производительнее.

Алексей понимал Терехова, разгадал его намерения. Сейчас Терехов, воспользовавшись неудачей реконструкции, хотел ударить по всему этому делу.

Главный механик все продолжал нервно вскидывать голову и в разных выражениях сообщать, что коллектора не будет.

Тут вмешался Баженов:

— Коллектор — дело хозяйское, но остальные требо-

вания законны. Все эти доделки и переделки должны быть произведены для успеха дела.

И Рыжов сказал:

— Ну уж что теперь, Андрей Николаевич, цех сам идет на все лишения материального порядка.

Это был отпор директору, это была защита реконструкции, защита сильная, и Терехов мгновенно понял это и сразу отступил. В конце концов против реконструкции он и не боролся. Слава завода — это была его слава. Но слава Алексея — это была слава его личного врага. Терехов сказал:

— Дорогие товарищи, я даю вам ваши последние сроки. Однако помните, что мы с вами, как врачи, права на ошибки не имеем.

И вдруг Алексей понял, что Терехов нервничал. Вел совещание, сидел как изваяние за столом, произносил привычные слова, а сам все ждал неприятностей.

Закрывая совещание, Терехов распорядился, чтобы главный механик пошел на установку, своими глазами посмотрел «знаменитый» коллектор.

— Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть, — заявил Терехов надменно.

«Хорошие шекспировские строки, но философия дерьмовая. Наверное, — подумал Алексей, — он цитировал эти строки ей».

— А коллектор дорогой? — спросил кто-то у главного механика.

— Золотой! — закричал истерично главный механик. — Двадцать семь тысяч!

— Двенадцать, — сказал Алексей громко.

Все засмеялись.

Алексей встал, вышел из кабинета, не дожидаясь остальных.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Андрей Николаевич ждал Тасю возле кинотеатра «Ударник». Она увидела его издали. Засунув руки в карманы синего свободного пальто, надвинув светлую кепку на лоб, он медленно расхаживал по тротуару. Даже здесь, в московской толпе, он был замечен, выделялся осанкой, смуглым лицом. Тася любила, когда он был в кепке, он казался молодым, простым.

Каждый раз, когда Тася видела Андрея Николаевича, она на мгновение переставала верить тому, что он ждет ее, стоит, печется на солнце, мокнет под дождем, бросив свои неотложные, важные государственные дела. Ради нее подвергает себя неприятностям, как мальчишка бежит к ней на минутное свидание, летит в Москву на два дня. Ради нее, из любви к ней...

Сейчас он заметит ее в толпе, улыбнется. Если бы можно было так всегда идти к нему навстречу, видя, что он стоит и ждет! Только этот миг был прекрасен, потому что сразу вслед за этим начинала стучать тревога в сердце, что скоро расставаться, прощаться, уходить, терять.

Андрей Николаевич заметил Тасю и сдвинул брови. Она опаздывала. Потом улыбнулся.

— Здравствуй, здравствуй, мое воскресенье,— сказал он нежно.

— Дай я на тебя посмотрю,— сказала Тася довольно громко.

Проходивший мимо военный обернулся, с откровенным восхищением посмотрел на Тасю и с неодобрительной завистью — на Терехова.

— Видишь, опять на тебя смотрят. Ты еще надеваешь этот красный шарф. И так девчонка, а еще этот красный галстук.

Они замешкались, не зная, в какую сторону идти, потом побрели по направлению к Каменному мосту.

— Сегодня у меня был смешной случай. В институте, в вестибюле, я встречаю... Ты не слушаешь? — спросила Тася.

— Боже, как мне неинтересно жить без тебя,— ответил Андрей Николаевич.

Она остановилась, потрясенная искренностью и нежностью его тона. Значит, он любил ее, страдал, скучал. Больше ей ничего не надо было, она счастлива.

— Ну, продолжай, продолжай — «в институте, в вестибюле, я встречаю»... Кого ты встречаешь?

— Ах, все равно все это. Неважно.

Она собиралась рассказать ему какие-то пустяки. Серьезное и грустное она от него скрывала. У нее были неприятности в институте, она получила выговор за то, что вернулась из командировки с опозданием. Ее хотели

исключить из аспирантуры, потому что она не сдала кандидатский минимум. Отцу опять стало хуже.

Обо всем этом она не рассказывала Андрею Николаевичу. Он не знал ее жизни. И не должен был знать.

— Как ты? Был в Госплане?

Терехову предлагали работать в Госплане. Он был честолюбив, его манили масштабы. «Разве не так? Разве ты не такая?» Ей нравилось, когда Андрей Николаевич говорил: «Мы с тобой похожи. Мы одинаковые».

— У меня сегодня вечером заседание в одном месте, под Москвой, довольно далеко. Пока я буду выступать, ты погуляешь, потом поужинаем где-нибудь. Согласна?

— Да.— Кажется, она еще ни разу не произнесла при нем «нет». Ей было совершенно все равно, куда ехать, когда и зачем, лишь бы вместе. Она быстро сосчитала, сколько часов они смогут пробыть вдвоем.

— Может быть, там есть гостиница...— вопросительно проговорил Андрей Николаевич и наклонился к ней.— Да?

— Я предупрежу отца, что не вернусь,— прошептала она.— А сейчас поеду домой, переоденусь.

— побыстрее, времени в обрез, я подожду тебя на вокзале, куплю билеты. А ты подгребай.— Он подмигнул Тасе, молодой, удалой, беспечный.

На вокзале Тася не застала Андрея. Был уже седьмой час, он уехал, не дождавшись ее: опаздывал на заседание.

Она не знала, куда поехал Терехов, где это заседание,— наверно, в какой-нибудь закрытой аудитории. Знала только название станции.

Она пересчитала деньги. Их хватало на билет лишь в один конец.

Тася села в поезд.

Напротив, на скамейке, женщина в очках читала газету, мужчина ел мороженое.

Сзади пьяный голос выкрикивал:

— Есть, капитан, матрос воды не боится!

Тася обернулась. У говорившего было красное, потное лицо.

— Жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды жить не суждено.

Она вспомнила глаза Терехова, его кепку, веселое лицо рабочего парня. Потом выплыло другое лицо, высокомерное, отчужденное, «так надо».

Она вышла из вагона и остановилась. Она не знала, куда идти, и решила ждать Терехова на перроне. Села на скамейку под фонарем, который, как показалось, горел ярче других, натянула юбку на колени, застегнула воротник старенького клетчатого жакета, поправила шарф на шее, вспомнила, что у нее есть еще кожаные перчатки с рваными пальцами, и надела их.

Потом она часто вспоминала это ожидание. Она ждала тогда не Терехова, она ждала чуда.

Она задремывала и просыпалась от холода. Несколько раз смотрела на часы — время не двигалось. Потом вдруг прыгнуло. Наступила ночь. Если вот так ждать под мерцающим фонарем долго-долго, мерзнуть, неужели можно не дожидаться? Вдруг ей показалось, что идет сторож, чтобы прогнать ее отсюда. Она со страхом всмотрелась — это было дерево.

Отец уже, наверно, принял снотворное, заснул. Тася, как могла, скрывала от отца все, но он что-то чувствовал. Он говорил теперь, что умрет спокойно, если она выйдет замуж. Он думал, что дочь несчастлива, а она была счастлива, отец этого не знал. Никто на свете не был счастлив, только она. Ее счастье было вот здесь, на этой скамейке.

— Тасенька! — голос Терехова срывался от волнения.

Тася протянула руки: вот ее счастье. Терехов был потрясен.

— Боже мой, а если бы я не пошел в эту сторону?

— Все равно. Ты бы пошел. Я знала, что я тебя дождусь.

— Ты сама не знаешь, что ты такое... Что ты за чудо.

— Ты пришел.

— Тасенька! — повторял Терехов. Это ожидание на перроне, без всякой надежды встретить его, потрясло Андрея Николаевича. Сжавшаяся от холода в комочек, на скамейке, ночью...

— Тася, девочка моя, — шептал Терехов.

В это мгновение ему хотелось послать все к черту, переломать свою жизнь, начать сначала. Если есть, если может быть такая любовь... Тася молчала. Терехов снял пальто, закутал ее.

— Давай проедем еще одну остановочку вперед, там должна быть гостиница...

Она кивнула головой, соглашаясь. Еще одна ночь в гостинице. Андрей Николаевич пойдет договариваться, попытается сунуть деньги дежурной, чтобы им разрешили остановиться в номере вдвоем. Унизительные взгляды, которые она будет ощущать на себе, чья-то усмешка, может быть оскорбительное слово вслед. Ей все безразлично, лишь бы быть с ним.

— И все равно ты меня разлюбишь, Тася. Ну зачем я тебе такой нужен? Старый, уродливый.

Зачем он говорил все это?

Тася дрожала от холода, от волнения. Начинался дождь, они все еще стояли на перроне, ждали поезда. «Бездомные собаки»,— подумала Тася. «Жизнь на жизнь не перемножишь»,— вспомнились слова пьяного. Она не понимала их смысла.

— Я гублю твою жизнь...— сказал Терехов.

Зачем он это говорил?

— Ты мое счастье,— ответила она.

— Я твоё несчастье, я это знаю, Тася, и ничего не могу поделать. Отказаться от тебя сам я не могу.

— Ты мое счастье,— тихо повторила она. Ей хотелось плакать.

— Подожди.— Андрей Николаевич взял руку Таси и поцеловал.— Подожди. Послушай меня. Я тебе больше этого никогда не скажу. Запомни: как бы нам тяжело ни было дальше— а нам будет и тяжело и плохо,— знай, что за всю мою жизнь никогда...

— Да, да,— перебила Тася,— я знаю.

— Ты не понимаешь. Ты еще маленькая. Мне часто кажется, что ты совсем ребенок.— Он уже привычно шутил. Его волнение прошло.

— Да, да,— сдерживая слезы, повторила Тася.

Подошел поезд. И в этот раз Андрей Николаевич ничего не сказал ей о том, что дальше, как им дальше жить. Будущего не было.

В маленькой двухэтажной гостинице заспанная дежурная, не разобравшись со сна в паспортах приезжих, проводила их в номер. Тася опустила на одну из двух узких железных кроватей, застланную белым пикейным одеялом, и, не сдерживая себя больше, заплакала.

— Тасенька, Тасенька,— он отнимал ее руки от лица,— не плачь. Все, что угодно, только не плачь. Я тебя умоляю. Пожалуйста. Не плачь. Пожалей меня.

— Больше не буду. Улыбаюсь,— поспешно сказала Тася и с отчаянием подумала: «Надо расстаться. Надо кончать. Я должна уйти».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Андрей Николаевич проснулся рано и больше не мог заснуть. Раньше он умел замечательно спать, а теперь разучился. Друзья уверяли, что это первый, самый верный признак приближающейся старости. «Чему быть, того не миновать»,— соглашался Андрей Николаевич. Других признаков старости пока не было заметно.

Терехов многие годы жил кочевой жизнью. Были молодые, беззаботные, нигде не устраивались надолго, хотя даже временные, случайные жилища жена старалась сделать как можно уютнее. А эту последнюю квартиру обживали по всем правилам: может быть, еще один признак приближающейся старости? В спальне был мягкий свет от штор, мебель — спальный гарнитур — самая дорогая, какую только можно достать в Москве.

Сейчас Андрей Николаевич посмотрел на большой розовый ковер с раздражением. Вдруг неуместными показались розовый цвет на полу, голубой шелк на окнах и множество безделушек на туалете. Он сам покупал фигурки, статуэтки, привозил из московских командировок этих балерин на одной ноге и собак. Все раздражало сейчас своей неуместностью. «Обмещанились»,— подумал Андрей Николаевич.

«Сколько дряни»,— с каким-то даже недоумением продолжал размышлять Андрей Николаевич, переводя взгляд с плохих картин, развешанных по стенам, на дверь столовой, откуда виднелась горка, набитая рюмками и графинами.

— Забарахлились,— с осуждением сказал громко Андрей Николаевич, подумав, что ругать нужно только самого себя. Тамара Борисовна не была виновата — она была орудием, исполнительницей его желаний и прихотей. Вечно торопясь, занятая, озабоченная, уставшая, она бегала и покупала все мало-мальски заметное в ма-

газинах города потому только, что Андрей Николаевич этого хотел.

В спальню вошла Тамара Борисовна, гладко причесанная, с подмазанными губами. Терехов сразу беспощадно отметил эту тщательность и осудил, хотя обычно одобрял. Она не раздвинула штор, Терехов отметил про себя и это — и это осудил. Жена не хотела яркого света, предпочитала полумрак. Глупо, старости нечего стесняться. Весь фокус заключается в том, чтобы достойно и своевременно распрощиться с молодостью. Халат этот японский надо выбросить к черту, домашние туфли с постукивающими каблуками — к черту и розовый ковер — тоже к черту, к черту! Все это неприлично.

— Что скажешь, Тamarочка? — спросил Андрей Николаевич, стараясь скрыть раздражение.

— Я хочу у тебя спросить, как все-таки будет с нашим отдыхом, ведь уже почти зима. Мы поедем на курорт или нет, я что-то не понимаю, — спросила Тамара Борисовна, беспокоясь, чтобы ее вопрос не показался настойчивостью. — Бархатный сезон кончился, так жаль, упустили.

«К черту и бархатный сезон!» — хотелось ответить Терехову. Вечно почему-то они стараются захватить этот самый бархатный сезон, «поесть фруктов», хотя едят они этих фруктов и так достаточно. Он всячески старался оттянуть поездку, пытаясь придумать, как провести очередной отпуск с Тасей. Вспомнил, что Тася мечтала поехать на Кавказ или в Крым ранней весной. Он, между прочим, никогда не был на курорте весной, всегда только в бархатный сезон.

— Тamarочка, я из-за всех этих дел задержусь, поезжай одна, мне, может быть, совсем не удастся вырваться.

— Тогда и я не поеду. Не беда.

— Как знаешь.

Тамара Борисовна протянула газеты, поправила одеяло. В воскресенье она всегда старалась, чтобы Андрей Николаевич подольше не вставал с постели. На неделе ему редко удавалось выспаться. Предупредительность и забота, столь украшающие семейную жизнь, были сейчас Терехову в тягость. Он удивлялся себе, потому что даже в мыслях ни разу не позволил себе подумать о Тамаре.

Борисовне неуважительно или плохо, без благодарности. «Если так покатится дальше...» — сказал он себе строго, предупреждая. Он понимал, что нельзя распускаться, следовало немедленно договориться о том, когда они едут, оформить отпуск, заказать билеты. И не мог этого сделать. Как будто мягкая теплая рука Таси прижалась к его губам. Его чувство к Тасе радовало своей силой, даже удивляло, он не думал, что еще способен на это. Он был благодарен своей судьбе, потому что в его безмерно заполненной деловой жизни эта любовь была чем-то исключительным, отпущенным ему. Ни у кого из товарищей, людей одного с ним положения, наверняка не было ничего, кроме несерьезных командировочных знакомств. Слишком на виду, положение обязывает. Необходима крайняя осторожность: все тайное становится явным.

Андрей Николаевич решил сегодня днем позвонить Тасе, он скучал по ней. Ее телефон был записан у него в записной книжке под фамилией Т. Иванов. В его записной книжке было несколько женских имен, переделанных таким образом на мужские. Хотя Тамара Борисовна никогда не заглядывала в его записную книжку, он хотел быть спокойным.

Андрей Николаевич встал, принял душ, прочитал газеты, выпил кофе. Если бы можно было увидеть Тасю, он пешком прошел бы двадцать километров, чтобы посмотреть в ее глаза. Он включил магнитофон — громкая душещипательная музыка, можно ни с кем не разговаривать. Он решил, что будет полдня крутить магнитофон. Никуда не денешься, из дома не убежишь.

Тамара Борисовна в светлом пальто вошла в комнату и остановилась, ожидая, что он приглушит или прекратит музыку. В руках она держала перчатки, и Андрей Николаевич знал, что она так и будет их держать, это неудобно, но так полагается. А зачем все это, к чему? Впервые простая, естественная Тамара Борисовна показала ему ненатуральной, набитой дурацкими условностями. Андрей Николаевич сделал вид, что не замечает вопросительного, ожидающего взгляда жены, и начал свистеть под музыку. Запахло сладкими духами. Тамара Борисовна дружелюбно улыбнулась и ушла, помахав перчаткой. «Я на рынок!» — крикнула она из прихожей. Андрей Николаевич все с той же несвойственной ему в отношении жены беспощадностью подумал, что утро для

стареющей женщины — страшное время дня. Он вспомнил Тасю, какой была она по утрам. Молодая, счастливая и не знает своего счастья.

Молодая, он не имеет права портить ей жизнь... Да и она сама его скоро бросит. Не в его силах перевернуть свою жизнь и жизнь Тамары. Надо это помнить всегда...

Да, жаль Тасю, жаль себя, старого дурака. Он-то голову потерял и выхода не видит. А еще говорят, в наше время трагедий не бывает... Что делать? Первый раз вот так, и он бессилён. А если всё-таки решиться, перевернуть? Сын уже взрослый, поймет, не сейчас, так потом. Тамара пережила бы как-нибудь. При ее благородстве она не стала бы чинить никаких препятствий и устраивать неприятности. Неприятностей, конечно, хватило бы и так. Общественное положение, моральный облик... И все равно, успокоилось бы. Надо решать, надо решаться.

Громкая джазовая музыка неслась на улицу из окон квартиры директора завода, сам он, в кремовом костюме, в белой рубашке, с папиросой, зажатой в пальцах, ходил из угла в угол, притоньвая ногой, напевая, насвистывая «Два сольди...».

Наверно, ему было бы легче, если бы он мог выйти из квартиры, пойти по улицам, за город, по берегу реки, быстрым шагом ходить весь день. Даже этого он не мог разрешить себе, считая, что находится всегда под огнем взглядов, в центре внимания.

Надо решать, надо решаться...

Кончила рыдать на ленте магнитофона итальянская певица, зазвучала другая популярная мелодия. Рычаг громкости был повернут до предела. Хорошо, что сын с утра уехал с товарищами на соревнования, не слышал этого пения, не видел этого метания по клетке.

Надо решать. Я решаю.

От резкого движения упала со стола хрустальная пепельница.

«...Тиха вода... та-ра-ра...»

Когда вернулась с рынка Тамара Борисовна, Терехов сказал ей:

— Я подумал. Через неделю мы можем с тобой лететь в Сочи. Еще застанем бархатный сезон.

Главный механик выполнил распоряжение Терехова. Он пришел на установку осмотреть коллектор. Но, осмотрев коллектор, он объявил, что заменять его не надо. Так он понял Терехова.

— О смене коллектора не может быть и речи! Забудьте думать! — сказал он.

— Коллектор имеет сильный прогиб,— резко ответил Алексей, хотя решил разговаривать вежливо и спокойно, зная, что на психов, вроде главного механика, это действует сильнее всего. «Впрочем, тут действуют взгляды директора, а не доводы разума»,— подумал Алексей.

— Прогиба нет! — отрезал главный механик.

— Прогиб-то есть,— насмешливо сказал Алексей,— прогиб-то, конечно, есть...

— Нет!

Началась игра «стрижено — брито».

Главный механик был разъярен и орал, что белое — это черное. Алексей был разъярен и молчал. У главного механика была власть, он мог дать злосчастный коллектор, а мог не дать. Он давать и раньше не хотел, а после совещания у директора он знал, что может не давать.

Битва разгоралась в центре операторной, возле железного столика оператора. Главный механик стоял красный, так смотрел, как будто выскивал, что разломать, что расколошматить в куски. Но мебель вокруг была из железа.

«Нервный тип»,— подумал Алексей, успокаиваясь. Когда видишь перед собою такого человека, очень не хочется на него походить.

«Нервный тип» продолжал скандалить, что очень не шло к его красивому лицу, к его ярко-седой пряди волос, к его шеголеватой фигуре молодящегося мужчины.

Казakov ухмылялся. Рыжов сердился и что-то бормотал себе под нос, как в опере, где каждый поет свое и ничего нельзя понять. Кресс разговаривал с дежурным оператором. Митя с осуждением смотрел на своего начальника и пытался что-нибудь придумать, но ничего не придумывалось. Главный механик коллекционировал марки,— а что, если подарить ему альбом с какими-ни-

будь выдающимися марками... Митя предложил пойти посмотреть на коллектор еще раз.

— Ты вообще молчи! — Главный механик считал Митю предателем.

— Коллектор все же разумнее поменять, а не латать старые дыры, все равно рано или поздно придется, — опять сердясь, сказал Алексей.

— А? А? Что? — закричал главный механик, посмотрел на мрачных участников реконструкции, взвизгнул: — Безобразие! — и выскочил из операторной.

Алексей пошел в курилку, закурил и стал смотреть на дорогу.

Мимо медленно шла черноволосая худенькая девушка в спецовке и ташила две железные плетеные корзины с бутылками, сгибаясь под тяжестью своей безобидной на вид ноши. Пробоотборщица. Только что она собрала пробы, поднялась и спустилась по крутой лестнице резервуара с нефтепродуктом и возвращалась в лабораторию. В двух корзинах шестнадцать бутылок. Сейчас выглянуло осеннее солнце, она шла, не пряча лица. Летом ей было тяжело, но не страшно, осенью тяжело, но терпимо, однако и зимой, в морозы и ветры, когда пальцы примерзают к железным перилам, девушка точно так же совершала свой путь.

Когда Алексей был маленьким мальчиком в очках, которые он потом выбросил в Волгу и проводил злым мальчишеским взглядом, он страдал, видя лошадь, надрывающуюся от тяжести. Слезы закипали у него на глазах, он шептал: «Бандиты, бандиты» — о тех, кто не пожалел лошади.

Несправедливость потрясала его, чужая боль была страшнее собственной. «Чувствительный растет мальчик, — говорила Вера Алексеевна, — трудно ему будет в жизни». Но чувствительность прошла, а душевность стала глубже и побуждала к активности.

Завод прекрасен, это верно, но не должно быть девушек-пробоотборщиц, вечно простуженных, больных ревматизмом. На некоторых резервуарах лестницы очень крутые, по ним трудно взбираться и еще труднее спускаться, они находятся под углом в семьдесят градусов. Мерцающая серебряная емкость, огромная и легкая, такая красивая издали, может быть коварной и роковой для того, кто к ней приблизился. Бывают случаи, когда

пробоотборщица срывается и падает. Пытаясь задержать падение, она хватается рукой за скобы, крепящие лестницу, за острые железные угольники. Это судорожное движение может стоить пальца. Искалеченная рука девушки — страшная плата за экономию металла. Завод прекрасен, но он не должен иметь таких крутых лестниц.

Алексей бросил папиросу и вернулся в цех, не успокоившись. Резко сказал Мите:

— Надо менять коллектор, нечего дурака валять.

Митя смолчал, решив, что Алексей сердится на него за упавшие короба. Он еще никогда не видел инженера Изотова таким разгневанным.

Главный механик еще в течение двух дней кричал, что коллектор менять не надо, коллектор менять рано, его негде взять, надо заказывать, запасного нет, этот коллектор не простой, этот коллектор золотой, и вообще мы с вашей реконструкцией вылетим в трубу. И коллектора не дал. Он хорошо запомнил совещание у директора.

Ничего не оставалось, как ставить опоры. Надо было заново закрепить короба, снять с Митиной души грех. И снова пускать установку.

Результаты совещания у Терехова сказались не только в том, что главный механик отказал в новом коллекторе. Начались и другие неприятности. В совнархоз было послано письмо, подписанное несколькими рабочими и составленное неким инженером по фамилии Лямин. Алексей и Казаков в этом письме обвинялись в том, что они проводят неправильную техническую политику. Основанием для обвинения был огромный расход катализатора. Лямин считал себя специалистом по каталитическому крекингу и уже давно бесился, что его не взяли в компанию и реконструкцию проводили без него. Но он до времени молчал. Тень неудовольствия, промелькнувшая на лице Терехова во время совещания, послужила для него знаком.

Лямина Алексей раньше не знал, но слышал о нем много. А теперь Лямин стал появляться в операторной каталитического крекинга, хотя ему тут абсолютно нечего было делать. Здоровался и с улыбочкой смотрел, как Алексей проверяет показатели во время пуска установки. Пуск — дело длительное, шесть вахт пускают установку.

Глядя на Лямина, Алексей поражался бессмысленной злобности этого человека. Кстати, теперь он стал попадаться Алексею на глаза буквально всюду: на дороге, в столовой, на почте, даже в галантерейном магазине, куда Алексей зашел купить носки.

У Алексея выработалось отношение к Лямину, как к черной кошке. Перебежал дорогу, встретился,— значит, в цехе неприятные новости.

Впрочем, неприятностей хватало без Лямина.

У Лямина была маленькая круглая голова, черные, как будто мокрые, волосы и рот с очень красными губами, которые он все время облизывал, высовывая кончик языка. Казалось, он ловит языком мух. К тому же у него был нервный тик.

Лидия Сергеевна пыталась рассказать Алексею историю этого человека. У Лидии Сергеевны выходило, что Лямин настоящий классический злодей, душа у него черного цвета. Сжил со свету двух жен, бьет мать и сестру, на заводе переходит из цеха в цех: всем гадит. Самое смешное, что здравомыслящий Казаков тоже говорил: «Сук-кин сын, держись от него подальше».

Механик Митя был одним из первых, кто примкнул к реконструкции. Он занимался приемкой оборудования вместе с Алексеем, готовил запчасти, не вылезал из мастерской и очень волновался.

У Мити было трудное положение, потому что он был механик, ремонтник, несчастный человек. Он был помощником главного механика, а не главным механиком. И на Митю сыпались шишки с двух сторон — и от главного механика и от цеха. Он не вылезал из неприятностей, но он их не боялся.

— У меня своя логика,— говорил Митя,— своя принципиальность.

Он считал, что реконструкция даст большой эффект, и ради этого готов был страдать.

Каждый вечер Митя рассказывал своей жене Наде о делах. Больше всего она любила слушать про его отношения с Рыжовым.

— Ну, как твой Рыжов? Был у тебя сегодня с ним конфликт? — спрашивала она.

— Был. Он мне говорит насчет проводов и шлангов: «Ты, по-моему, подсунул нам какую-то гадость». Я гово-

рю: «Что у меня было, то я и дал». А он мне: «Ты такой же делаешься, как твой начальник».

— А ты что?

— А я ничего. Посмотрел с презрением и смолчал. Ему, наверно, стыдно стало. Он говорит: «Ладно, я распоряжусь, чтобы отмеряли шланги и отрезали нашу часть». А я говорю: «Только, ради бога, не партизанничайте». Потому что Рыжов, знаешь, он не только свою часть отрежет, а раза в четыре больше прихватит. Он в деле только одну сторону видит, свою собственную, одного цеха, а всего завода не чувствует.

— А ты чувствуешь? — спросила Надя.

— Да! — горячо ответил Митя. — Поэтому я так за эту реконструкцию крекинга переживаю. Подумаешь, неудачи. Без неудач удач не бывает.

Мите было присуще живое ощущение величественности задачи, которое у других притуплялось повседневными заботами, мелкими нехватками и вечной спешкой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В гостиницу к Алексею пришел Малинин с женой — приглашать в гости. Калисфения жеманно поздоровалась и села на стуле прямо, положила руки на колени. Она была хорошенькая, молодая, с ярко-синими глазами, с лицом и повадками скандалистки. Малинин тоже сел, поругал погоду и, оглянувшись на жену, заговорил о печи, которая в реконструкции каталитического крекинга интересовала его больше всего.

У Малинина было виноватое лицо, он страдал, что затрудняет Алексея и заставляет скучать Калю.

Каля молча слушала. Потом вдруг встала, одернула на себе красное шерстяное платье с вышитыми карманами, откашлялась и сказала:

— Интересные вы какие.

— Калечка, — замирающим голосом позвал Малинин. Алексей рассмеялся.

— А что случилось?

— Первый раз встречаюсь с таким случаем, — не посмотрев на мужа, продолжала Каля. — Других забот у вас нет, ему одно и то же без конца объяснять. А он и рад, расселся тут.

— Что городишь, что городишь...— проговорил Малинин и обнял Калю за плечи.— Идем лучше. Пригласи Алексея Кондратьевича к нам в гости на завтра и идем.

— Я-то приглашу,— ответила Каля,— очень даже приглашу. А ты опять будешь про насосы и про печки говорить, мучить человека, помрачение мозгов устранивать.

— Не пугай,— благодушно усмехнулся Малинин. Он прощал жене ее скандальные выходки.— Мама моя будет очень рада. Да и она,— Малинин показал на жену,— хочет вас пригласить.

— А я и приглашаю,— упрямо сказала Каля.— А правду говорить мне никто запретить не может.

— Извините нас, Алексей Кондратьевич. У нас характер неважный. До свидания. Мы вас завтра ждем к себе, значит.

«Тебя ничто не сокрушит,— подумал Алексей,— даже злая жена тебе не страшна».

Мать Малинина, высокая седая старуха, до бровей повязанная белым платком, похожая на цыганку, с низким голосом и блестящими, черными, насмешливыми глазами, рассказывала Алексею о том, как она работала свиначкой на Дальнем Востоке, куда поехала на два года по вербовке.

— Сын женился, свадьбу ему справила, завербовалась и уехала. Все же больше пользы принесу, чем с невесткой лаяться. Правильно, сынок? — спросила она Малинина.

Тот ответил серьезно:

— С одной стороны.

— Я, когда завербоваться решила, с братом пришла советоваться. А он мне говорит: «Я тебе не советую, не рассоветую. Ты нонче из сундука, завтра из сундука, в сундуке ведь дно есть». Глупый ты, думаю, в моем сундуке уже давно только дно и есть. Я говорю: «Фу, и поеду, помру — поплачешь ведь». И решила и не жалею.

Малинин погладил морщинистую темную руку матери.

— Кушайте, кушайте лучше,— сказала мать Малинина.— Каля, еще грибочков гостю подложи. Эти грибы на базаре не все берут, а я всегда беру. Чистый гриб, не червивый.

Алексея угощали ватрушками, котлетами, квашеной капустой, жареными грибами, пирогами.

— Тогда пирога с картошкой попробуйте — самый хороший пирог. И выпьем по рюмочке. Сын, наливай.

Малинин с улыбкой посмотрел на мать и налил рюмки.

— Ну, сыновья,— старуха посмотрела на сына и на Алексея,— за ваш труд.

Старуха чокнулась с Алексеем, и Каля, раскрасневшаяся, в шелковом платье, с завитыми волосами, тоже со всеми чокнулась. Было видно, что Каля решила этот вечер держать себя как можно лучше.

Она все время повторяла:

— Кушайте лучше, пейте больше.

Старуха рассказывала:

— Нас было четыре подсобницы. Мы сделали себе одинаковые ситцевые татьянки. Идем как инкубаторки. Люди на нас смотрят. Интересная жизнь была у нас на Южном Сахалине.

«Вон куда тебя, старую, носило»,— подумал Алексей.

— В одно прекрасное время директор мне говорит: «Завтра, Мария, будем свиной принимать». Я молчу, соглашаюсь. Ладно. Приняла я свиной. Дали мне свинарник на горе. И я со свиньями одна. Целый день в кормоварке варю, стужу, кормлю свиношек. Там крупа гаолян была, похожа на гречку, но не гречка. Свиньи ее любили. Одна свиноматка у меня, Волга, такая капризная была. Однажды я пошла на выходной. Меня заменила свинарка, тоже Мария, Маша. Я ее предупредила, что Волга капризная. А эта Мария стала Волгу кормить, принесла поросят и на Волгу закричала. Волга ее за ноги и схватила. Поросята маленькие, как дожжик. А Волга, как тигр, кидается на всех и никого не пускает. За мной поехали. «Твоя Волга всех грызет, и поросят не дает, и шайку не дает брать». Со свиньей не сладятся. Я той Марии говорю: «Я, Маша, тебе предупреждение давала — потише с ней, поласковее». Сама открываю дверь: «Волга, милая, да ты что? Что, милая? Тебя обидели,

моя милая?» А Волга ко мне прямо встала и рассказывает, и рассказывает, не знает, как ей жаловаться. И жалуются.

— Кушайте лучше, пейте больше, — сказала Каля.

— Мама, вы расскажите, какие вы записки начальнику писали, — сказал, смеясь, Малинин.

— Записки обыкновенные. Сейчас расскажу. Было это сразу после октябрьских. Корма у нас были сочные, в ямах зарыты, но по ту сторону реки, а мы по эту. Я наказываю, требую, чтоб корма дали. Кормов не везут. Директор подсобного хозяйства все, говорят, пьяный. Ага, они там пьют, я заливаюсь, плачу, к свиньям хоть не ходи. Скот хочет кушать, скотину жалко, не показываешься ей прямо на глаза. Я сажусь, пишу записку. Вы, мол, откройте глаза, вы все никак с рюмочкой не расстанетесь. И матом как заверну. Вам праздники. Вы все чеканитесь. А у меня все пропадет. В честь чего у меня свиньи худеть будут из-за вашего пьянства? Возчику записку отдала. Рассказывали мне, директор прочитал, сидит, улыбается. Огороднице дал почитать. На другой день и постилка, и корма сочные, и селедка нам списана. Дня три возили. А директор глаз не кажет. Я к нему пошла и стою у порожка в конторе, поздравствовалась. Он мне: «Мария, проходи, садись». Я иду, как будто вроде виновата. «Как дела?» — спрашивает директор. «Все у меня хорошо. Накормили. Утеплили. Только жду милицию». Директор: «А за что?» Я говорю: «За хулиганские письма». А он смеется. Да, любила я свинюшек. Выйду, покричу — они со всех сторон ко мне, беленькие, как дождик.

— Маму за ее дела орденом наградили, — сказал Малинин.

— Больше ни слова, ни полслова не скажу, — старуха засмеялась, — а то гость уйдет, и меня потом дети прорабатывать начнут. Скажут, что я как комар «кум-кум». Знаете, как комары бундят? Как кумовья, их кумовьями и зовут. Кум-кум-кум.

— Когда я так говорил про вас, мама? — спросил Малинин. — Хоть когда?

Сыновняя почтительность была приятна старухе. Она сказала:

— В кого у меня сын такой солидный, даже не понимаю. Я всегда цыганка была, меня чернавкой звали, муж

покойный тоже смугловатый был, а сын вон чуть не рыжий.

— Он не рыжий,— вставила Каля со своей обычной запальчивостью,— вы рыжих не видали.

— Ну, выпьем за успех реконструкции,— сказал Малинин.

Наконец установка стала работать вдвое производительнее, чем в тот день, когда Алексей вместе с Казаковым и маленьким Крессом впервые остановился перед щитом приборов.

И вдруг товарищи Алексея, работники установки и сам Алексей ощутили неожиданное и непонятное даже ликование. Непонятное потому, что все относились к этой затянувшейся работе как к чему-то совершенно обыденному. Слово «реконструкция» не было праздничным, но, когда она стала видимой, когда цифра, показывающая, сколько установка берет теперь сырья, стала популярной, повторяемой в цехе, в дирекции, в других цехах, вдруг почувствовалась в воздухе удача, успех, завершение труда.

В операторную приходили какие-то женщины, рабочие из других цехов, спрашивали: «Сколько?» Узнав сколько, восклицали: «Ого! Поздравляем!» — и уходили. Митя забежал, смотрел «сколько». Зашел Баженов, спросил «сколько». Главный технолог привел зарубежную делегацию. Обычно на каталитический крекинг иностранцев водили только на этажерку, показать завод с высоты, а тут привели в операторную. Работники цеха, даже те, кто ворчал, сидя несколько месяцев на одной тарифной ставке, без премии, гордились и радовались.

Дело сделано. Достигнута самая высокая в стране производительность каталитического крекинга такого типа, как этот. Алексея поздравляли, он ходил, улыбался и удивлялся тому, что результат оказался таким праздничным. Рыжов говорил: «Надо выпить по такому случаю». Митя оттопыривал губы и всем длинно рассказывал, какие были ошибки, как Алексей Кондратьевич пленился коварной картинкой с вводом сырья и как он сам опростоволосился с коробами. Сейчас все выглядело смешно и легко. Малинин сиял и думал про себя, что еще он сделал бы. У него был готов обширный план, но он

пока помалкивал, только говорил Алексею: «Оставайтесь у нас, у нас лучше».

Кресса не было видно, он был из тех людей, которые, когда все хорошо, исчезают.

Казаков потирал руки, острил, подолгу сидел в цехе, наслаждаясь победой, и тоже говорил: «Надо отметить».

И еще раз пришлось пойти к Терехову. И еще раз Алексей пошел. Слишком значительно было дело, которое он делал, и близки стали люди, в нем участвовавшие. Надо было доложить о завершении реконструкции, о результатах.

Терехов разговаривал по селектору. Перед ним на стуле сидела женщина, мяла в руках кружевной платочек.

Терехов кивнул Алексею, сам продолжал разговор по селектору. Сказал кому-то:

— Давай пятую марку.

Кто-то ответил:

— Я буду стараться.

— Старайся, а то я тебе план переменю,— засмеялся Терехов и выключился, передвинул рычажок на щитке, обратился к женщине: — Еще что?

— Значит, чехлы в больницу, формочки для наших сестер,— плачущим голосом стала перечислять женщина.

Терехов подписал листок, который женщина ловким движением подхватила со стола.

— Приеду в больницу, если не увижу...— пригрозил Терехов.

— Да что вы, Андрей Николаевич! А остальное, значит, нет? — спросила женщина.

— Нет! Вы, в детской больнице, им лучше костюмчики купите, оденьте детей, а пыль в глаза нечего пускать.

Женщина ушла. Терехов вздохнул, сказал в пространство:

— Все тянут деньги, это ужас.

Прятал глаза, не смотрел на Алексея.

На селекторе зажглась лампочка. Терехов сказал в микрофон:

— Прачечная стоила около миллиона, я требую, чтобы операторы являлись в выстиранных свежих комбинезонах.

И выключил микрофон.

Вошел Казаков, пожаловался на затяжку с факелом.

— А у тебя бриз, мой дорогой. Ты можешь этим бризом...

— С факелом надо им пообещать,— сказал Казаков насмешливо.

— Пообещай,— сказал Терехов и обратился одновременно к Алексею и Казакову: — Слушаю.

Алексей сказал коротко, что все в порядке, производительность одной установки каталитического крекинга повышена вдвое. Надо премировать коллектив цеха и довести результаты реконструкции до сведения всего завода. Казаков предложил созвать всех старших операторов, то есть людей, которых это непосредственно касается. И созвать техническое совещание.

Терехов поднялся, стал говорить стоя.

— Нет! Не так! Открытое партийное собрание. Собрать всех рабочих, чтобы знали. Устроить заседание научного общества совместно с представителями московского института, то есть с товарищем Изотовым. Дать сообщение в газету. А материальное поощрение — это уже дело второстепенное. Важно, чтобы знали рабочие и инженеры, потому что мы будем перестраивать и другие установки. Надо, чтобы знали все.

Алексей хотел одного: закрепить результаты и по примеру этой установки переделать остальные. У него была инженерная задача. Терехов хотел громкой победы. Эта реконструкция велась не по указанию сверху, она была проявлением инициативы, родилась в недрах цеха, пусть об этом узнают, говорил он. Борьба за повышение производительности — величайшая наша задача, говорил он.

Еще недавно он готов был пустить реконструкцию под откос, а сейчас он возглавлял успех, он создавал его для завода, для себя и... для инженера Изотова.

Договорились о докладе Алексея в нефтяном институте, о заседании научного общества, о выступлении на общем собрании.

Алексей настоял на премировании работников цеха.

Казаков молчал, он знал, что директор большой мастер устраивать помпу, производить шум. Своего не упустит.

— Реализуем успех,— провозгласил Терехов, прощаясь. Он поздравил Алексея.

— Вот в чем разница между вами,— сказал Алексею Казаков, когда они вышли из кабинета,— ты создаешь успех, а он его реализует. Он даже тебя заставил выступить глашатаем своих достижений.

— Да? Ты так думаешь? — усмехнулся Алексей и жадно затянулся папиросой. Он выполнил долг перед товарищами и держался до конца. Но что Терехов, идиот, что ли: неужели он думал, что рукопожатием они поставят точку на всем, не только на реконструкции? Пусть благодарит бога, что у Алексея хватало выдержки и самообладания на всю эту историю. Терехов проявил обыкновенный цинизм человека, привыкшего считать, что ему все можно, все позволено. Неужели Тася любит его? Алексей ненавидел Терехова!..

На кожаном диване в приемной, как всегда, развалились шоферы.

— ...Генерал на Черное море — я за ним, генерал на Украину — я за ним, генерал на Карелию — я за ним...

— Потихе нельзя? — сказала секретарша шоферам.

Казаков, сделав Алексею знак, чтобы он задержался, припал к телефону своим грузным телом и загудел в трубку:

— Нужна крытая машина для катализатора. Крытая машина для катализатора — это культурная работа. Это и есть твоя автоматизация. Что ты выгадываешь? Тонну катализатора ты наверняка иначе потеряешь, просыпешь и угробишь.

Закончив темпераментный инструктаж по телефону, Казаков медвежьей походкой подошел к Алексею, обнял его за плечи и вышел с ним из приемной, провожаемый взглядами шоферов.

— Послезавтра — суббота, вечером соберемся, отметим,— сказал Казаков.

Алексей полез в пиджак, вынул деньги и телеграмму. Его вызывали в Москву, в институт.

— Завтра надо собраться,— сказал он,— послезавтра я уезжаю. Я потому так спокойно слушал Терехова и соглашался на все эти выступления и помпу, что знал — послезавтра вечером меня уже здесь не будет. А завтра мы выпьем за наш несчастный каталитический крекинг и за тех, кто с ним помучился,

И Алексей сунул приятелю все деньги, которые у него были.

— Из цеха всех позовем, кто участие принимал.

— Дорогой, не учи меня, — ответил Казаков.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Решили собраться в гостинице.

Лидия Сергеевна обещала прийти помочь, распорядиться насчет вечера.

Клавдия Ивановна подвела Алексея к окну.

— Досточка хорошая здесь была, на ней сидели, в домино играли, лавочка такая. Кому-то помешала, унес-ли. Ну что ты скажешь!

Раздался звонок, Клавдия Ивановна поспешила в прихожую. Хлопнула дверь. Когда она вернулась в гостиную, ее совиные, нелепые глаза смотрели сурово. Она молчала. Потом доверчиво посмотрела на Алексея и сказала:

— Приходила моя сестра. Не прощаю ее.

Клавдия Ивановна опять помолчала, словно сомневаясь, имеет ли она право говорить о таком своем, сокровенном с Алексеем, приедем человеком, столичным, государственным, какими были в ее представлении все командированные в этой гостинице.

Алексей спросил:

— А что она?

— Уж такая худая, из плохих плохая. Скажите мне, Алексей Кондратьевич, почему так получилось? Может быть, из-за детства нашего. Как мы росли? Мама болела, отец с горя гулял. Может быть, через это она такая стала?

— Вы ведь не стали.

— Нечего обо мне говорить. Я справедливость чувствую. С сил вон тяжело глядеть на детишек у такой матери, Алексей Кондратьевич. Детство никто им обратно не отдаст, уж вырастут без детства. Самое что есть у человека невинное и без забот — это детство. Вчера я проходила мимо их дома. Они что-то сидят, так унывно гудят на окошечке. Бурлят что-то.

— Это вам, наверно, показалось, что они такие несчастные.

— Не-е-ет, Алексей Кондратьевич, не показалось мне ничего. Ответьте мне, почему ее в милицию не забирают, паразитку?

Клавдия Ивановна постеснялась продолжать, сдержала бранные слова. Только повторила:

— Не прощаю ее.

Алексей увидел из окна, что идет Лидия Сергеевна. Она остановилась перед подъездом и вымыла в луже ботики. К луже сразу подошли еще две женщины и тоже стали мыть ботики.

Клавдия Ивановна, взглянув на эту картину, похвалила:

— Чистоплотные. Мы с детства детей к этому приучаем.

К вечеру стол был накрыт, лежали приборы, накрашенные салфетки.

Алексей сунулся на кухню, увидел там Аню Казакову; она махнула ему рукой, чтобы убирался.

Он решил пойти на почту, позвонить в Москву. В своих частых разъездах ему необходимо было знать, что дома все в порядке.

Отца дома не было, а мать и «скандалисты» поздравляли Алексея, интересовались подробностями, что-то кричали веселое, выхватывая друг у друга телефонную трубку. Родной дом, где всегда радовались преувеличенно, а горе неумело скрывали.

Когда Алексей вернулся в гостиницу, гости почти все собрались, за исключением Терехова и Баженова. «Будем надеяться, что Терехов не приедет, — думал Алексей. — У него хватит ума не являться сюда. Но будет жаль, если не приедет Баженов».

С праздничным видом слонялись по комнатам Митя в белой рубашке, в новом костюме, разморенный ожиданием Рыжов, показывающий, что все-таки он начальник цеха, маленький тихий Кресс, который никогда никуда не ходил, а тут пришел.

Малинин даже сейчас изредка взглядывал на часы. Это была хорошо знакомая Алексею привычка ценить, жалеть время, которое проходит, уходит, которое преступно упускать, если хочешь сделать что-то. Так при-

ходится жить одержимым людям, вечно спеша, недосыпая, недоедая, теряя дорогих людей.

Сели за стол, решив не ждать Терехова и Баженова. Алексей настоял на этом, был уверен, что Терехов не придет. Пусть реализует успех, как ему вздумается, но здесь он лишний. А Баженов если придет, то не обидится, что сели без него.

Выпили за тех, кто сейчас несет вахту в цехе, потом выпили за установку и пили за нее весь вечер. Чтобы работала на нынешней цифре, чтобы так держать.

Вначале говорили только об этом. Вспомнили и ошибку Алексея, и несчастные короба, и горы катализатора, и недоверие к реконструкции.

Митя подошел к телефону, позвонил на завод, в операторную, узнал, как обстоят дела. Цифра не спускалась, колебалась в незначительных пределах, даже поднималась. Все закричали «ура!».

«Радуюсь, как будто не мы это сделали»,— подумал Алексей и тоже крикнул «ура!». И даже поднялся со своего места, подошел к Рыжову и поздравил его. Почему именно Рыжова? Тот особенно сиял, совершенно забыв, как недавно кряхтел: «Ох, реконструкция!»

Пришли Терехов и Баженов после банкета.

Терехов был слегка навеселе и держался сверхпросто. Все-таки явился, показал демократичность, поздравил присутствующих, на мгновение послышались начальнические нотки в голосе, но тут же исчезли — с бокалом в мясистой сильной руке стоял, улыбался рубахапарень.

Зашел разговор о пожарах. Недавно произошел нелепый и трагический случай. Человек вошел на стройке в помещение, где было темно, чиркнул спичкой и погиб от взрыва скопившихся газов.

— Бывает, раз в жизни и аршин стреляет,— сказал Рыжов, и Алексей вспомнил рассказы операторов о хребости этого старого сгонщика.

Старик Скамейкин, который уже слегка опьянел,— он был все в тех же, только начищенных, сапогах и в длинном широком пиджаке — сказал:

— А как же, бывает, аршин стреляет.— И, глядя на Рыжова хитрыми, веселыми стариковскими глазами, протянул рюмку чокнуться с ним. Рыжов важно чокнулся со Скамейкиным.

Терехов подливал Лидии Сергеевне вино и смотрел на нее одобрительно. А Лидия Сергеевна краснела и краснела, потом поднялась со стула и, глядя на Терехова, ни с того ни с сего крикнула, как кричат на собраниях из рядов:

— Барин! Генерал!

Терехов засмеялся:

— Лидия Сергеевна, дорогая!

Лидия Сергеевна села с видом человека, исполнившего свой долг, ответила спокойно:

— Вы и есть барин, барин и генерал. Я должна была вам это сказать в порядке критики.

Терехов расхохотался. Все улыбались. Лидию Сергеевну на заводе любили, и то, что она сказала директору, всем понравилось.

— А что,— с вызовом сказала Лидия Сергеевна,— я не отрицаю, Андрей Николаевич директор хоть куда. Импозантная фигура во главе завода — это неплохо. Но чересчур важен. Не могли бы вы обращаться с нами, простыми смертными, попроще? А то мои девочки в лаборатории ваше имя шепотом произносят. Неужели вам, коммунисту, лестно?

— Разве я такой важный? — со смехом спросил Терехов.

Лидия Сергеевна громко продолжала:

— Вот у меня в Баку директор был, сквернослов ужасный. Ругался прямо-таки матом. Вообще был грубоватый человек, но добрый и простой. У нас на заводе все его любили. Мы каждое утро, как положено, собирались у него на оперативках. Помню, однажды шла оперативка, а меня он не видел из-за огромного фикуса, который стоял у него в кабинете. Решил, что женщин на оперативке нет. И за что-то там ругнулся, да как! Я сжалась, притаилась, а когда выходили из кабинета, он меня увидел. Выбежал к секретарю, заорал: «Убрать эти цветы к чертовой матери!»

Лидия Сергеевна оглядела стол, посмотрела, слушают ли ее. Ее слушали.

— Между прочим, он ругался, а это не задевало и не оскорбляло человеческого достоинства,— со значением сказала Лидия Сергеевна. Она повернула к Терехову красивое лицо и улыбнулась.—Понятно?

— Такая тонкая притча и такая тонкая критика...— Терехов развел руками и сощурил глаза.— Тяжела ты, шапка Мономаха!

— А что? — насмешливо спросила Лидия Сергеевна.— Правда, хорошо, что нефтяную академию закрыли, а то меня за критику начальства теперь бы туда рекомендовали годика на два поучиться. Правда, Виктор Михайлович? — обратилась она к Баженову.

Баженов ответил:

— Что вы, Лидия Сергеевна! Я бы первый протестовал. Мы вас в обиду не дадим.

— У нас начальником лаборатории до меня был один товарищ,— продолжала Лидия Сергеевна, улыбаясь.— Была у него одна особенность — он записывал, что люди говорят. Каждый раз, когда я его ругала, он записывал в записную книжку. Записывал, как я его на оперативке назвала, что про него на партийном собрании сказала. Один раз я его назвала растяпой или раззявой. Он записал. А потом, помню, товарищ Баженов ему сказал: «Ты неспособный и ленивый, не можешь работать начальником лаборатории и можешь это записать в своих записках».

— А я боялся, что он запишет и перечислит, как я его назвал,— засмеялся Казаков.

Смеялся Кресс, переводил блестящие глаза с одного на другого, и на его лице было написано: «Какие вы все молодцы!»

Алексей протянул к нему рюмку:

— За вас!

«Вот обида,— подумал Алексей, глядя на Кресса,— нет во мне восточного этого умения произносить тосты. А уж он не знаю каких тостов заслужил...» Он обнял маленького инженера.

Лидия Сергеевна крикнула:

— Хочу выпить за человека, которого мы полюбили. За нашего заводского Алексея Кондратьевича! За его талант!

— Чтобы не уезжал в Москву, оставайтесь у нас,— сказал Калинин.

— За товарища Изотова,— сказал своим грубым голосом Рыжов.— Он своего добился. И нам неплохо. Жаль расставаться, от сердца говорю.

Алексей был смущен и повторял:

— Спасибо, друзья, спасибо. Я за вас!

И ходил со всеми обнимался.

— А мы за тебя! — кричал Казаков.

— Товарищ Изотов для завода много сделал, — сказал Терехов, полагая, видимо, что он должен это сказать, — выпьем за это.

Он произнес этот тост, понимая хорошо, что Алексей уезжает и что больше они, бог даст, не встретятся. Для Терехова все было кончено и перечеркнуто. Завершена реконструкция. Требовался тост, и он его произнес.

— Дорогие друзья, не умею говорить за столом, всегда об этом жалел. За дружбу не благодарят, сами знаете. То, что мы с вами сделали, — сделали. Поэтому за вас выпьем.

— А я вот еще что хочу сказать, — заговорил Баженов, — вот что. Мы сейчас с Андреем Николаевичем сюда с банкета пришли. Принимали делегацию, гостей из разных городов, за гостей тосты поднимали. А здесь мы сидим вроде бы у самих себя в гостях. Это наш праздник, и тосты за нас. И победа это наша. И победа немалая. Выпьем за нее!

— За самих себя как будто и неудобно пить да уж приходится. Пей, Скамейкин, — сказал Рыжов весело.

— Я за тебя, Алексей Кондратьевич, тоже выпью, — продолжал Баженов. — Мы с тобой давно знакомы. Хочу пожелать тебе: не сиди в Москве, в институте. Там тебе простору мало. Ты не кабинетный человек, тебе пошире поле деятельности надо. Бери себе опять завод хороший...

— А на самом деле, Леша, что ты дальше делать собираешься? — спросил Казаков. — Какие планы у тебя?

— Да предлагают мне главным инженером на хороший завод...

— Так чего ты думаешь?

— Я не думаю, я отказался.

— Значит, не хочешь свой кабинет иметь? Значит, опять в чужой приемной сидеть будешь на диване с шоферами и ждать?

— Опять буду, — весело ответил Алексей.

Терехов сдержанно попрощался и ушел. Он был здесь лишний, его подчиненные подчеркнуто чувствовали инженера Изотова. Что-то он проиграл во всей этой истории с Изотовым, он чувствовал, но что — не понимал и не хотел понимать. Он был из тех людей, которые отмечают неприятное.

Казакон, его старый приятель, перестал с ним встречаться вне завода и играть в преферанс тоже из-за этого Изотова. Хорошо, что сегодняшняя неприятная встреча была не встречей, а прощанием.

Малинин украдкой посмотрел на часы и поднялся. Алексей громко спросил через стол:

— Удираешь?

Малинин приложил палец к губам.

— Не хочу портить компанию, Алексей Кондратьевич, пойду до дому. У меня ведь экзамены скоро.

— Мы с тобой сдали экзамен.

— Давай, давай не дури, — вмешался Рыжов, — заучишься. А когда жизнью пользоваться будешь?

— Смотря в чем видеть пользование. Кому баба дороже всего, кому рюмочка с бутылочкой. Кто просто так погулять любит, на солнышке полежать брюхом вверх.

— Что вы его слушаете? — закричал Митя. — Все врет, он к своей Кале драгоценной торопится.

— Счастливый человек, если к драгоценной торопится, — сказал Баженов. — Ты, Митя, еще мал, вырастешь — поймешь.

— А вот, Алексей Кондратьевич, ты холостой, Лидия Сергеевна у нас холостая, взяли бы да поженились. А мы бы на свадьбе погуляли, — сказал Рыжов.

— У нас бы тогда остались, по месту жительства одного из супругов, — вставил Малинин.

Все закричали: «Правильно!», а Скамейкин сказал: «Горько».

Лидия Сергеевна нахмурилась, посмотрела на Алексея милыми глазами, притененными рыженькими ресницами, и сказала:

— Нет, друзья, Алексею Кондратьевичу другая нужна, не я. Выпьем за нее.

— Спасибо, Лидия Сергеевна, — негромко сказал Алексей, — наверно, стоит пожалеть, что это не вы.

Сидели еще долго, взрослые, много поработавшие люди, слегка охмелевшие, объединенные радостью свершенного дела.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Неожиданно позвонил Терехов и сказал, что ждет Тасю на улице Горького. Тася думала, что он придет не раньше чем через месяц. По его голосу она поняла, что он весел, чем-то приятно возбужден. В его голосе было ликование, относившееся к самому себе, радость, относившаяся к Тасе, и подъем, опьяненность, которые обычно были связаны с его служебными делами. Какой-нибудь успех или заманчивое предложение плюс коньяк, Москва, гостиница, свобода.

По разговору Тасе показалось, что Терехов был не один. Вероятно, мужская компания, у него было много друзей в Москве.

Не считая того летнего пикника, Тася всегда встречалась с друзьями Терехова, когда они были без жен и о женах и детях в ее присутствии не говорили, как будто их не существовало. Тася не обращала внимания на это, ее это не задевало. «Наплевать». «Наплевать, наплевать», — шептала она, причесываясь перед зеркалом.

Она знала, что изменила себе, но глушила это сознание, как глушат боль наркотиками. Главное — не думать. Сейчас, например, надо было одеться и причесаться по-лучше. Терехов любил, чтобы она хорошо выглядела, он обращал на эти вещи внимание. Он и сам пытался следить за модой. У него не было для этого времени, он явно не поспевал, его пиджаки и брюки были длиннее и шире, чем то диктовали журналы мод, но он смотрел с интересом на франтовато одетых мужчин и спрашивал: «Это что, такая мода? Это что, стилинга?»

Тася была дома одна, отца неделю назад увезли в больницу.

Она позвонила в справочное больницы, ей ответили, как отвечали все дни, что состояние отца прежнее. Это значило, что ему по-прежнему плохо.

— Все будет хорошо, — прошептала Тася, повесив трубку. Чем ей было хуже, тем меньше она верила, что будет хорошо, тем чаще произносила она эти слова.

Когда Терехова не было в Москве, ей начинало казаться, что она больше никогда не увидит его. Она почти не сомневалась, что все кончено. «Все кончено»,— говорила она себе с отчаянием. Потом успокаивала себя, уговаривала: «Он придет». Часто она думала: «Надо кончать. Я должна уйти, порвать».

Если бы она могла, если бы хватило силы ей, ей самой, ведь она считала себя сильной, решительной. Почему сейчас она не могла? «Он придет, он очень занят, он скоро придет»,— успокаивала она себя. Он приезжал теперь реже, чем раньше.

Была весна, самое счастливое время.

Андрей Николаевич ждал ее возле Центрального телеграфа с каким-то низеньким рыжеволосым человеком. Они оживленно и, очевидно, шутливо разговаривали и не заметили приближения Таси. А она остановилась в нескольких шагах от них, чтобы посмотреть на любимое лицо, твердое, смуглое, насмешливо-подвижное, притененное кепкой. Андрей Николаевич повернулся, почувствовав на себе взгляд, сделал энергичный шаг к ней, обнял, поцеловал, не стесняясь товарища, потом познакомил:

— Тасенька, это главный инженер одного завода, Герман Иванович.

Андрей Николаевич держался непринужденно и просто, словно они сегодня утром расстались. Ни о чем не спросил, только подбадривающе пожал ее руку, мол, и ты держись так же, все нормально, все прекрасно, не робей, свои люди, все будет хорошо. Но она не попадала в лад, смущалась и молчала.

— Герман Иванович не простой главный инженер. Я тебе потом расскажу, Тасенька, чем он знаменит. Он знаменит славой Герострата,— шутливо говорил Терехов, и она напряженно улыбалась. Она не любила этого шутливого тона, чувствовала, что шутливостью Терехов бронируется от чего-то. Тася сразу увидела, что сегодня он решительно настроен на роль крупного директора, сановито-добродушного.

Его товарищ продолжал разговор:

— Куда годится, директор сидит у телефона. На мелочи разменивается. Рабочий день у директора должен быть три часа, а остальное время он должен сидеть вза-

перти, читать новинки, книжечки читать, и чтобы никто, боже упаси, ему не мешал.

— А люди? А о людях кто думать будет? — Терехов опять сжал локоть Таси.

— Не наша это задача — строить домики. К тебе не идет на прием восемьдесят — девяносто человек...

— Идут.

— И очень плохо. К моему директору тоже идут. Вот почему директор не в состоянии заниматься технологией. Восьми часов не хватает, надо восемнадцать, потому что директор и главный инженер стараются взять на себя всю ношу. А это и неправильно. Я был в Америке до войны, там на один завод пригласили крупнейшего специалиста на должность главного инженера. Этот мистер приходил на завод два раза в неделю. Ему дали домик, садик с розами и за то, что он сидит у себя, нюхает розы, ему положили приличное жалованье, и только в сложных случаях обращаются за советом. При этом на заводе осваивают новую технику, новые процессы...

— Эх ты, низкопоклонник, — шутливо сказал Андрей Николаевич и погрозил пальцем, — ты это у меня брось! Правда, Тасенька?

Тасенька проговорила что-то невнятное.

— Что же мы стоим, товарищи, идемте, нас ждут.

Тася вопросительно посмотрела на Терехова.

— Недалеко, рядышком, вон в том большом доме. Там несколько старых друзей собрались, боевые ребята, тебе понравятся. У нас, понимаешь, нечто вроде юбилея. Мы решили собраться частным порядком. А квартира эта, — Терехов рассмеялся, — эта, понимаешь, квартира нашего зампреда совета совнархоза. Он теперь, бедняга, у нас живет, а квартира пустует — временно, конечно.

Угадывалось едва заметное злорадство в этом сочувствии. Тася пристально исподлобья посмотрела на Терехова. Он понял ее взгляд и ответил с вызовом, прикрытым все той же шутливостью:

— Я всегда презирал людей, которые цепляются за московские комнаты, сидят здесь, бумаги перебирают, бумаги пишут, и никаким, понимаешь, дьяволом их отсюда не вытолкнешь. А жизни на просторе боятся. Химики, называется!

В большой комнате со следами заброшенности, с рас-

пахнутыми окнами, не уничтожившими зимнего нежного запаха, за столом сидело четверо мужчин. Они шумно и нетерпеливо приветствовали вошедших: «Наконец-то!», «Где вы пропадали?», «Налить всем штрафную!» Здесь пили и веселились мужчины.

Литровая банка с черной икрой стояла в центре стола, на блюде горой лежала привезенная издалека медово-коричневая вобла, бутылки коньяка, водка, сухое вино. Ножи и вилки были положены на подносе навалом, как в столовых самообслуживания.

После недлинной церемонии знакомства, когда Тася особенно почувствовала неуместность своего прихода сюда, Терехов сказал:

— Тасенька, попробуй воблу и икру, ты такой никогда не ела, это Вячеслав Игнатьевич с Эмбы привез.

Вячеслав Игнатьевич, сухощавый человек с бледным добрым лицом, на котором выделялись брови-щетки, ловкими маленькими руками стал выкладывать черную икру из банки на тарелку Тасе.

— Уж ты молчи,— сказал Вячеслав Игнатьевич,— ты молчи.

— Все вы хороши,— сказал очень толстый человек. Он, видимо, изнемогал от жары, хотя в квартире было прохладно. Толстяк сидел без пиджака и все оглядывался на Тасю, как будто никак не мог решить, надо ему надевать пиджак или можно не надевать.

Все за столом казались смущенными, кроме рыжеволосого Германа Ивановича, который пришел вместе с Тасей и Тереховым. Герман Иванович прохаживался вокруг стола, потирал веснушчатые руки и крякал, показывая, что он намерен плотно закусить.

— Я знаете откуда недавно прибыл? — обратился он к Тасе.— Есть такое место — порт Тикси, Париж Арктики. Вот когда поживешь в этом Париже, начинаешь ценить все другие места, в особенности Москву. Да, знаете, Тася... Тася...

— Таисия Ивановна.

— Дай человеку закусить,— сказал Андрей Николаевич.— Тасенька, не слушай его, болтуна.

— Д-да-а,— вздохнул Вячеслав Игнатьевич и пошевелил бровями-щетками,— а все ж таки мой климат зверский, как хотите.

— Ты все плачешься, все плачешься,— сказал толстяк,— тебе хуже всех.

— Нет, тебе хуже,— язвительно сказал Вячеслав Игнатьевич и вздернул брови-щетки.

— У меня точно так же,— закричал толстяк.— Только ты всегда любимчик был в главке, придешь, начинаешь плакать: ах я бедный, ах я отдаленный. А я такой же бедный и такой же отдаленный.

— Ты куркуль, вот ты кто,— сказал Вячеслав Игнатьевич.

Польщенный, как будто ему сказали комплимент, толстяк захохотал. Нахохотавшись, спросил:

— Почему это я куркуль, дорогие товарищи? Интересно знать, а?

Вячеслав Игнатьевич сказал, обращаясь ко всем:

— От он прижимистый. У него и главный механик такой. У него главный механик лопаты на чердаке спрятал и забыл... спрятал и забыл...

Толстяк, довольный, хохотал.

— Конечно, нам приходится прятать да припасать, не то что тебе... Ты поноешь в обкоме, тебе и дадут. Ты такой — одень меня, укрой меня, а усну я сам. А я, товарищи, в таких же условиях нахожусь, только меня никто не жалеет...

— Ты мне скажи, у тебя трава растет? — с каким-то особенным выражением лица проникновенно спросил Вячеслав Игнатьевич.

— Ну, растет,— ответил толстяк, глядя на окружающих так, как будто этот ответ был неслыханным остроумным, и повторил: — Ну, растет.

— Вот то-то, что у тебя трава растет, а у меня не растет,— с печальным торжеством объявил Вячеслав Игнатьевич и рассмеялся, что так ловко посрамил товарища. На самом деле, какое могло быть сравнение, когда в его местах всю траву выжигает, а у толстяка поля и луга вокруг цветут.

Они еще некоторое время препирались — «у тебя трава растет, а у меня не растет» — под дружный смех присутствующих.

— Ты любимчик в главке!

— А ты куркуль, ох куркуль, ты мне какие трубы послал, когда я тебя попросил?

Толстяк победоносно оглядел стол,

— А что же вы думаете, дорогие товарищи, что я хуже себе оставлю, а лучше соседу пошлю, что я такой глупый, по-вашему? Что я идиот? На кого ни доведись...

— Тебя за прижимистость небось с ярославского-то завода и сняли! — Нанеся противнику такой удар, Вячеслав Игнатьевич принялся усиленно потчевать Тасю икрой.

— Его не снимали, а культурно передвинули, — сказал Андрей Николаевич.

Все смеялись, и Тася смеялась, два директора продолжали переругиваться. Герман Иванович принял участие в этом споре, высказавшись в том смысле, что теперь плохо и тому и другому: «совнархоз не главк», «от совнархоза лопаты на чердаке не спрячешь».

Терехов смеялся своим обаятельным мальчишеским смехом, но в споре участия не принимал. Те двое от всего сердца ругали друг друга и хохотали.

Раздался звонок, вошел еще гость, в украинской расшитой рубашке и высоких сапогах, бритоголовый, с дубленным морщинистым лицом, сказал «мое почтение» и остановился в дверях.

— Садись, садись с нами, Дмитрич, — пригласил его толстяк, — выпей, расскажи, что видел.

— Ну, я все обошел, — сообщил вновь пришедший и сел возле толстого директора. — Все как есть.

— Ну и какое твое впечатление? — спросил Терехов и шепнул Тасе: — Это его рабочий-ремонтник, — Терехов кивнул на толстого директора, — он его привез как передовика. Вообще старый хороший рабочий.

— Я так скажу, Никанор Ильич, не лучше нашего. Я все обошел. И как же они чистят трубы? Как при царе Иване. Колпаки сьмают руками, теплообменники сьмают руками.

— Да ну? — Довольный, толстяк покотился со смеху.

— Он на подмосковный завод ездил, по обмену опытом, — негромко пояснил Тасе Терехов.

— Не верите! В этом-то деле я пётрю. — Рабочий постучал себя по лбу. — Вальцовка, правда, у них электрическая.

— Ну и что? — спросил его директор.

— Фасону много, а так-то хуже нашего.

— Чем же?

— Ключи сами делают. Откуют шестигранник, приварят ручку — вот тебе и ключ.

— Да бу-удет тебе...

— Не верите! Видимости очень много. У нас так не особо форсисто, но порядку больше. Верно, Никанор Ильич.

— Вот лесь неприкрытая,— засмеялся Терехов,— а, Дмитрич?

— Не лесь,— с достоинством отозвался Дмитрич,— ничего подобного, Андрей Николаевич. Мне ребята московские говорят: иди выруби прокладку, а я говорю: а я кувалду твою взял бы и закинул. Инструмент — первое дело.

— Митричу штрафную,— сказал его директор.

Дмитрич выпил, закусил парниковым розовым помидором.

— Мы с Митричем скоро тридцать лет вместе на заводах на разных работаем, где только не побывали... Он вот знает, какой я директор...

— Упрямый бамбук! — сказал Вячеслав Игнатьевич, светясь простодушной наигранной улыбкой.— Вот какой ты директор, я знаю, спросите меня.

Ему хотелось продолжать игру. Все дружно засмеялись.

— Но резервы мощности они вскрывают, это надо отдать,— сказал Дмитрич, все продолжая о подмосковном крекинг-заводе,— и автоматикой занимаются, это от них не отымешь.

— У нас сейчас очень много талых вод,— задумчиво сказал толстый директор, обращаясь ко всем и ни к кому.

— Такой сегодня год, уж Урал — ручей, воробей перейдет, а на одиннадцать метров поднималась вода,— поддержал разговор Дмитрич.

Терехов шепнул Тасе:

— Не скучай.

Но она не скучала. Андрей Николаевич был рядом с нею, она не могла скучать, не имела права. А до остальных ей нет дела.

Андрей Николаевич спросил у нее:

— Что новенького в театрах столицы?

— Когда я жил в Сибири, то там приезжающие артисты обязательно считают своим долгом петь про свя-

щенный Байкал,— сказал Никанор Ильич, толстый директор.

— А в Башкирию когда приезжают, исполняют танец с саблями, это уж обязательно, это для Башкирии главный номер,— засмеялся Герман Иванович.

— Я должен быть рядом,— шепнул ей на ухо Терехов,— я люблю тебя.

Тася залилась краской, оглянулась, не слышал ли кто, но за столом шумели и смеялись.

— Ох, интересно у нас там жизнь протекала! — Дмитрич вспоминал строительство завода в Орске.

—...Есть инженер-проектировщик, а есть инженер-копировщик.

— Флаг висит — душа на месте,— сказал Дмитрич, наливая себе стопку водки. Он и его директор пили водку, остальные — вино и коньяк.

— Кто он? — спросила Тася у Терехова, показывая на улыбавшегося курчавого человека.

— Русаков, директор одного института на Урале.

— А тот? — Тася показала глазами на молчаливого гостя.

— А-а,— Терехов засмеялся,— тоже директор одного завода. Знаменит тем, что в любых условиях, в любое время дня и, разумеется, ночи может спать. Может сидя спать, может стоя спать, такой вот парень. Я уверен, что он и сейчас больше спит, нежели бодрствует. Беляев, ты спишь?

Беляев посмотрел на Терехова сонными глазами и спросил неожиданно:

— Споем?

— У него потрясающий голос,— шепнул Терехов.

И началось пение. Беляев высоким сильным голосом пел арии из опер, и все сходились на мнении, что он родился оперным певцом. Дмитрич тоже оказался певцом, действительно прекрасным, пел русские народные песни. У него был небольшой голос, и была в нем неправильность, голос как будто надтреснутый, по-стариковски дребезжащий, но пел Дмитрич приятно, особенно, по-своему, пел с убеждением, что песней все можно высказать: и любовь, и веселье, и тоску.

Однако Беляев со своим серьезным классическим репертуаром оттирал Дмитрича на задний план. Песни Дмитрича трогали только толстого директора и Тасю.

Ей казалось, что такого задушевного пения она никогда не слышала.

Терехов был в восторге от Беляева и восклицал:

— Ну как поет! Ну как поет, подлец! За такое пение...

Не придумав, что можно сделать за такое пение, он махнул мясистой рукой:

— Спой еще, друг, просим, просим!

Все просили, и Беляев продолжал петь арии. Потом стали петь хором, и тоже пели очень долго.

— Убежим,— шепнул Тасе Терехов, потом просительно добавил: — Немного погодя.

Было видно, что ему не хочется уходить от компании. А «убежим» было просто шутливым словом, которое они часто употребляли раньше, когда оно так много значило.

Стали вставать из-за стола, звонить по телефону, и начался тот беспорядок, который бывает, когда гости уже сыты и пьяны, но расходиться не хотят. Кто-то брел на рояле «Подмосковные вечера», кто-то отстукивал сиротливо одним пальцем пьяного «чижика-пыжика». Зашумела вода в ванной, как будто там стали мыться, два директора опять заспорили, но уже им было лень спорить, и они замолчали. Дмитрич похрапывал на диване.

«Директор одного института» Русаков упорно дозванивался кому-то по телефону, уговаривал приехать и улыбался телефонной трубке так же ласково и одобрительно, как только что улыбался Тасе.

— Как я живу без тебя, не понимаю,— произнес громко Терехов, и впервые Тася вдруг остро ощутила пустоту этих слов, овеванных коньячным дыханием.

— Тасенька, что с тобой сегодня? — спросил Андрей Николаевич, и его разгоряченное лицо вдруг стало очень грустным.— Всегда ты улыбаешься, а сегодня... Что с тобой сегодня? Знаешь, когда я думаю о тебе, прежде всего вспоминаю твою улыбку, потом глаза... потом все. Но главное — твою улыбку. Немедленно улыбнись.

Тася знала, что для Терехова она существует выдуманная, легкая, с золотым характером, веселая. «Ты золотая. У тебя золотые волосы и золотой характер». Молодая, безответная. Выдуманная была еще моложе, еще глупее.

«Никогда ничего не попросит, не потребует, не скажет», — восхищался Андрей Николаевич, и она ничего не просила, не требовала и не говорила.

«Спасибо тебе за то, что ты все понимаешь и молчишь», — говорил ей иногда Андрей Николаевич, и слова эти трогали Тасю.

Она любила Андрея Николаевича и хотела только одного — быть с ним рядом. Она призывала на его голову несчастья, чтобы разделить их с ним и облегчить их ему. Мечтала, чтобы его сняли с его грандиозного завода и послали куда-нибудь далеко, в самую глушь, на рядовую работу. Может быть, думала Тася, его жена не захочет поехать с ним, дорожа квартирой, благополучием. Она мечтала о бараке без электрического света, о снежных заносах, о бездорожье. Пусть бы не было еды, крыши над головой, денег, только жить вместе, заботиться о нем, выносить его плохое настроение, помогать ему во всем... Ничего не будет, она понимала. Ничего не может быть.

— Спой твою песенку, — попросил Андрей Николаевич, — тогда я увижу, что ничего не случилось и ты еще любишь меня хоть немножко.

Тася покачала головой.

— Прошу тебя, Тасенька, здесь все нефтяники, им очень понравится твоя песенка.

— Нет, нет.

Тася измученно улыбнулась: «Я тебе одному потом спою!» Песенка была веселая, в ней были такие слова: «Не страшны, не страшны нам пожары, а страшна паника при пожарах». В слове «паника» ударение было на последнем слоге.

Тася вдруг совершенно отчетливо ощутила, что все кончено. Подумала об этом с глубоким отчаянием, но спокойно, потому что это было ее решение, выстраданное и окончательное.

Русаков продолжал звонить по телефону. Он держал перед собой раскрытую растрепанную записную книжку.

Терехов посмеивался, прислушиваясь к его переговорам. Доносились слова: «Возьмите такси, девочки, это близко». Он звал каких-то женщин приехать.

Вскоре раздался звонок. Русаков бросился встречать

гостей. Его переговоры увенчались успехом. Из прихожей доносились смеющиеся женские голоса.

Держа двух женщин под руки, Русаков вернулся в столовую. Тася ожидала, что войдут вульгарные, крикливые, накрашенные женщины с папиросами в зубах. Но вошли две молоденькие женщины, одна с университетским значком на строгом черном платье. Русаков представил их коротко — Люка и Зоя. Люка была брюнетка с темно-синими волосами, заплетенными в тугие косы, у нее был ярко выраженный азиатский тип лица. Она оглядела присутствующих и села на стул прямо, сложив смуглые руки на коленях. Ей могло быть и тридцать и двадцать лет. Вторая, Зоя, была рослая красавица с пышными, высоко причесанными пепельными волосами, с огромными серо-зелеными глазами на нежном, безупречно красивом лице. Сев на стул, она закинула ногу на ногу — у нее были длинные худые ноги — и лениво проговорила:

— Я голодная.

Русаков засуетился, предлагая закуски. Андрей Николаевич протянул Зое банку с остатками икры. Зоя плотно поела и выпила, потом сказала:

— Хочу курить.

Андрей Николаевич вытащил портсигар.

Зоя сперва посмотрела на Терехова, потом на раскрытый портсигар, качнула пушистыми волосами и обратилась к Русакову:

— Принесите мое пальто.

— Слушаюсь, Зочка.

Он принес большое каракулевое пальто, Зоя вынула из кармана сигареты.

— Муж приучил меня курить только эти. Другие не могу.

Русаков очень суетился вокруг Зои, но она явно обратила благосклонное внимание на Терехова. К нему протягивала руку с погасшей сигаретой, ему два раза напомнила о своем муже, находящемся сейчас на Севере, ему предложила с нею выпить. Терехов налил себе рюмку сухого вина, сказал:

— За красивых женщин.

Тася с изумлением смотрела на Терехова. Как он будет вести себя дальше?

Терехов чокнулся с Зоей, сказал: «У нас пьют до

дна». Она ответила: «У нас тоже». До дна пила и вторая гостья, Люка.

Андрей Николаевич налил себе вторую рюмку, до-тронулся до Тасиной руки: «А теперь за тебя, за самую красивую».

Директор-толстяк с Дмитричем ушли до прихода женщин. Вячеслав Игнатьевич тоже откланялся. Гость с голосом оперного певца спал в спальне отсутствующих хозяев квартиры.

Герман Иванович подсел к Люке. Они оживленно и тепло, как старые друзья, стали говорить о магазинах. «Любовь к магазинам сближает»,—с грустной иронией подумала Тася.

Зоя расспрашивала Андрея Николаевича о заводе, о том, есть ли поблизости река.

— Нефтеперерабатывающий завод не может без реки,—отвечал Андрей Николаевич, и в его голосе звучали знакомые Тасе нотки восхищения; когда он говорил о своем заводе. Эту черту Тася особенно любила в Терехове. Какими бы громкими словами ни говорил Андрей Николаевич о заводе или о химической промышленности, его пафос был всегда искренен.

Зоя внимательно и серьезно слушала, что говорил ей Андрей Николаевич, слегка покачивая ногой в узкой туфле. Она производила впечатление немного ленивой, неповоротливой и даже мечтательной женщины. Она то отдавала короткие капризные команды: «хочу курить», «откройте форточку», «быстренько попить», то разговаривала дремотным, ленивым голосом, сидела развалясь, размагниченная, и только по случайным, быстрым, настороженным взглядам, которые она исподтишка бросала на Тасю, было ясно, что она вполне мобилизована, а все это небрежное и ленивое лишь манера держать себя, кокетство.

— Сколько вам лет? — спросил Терехов.

— Двадцать два,—ответила Зоя,—я в семнадцать лет вышла замуж.

— Черт возьми,—с восторгом сказал Русаков.

— Ну хорошо,—сказал Андрей Николаевич тоном, каким продолжают начатый разговор,—ну хорошо, а скажите-ка мне, что у нас завтра за день?

— Не знаю,—ответила Зоя.

— Завтра что? Завтра воскресенье, никто не работает,— продолжал Андрей Николаевич.

— Разве завтра воскресенье? Я даже не знала.— Голос Зои был ленивым и сонным.

— Теперь вы знаете.

— Теперь знаю, ну и что?

— У меня предложение,— весело объявил Андрей Николаевич,— давайте завтра, в этом составе, в Химки.

У Андрея Николаевича было веселое лицо, его веселые глаза смотрели на нее, на Зою, на всех. Он веселился.

— А что нам мешает? — спросил Терехов.— Тасенька, твое мнение.

— В Химки,— протянула Зоя.

— Я из вас самый молодой,— сказал Андрей Николаевич, налил себе рюмку вина и выпил за красоту, ради которой мужчины совершали и будут совершать безумства.

— Надо вызвать такси,— сказал Русаков.

— Придется,— согласился Андрей Николаевич.— А может быть, пешком? Когда я был мальчиком-градуcником, я мог ходить сорок километров в день и не уставал. А теперь из-за машины разучился ходить. Толстеть начал.

— Что такое мальчик-градуcник? — осведомилась Зоя.

— Ну, это длинный рассказ,— он подавил зеvоту.— Хронически не высыпаюсь. А если я выплюсь, я очень добрый и хороший человек.

Тасе показалось, что эту фразу он уже когда-то говорил.

— Тасенька, ты на меня сердисься? — прошептал ей на ухо Терехов.— Ты ревнуешь меня к ней? — он презрительно кивнул в сторону Зои.

— Нет, нет, нет,— прошептала Тася.— Не сержусь, не ревную.

— Ты же у меня умница,— проговорил Терехов. У Таси было такое лицо, Андрею Николаевичу стало жаль ее.— Ну что ты, ну что ты,— с беспокойством повторял он, глядя в ее лицо.

— Ничего, ничего нет.

— Ну и прекрасно,— с облегчением произнес Андрей Николаевич.— Что там с такси? — спросил он Русако-

ва.— Будет, не будет? Вот Москва, честное слово, все здесь сложно.

— Уж и Москва ему не нравится,— лениво проговорила Зоя.

Тася вышла в прихожую, сняла с вешалки пальто, открыла массивную входную дверь, медленно спустилась по лестнице, вышла на улицу Горького.

«Ну вот,— сказала она себе,— теперь конец».

— Тася! — услышала она над собой голос Андрея Николаевича. Он догнал ее.— Что ж ты убежала, как маленькая. Я тебя ищу, ищу.

В его голосе были и тревога, и жалость, и нежность.

— Неужели ты не понимаешь,— медленно проговорила Тася.— Я не убежала. Я совсем ушла.

— Если я виноват...

— Ты не виноват,— тихо, с трудом сказала она.

— Вот вы где, вот вы где спрятались,— слышались голоса.

«Больше не могу, не хочу, все»,— подумала Тася и быстро пошла вперед. Она оглянулась только один раз, последний. Увидела его растерянное, любимое ею лицо, кепка в руке. Рядом с ним огромная Зоя в огромном пальто.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Дома ждали, что Алексей вернется с женой. Готовились и радовались. Но он вернулся один.

Лена все поняла сразу, спросила: «Это конец?» — и постаралась занять Алексея домашними делами. Она говорила, что мать болеет и не лечится, что ей необходимо бросить курить. Рассказывала об очередных неприятностях отца. Еще с детства Алексей помнил эти «папины неприятности», которые грозили ему судом. Сейчас тоже дела шли к суду. Домой Кондратию Ильичу звонил прокурор, и он подолгу разговаривал с ним по телефону. Вешал трубку и кротко сообщал: «Кажется, до суда не дойдет». Иногда говорил наоборот: «Ладно, ладно, на суде разберемся». Это было поистине поразительное спокойствие, выработанное многолетней практикой.

И здоровье тети Нади было неважным. И еще оказалось, что ей нужно зимнее пальто. «Посмотри, в чем она ходит».

Алексей понимал: Лена действовала как хирург, который, дотрагиваясь иглой, пробует омертвевшие ткани. Где обнаружится чувствительность, там живое. Она искала, где живое, и искала правильно.

— Мать необходимо отправить в санаторий, хотя бы насильно,— говорила Лена со своей обычной категоричностью.

Черты старости проступили в родителях за последнее время резко, но уйти на пенсию они не соглашались. В их жизни не было ничего, кроме работы. И эта мысль тоже почему-то была Алексею укором.

Как-то он сказал:

— Я бы очень хотел, чтобы вы оба ушли на пенсию.

— На пенсию — ни за что,— улыбнулся отец.

— Я сдохну без работы,— сказала Вера Алексеевна и закурила.

Вера Алексеевна страдала из-за сына. Он заслуживал счастья. Кто, как не он? Он слишком хорош, благороден, надо быть немного похуже, с горечью думала Вера Алексеевна. Она ничего не говорила ему, а все говорила Лене и плакала, и у нее чаще обычного белело сердце.

«Скандалисты» не сразу заметили, что Тася исчезла из жизни Алексея, а когда поняли, бросились помогать. Тетя Клава и Горик подарили Алексею воспоминания. Маруся уговаривала его начать посещать вместе с нею публичные лекции в городском лектории.

«Скандалисты» не говорили в его присутствии о любви, хотя вообще это была у них популярная тема, а тетя Клава, старенькая, не слишком грамотная Клава, писала роман о любви для современной молодежи.

Алексей видел все, что происходило дома. Самым трудным было молчаливое сострадание отца и матери. Он виноват перед ними за то, что несчастлив.

Поэтому дома он был весел, постоянно оживлен, даже шумлив. Он сидел со «скандалистами», не желая обидеть их, принимал участие в их спорах, играл с ними и с отцом в карты — занятие, которое он терпеть не мог.

Надо было «держаться», как часто говорила Тася.

Удивительно, что он не мог забыть ничего — ни слов ее, ни голоса, ни лица. Хотя делал все, чтобы забыть.

У него появились увлечения, которых раньше не было. То ли ему хотелось демонстрировать перед семьей свою так называемую «интересную жизнь», то ли на самом деле надо было чем-то жизнь заполнять. Он обрабатывал материалы реконструкции, сидел положенные часы в институте, не торопясь возвращался домой, и все равно оказывалось, что есть еще длинный вечер. А кроме того, еще субботы и воскресенья.

Он стал ходить в театр. Начал с шекспировских спектаклей, которые ему давно хотелось посмотреть. И втянулся. Он спрашивал совета у Лены: «Это стоит посмотреть?», и та, истинная москвичка, вечно занятая, ничего не знавшая про театры и спектакли, на всякий случай отвечала: «Стоит».

У Алексея была спутница, милая девушка, которая работала вместе с ним в институте. Звали ее Вероникой. У нее был один недостаток. Она любила говорить: «Все, чего я достигла, я достигла сама, без чьей-нибудь помощи».

Она любила театр и собирала театральные программы. После театра Алексей отвозил ее домой на такси и ни разу не зашел к ней, хотя она приглашала.

«Все, чего я достигла...» Наверно, это было свинство, но ему не хотелось идти к ней и не хотелось гулять с ней по улицам, сидеть в кафе, звать к себе.

— У меня несколько однообразная жизнь, но вполне приятная,— говорил Алексей,— я еще так никогда не жил.

И надевал белоснежную рубашку и тщательно завязывал узкий галстук и никак не мог понять, почему у него галстук все-таки всегда слегка сбивается набок.

— Как твой муж завязывает галстук? Ты не знаешь? — спрашивал он Лену.

В театре удручали антракты. «Антракты должны быть уничтожены совершенно»,— уверял Алексей Веронику. Но она была не согласна. Она любила возражать. «Позвольте с вами не согласиться...— язвительно начинала она.— Антракт — это составная часть спектакля». «Ну что с тобой поделаешь, если ты дура»,— думал Алексей и шел в антракте к буфету и покупал Веронике шоколад,— она его очень любила.

Вскоре у Вероники сделались несчастные глаза, она стала молчаливой и напряженной, надевала туфли на таких высоких каблуках, что с трудом передвигала ноги, и Алексей понял, что надо прекращать совместные посещения театра. Ему было жаль Веронику. И по театрам он прекратил ходить. Надоело.

— Ты когда-нибудь была в Бахрушинском музее? — спросил он Лену.

— Окончательно спятил — ненавижу музеи.

— А я решил заняться самообразованием, — сказал Алексей, но он тоже не любил музеи. Зато он купил лыжи и ботинки, решив, что, как только появится снег, будет бегать на лыжах и таким образом... справится с воскресеньями.

Он много читал. О путешествиях, об исследованиях пещер, о голубом континенте, об охоте на редких зверей. «Увлекательна только правда», — думал он. Было почти легко, он почти перестал вспоминать Тасю. Он стал читать Толстого и уже больше ничего другого не читал.

К домашним Алексей обращался только с шуткой и среди «скандалистов» неожиданно приобрел репутацию остряка. Остряком он не был, но, видно, уж очень любили его «скандалисты», если признали остряком. И никто не спросил его о Тасе.

Алексею бывало неловко, когда в институте он встречался с Вероникой; хотя, разумеется, он не признавался ей в любви. Он только приглашал ее в театр. А она теперь смотрела на него презрительно, и ее нервные губы вздрагивали.

Однажды вечером явилась Валя. Лена после дежурства спала в столовой на диване.

Валя поцеловала Алексея в висок, прошла в столовую и села. У нее было обычное высокомерно-доброжелательное выражение лица, любезная готовность потрепать собеседника по щеке.

— Как поживаешь? — спросил Алексей.

Лена села на диване, протирая заспанные глаза.

— А-а, кого мы видим.

Валя сняла перчатку, подняла руку и показала широкое обручальное кольцо.

Валя рассказывала что-то мелодичным голосом,

ямочки появлялись у нее на щеках, когда она улыбалась, прелестные ямочки.

— А где та блондинка, которую я видела здесь в прошлый раз? — спросила Валя.

— В командировке, — поспешила ответить Лена.

— В какой такой? — спросила Валя ласково.

— В заграничной, — отрезала Лена.

— Мы получили квартиру, — сообщила Валя, — милости прошу на новоселье. Когда Семен Григорьевич вернется из командировки. Не заграничной.

Вале хотелось показать, что такое воспитанная женщина, жена профессора, какой она теперь стала. У нее появились новые манеры — она щурила глаза, потряхивала головой, поощрительно, снисходительно. Лена сразу заметила и спросила:

— Что ты трясешь затылком, у тебя что-нибудь болит?

Валя опять потрясла головой, очень снисходительно. Лена всегда была хамкой.

— Где вы бываете, друзья? — спросила Валя своим невыносимым участливым голосом. — Сейчас в Москве масса интересного.

Алексей думал о Тасе. В прошлый раз, когда приходила Валя, Тася была здесь. Она рассердилась тогда, хотя не сказала ни слова. И ему было приятно, что она рассердилась.

Валя рассказывала:

— ...Получилось совершенно случайно. У меня перегорели пробки, погас свет. Семена Григорьевича уже не было, он уехал в командировку, и я постучалась к соседям. Оказалась милейшая семья. Мать — старуха армянка и сын — астроном, молодой член-корреспондент Академии наук. Очень смешно смотреть, как они вдвоем хозяйничают в огромной квартире. Профессор неженатый. Мамаша учится управлять «Волгой» и разговаривает басом.

Глядя на Валу, Алексей думал, что неискренние люди удобны в общежитии, с ними легко. И с Валею было легко. Она была деловая в том ужасном смысле слова, который означает, что она ничего не делала без выгоды для себя. Зато с выгодой делала очень многое. И это часто выглядело как широта и простота. Порядочных лю-

дей легко обманывать,—ничего удивительного, что ее считали хорошим товарищем. А между тем она была плохим товарищем, но всегда была готова прийти на помощь, понимая, что если сегодня поможет она, завтра помогут ей:

Валя была убеждена, что все люди корыстны, только притворяются иными. Это было простое рассуждение: она такая — значит, и все такие. Изотовы казались другими, но Валя не верила этому.

У нее была старинная мечта войти в безалаберный изотовский дом так, чтобы поразить своим видом всех, прежде всего Ленку. Воображению рисовались различные картины, вплоть до того, что она ссужает Изотовых деньгами, хотя в принципе, разбогатев, Валя не собиралась никому давать денег в долг.

Сейчас, рассказав про астронома и увидев насмешливую улыбку Алексея, Валя покраснела. Но пусть он улыбается сколько хочет, она стала рассказывать про симфонический концерт, где она уже была с мамой астронома.

— Ну-с, как тебе нравится? — спросила Лена, когда Валя вышла в коридор к телефону.

— Она добилась, чего хотела, и она довольна.

Валя попросила Алексея проводить ее. Они вышли на Арбат и пошли по направлению к Киевскому вокзалу через Бородинский мост.

— Люблю ходить пешком,— сказала Валя, которая не любила ходить пешком, но считала это нужным для сохранения фигуры.

Падал легкий снежок и сразу таял, щекотал лицо. Они шли ровным, легким шагом. Алексей засунул руки в карманы и шел, ни о чем не думая, повторял про себя прицепившиеся слова: «круговорот времен». Валя, розовая от быстрой ходьбы, улыбалась, иногда взглядывая на Алексея, и молчала.

— Не устала, Валюша? — спросил он, благодарный за ее молчание, и взял ее под руку.— Хочешь, довезу на такси?

— Не хочу,— улыбнулась Валя.

Они пошли дальше.

Как давно она существует в его жизни, Валя, Валя... Справа светилось молочным светом высотное здание

гостиницы, впереди сверкали огни Кутузовского проспекта.

— Вот здесь я живу,— показала Валя на новый большой желтый дом.

«И здесь живет твой новый знакомый — астроном»,— подумал Алексей с беззлобной усмешкой.

Валя сказала:

— Поднимемся ко мне. Выпьем чайку.

Алексей посмотрел в ее нежное, улыбающееся лицо, подумал: «Какой ты умеешь быть мялой. А что мне терять. Поднимусь».

В просторной квартире было много книг, цветов и мало мебели. Алексею понравилось, он похвалил.

— Да? — небрежно сказала Валя.— Тебе нравится? Я рада.

И усадила Алексея в кресло, а сама стала накрывать на стол. У себя дома это была совсем другая, естественная, приятная и красивая женщина. Алексей с удовольствием следил за ее умелыми и мягкими движениями.

Это была ее особенность. Наедине с мужчиной она становилась обаятельной и умной. Алексей знал это, но забыл.

— А мне без тебя было бы скучно одной весь вечер,— проговорила Валя, и было в ее голосе что-то такое, что Алексею захотелось уйти. Но он не ушел, а закурил и продолжал смотреть на сильные, красивые Валины руки. Она сняла кофту и осталась в блузке без рукавов.

— Тебе идет быть хозяйкой,— сказал Алексей.

— Да? Ты думаешь? — отозвалась Валя.— Раньше тебе это в голову не приходило.

Алексей бросил папиросу, подошел к ней, повернул ее лицо к себе и поцеловал. Валя ответила на его поцелуй, потом высвободилась и сказала с улыбкой:

— Но ведь мы ужинаем.

— Не ужинаем.— Алексей привлек ее к себе.— С чего ты взяла?

Валя не двигалась. Потом она вздохнула и закрыла глаза. «Что я делаю?» — подумал Алексей...

«Да, проще быть не могло»,— думал он потом, глядя на спящую Валу. Полоса света из соседней комнаты падала на ее почти детское в ту минуту лицо. «Надо полагать, что следующим будет астроном. А что же муж?» Ва-

ля открыла глаза, протянула горячую руку, провела по щеке Алексея. «Очаровательная, конечно»,— с презрением и нежностью подумал Алексей, целуя ее руку. Он встал и оделся. Валя молчала. Алексей присел на край постели возле нее.

— Ничего не говори,— прошептала Валя,— молчи.

В этой ситуации она проявила немало такта, надо отдать ей справедливость. Она видела, что он уходит, и не удерживала его, оставалась нежной и спокойной.

— Теперь я вижу, что должна была стать твоей женой. Ты уходишь? Не считай меня дрянью. Тебя бы я любила.

— Не надо, Валюша.— Алексей нагнулся, еще раз поцеловал ее круглое детское лицо.

— Правда, не надо. Отвернись.

Она встала с постели, накинула халат, проводила Алексея в прихожую.

— Когда мы увидимся? — спросила Валя.

— Я позвоню.

Алексей вышел на улицу. Он чувствовал себя отвратительно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Доклад Алексея, его отчет о работе по реконструкции, был готов.

Все это время Алексей звонил на завод и узнавал, как работает установка. Производительность ее не снижалась. Рекордная цифра становилась нормой.

У секретарши на столе Алексей увидел открытки с адресами тех, кто приглашался на его доклад. Он небрежно перебрал открытки и обнаружил, что адрес института, где училась в аспирантуре Тася, не забыт. Она могла узнать о его докладе... Алексей перетасовал открытки, как карты, и положил их на место.

В зале заседаний собралось много народу, даже удивительно, сколько людей интересовалось повышением производительности каталитического крекинга. Атмосфера была скорее торжественная, чем деловая. Доклад Алексея был отчетом о работе завершенной, значительной и удачной, присутствующим нефтяникам это было уже известно. К докладчику подходили, жали руку, за-

ранее поздравляли. Для Алексея это было неожиданно — торжество в пышном зале с высокими окнами и плюшевыми креслами. Пахло мебельным лаком и духами «Красная Москва».

Алексей повесил на стене схемы и чертежи и отошел в дальний угол зала посмотреть, достаточно ли красиво получилось. Он нашел, что зал ожил от его прекрасных, косо висящих чертежей. Уж что-что, а чертежи публике должны были понравиться.

На сцену поднялась Вероника и осторожно поправила чертежи.

Почему-то он решил, что Тася придет. Он ходил между группами, здоровался, перебрасывался словами и искал ее.

Даже когда он поднялся на кафедру и начал говорить, он продолжал поглядывать в зал. Может быть, она все-таки пришла. Но ее не было. В первом ряду сидела Вероника и делала пометки в блокноте. Она слушала внимательно и серьезно. Алексей знал, что после доклада она встанет и задаст какой-нибудь идиотский вопрос, не относящийся к делу.

Алексей хотел добиться, чтобы институт как можно скорее напечатал и утвердил рекомендации по реконструкции каталитического крекинга и разослал их заводам. Он говорил об этом, может быть, больше, чем следовало, бил в одну точку.

Кончив доклад, он сложил свои записки, выпил воды, спустился с кафедры и остановился, чтобы еще раз повторить о распространении опыта реконструкции. В зале уже мелькали улыбки по поводу такой настойчивости.

Он сел в зале и стал слушать, не записывая вопросов, которые ему задавали выступавшие. Запоминал их и тут же в уме отвечал. Он любил в себе эту иногда наступавшую удивительную четкость мыслей и спокойствие. Только что он волновался перед выступлением, а теперь отволновался, успокоился и сейчас знал все — даже вопросы, которые ему зададут.

Профессор Румянцева, покашливая на каждом слове, выступала, как всегда, для того, чтобы показаться перед большой аудиторией, чтобы не забыли, какая она видная фигура в нефтяной науке. И говорила по обык-

новению о том, что было темой ее давно защищенной диссертации. Все уже знали: Румянцева на трибуне — значит, будет приводить в пример свою диссертацию. Слушать ее было неинтересно, и Алексей не слушал. Румянцева, поговорив всласть о своей диссертации, стала о чем-то предупредить и несколько раз повторила слово «чревато».

Он перестал ждать Тасю и удивлялся тому, что так ее ждал. Да и зачем ей было приходиться?

После Румянцевой на кафедру вылез Лайшиц, толстый человек с общим перекосом лица и фигуры и похожий на подвыпившего могильщика. Лайшиц был известен в научных кругах как проработчик-громила. Еще до войны он пытался получить докторскую степень, написал какую-то чушь на актуальную тему. Его с грохотом провалили, и с тех пор он всех ненавидел. В Москву он переехал недавно из Ленинграда и устроился в журнале. Алексей, собственно, даже не понимал, почему этот недоучка, считавший себя специалистом по Губкину, выступает здесь. Просто охота погромить? Или же есть какие-нибудь дипломатические соображения и Лайшиц хвалит? Алексей вслушался в его бормотанье.

— Вот, наверно, в Ленинграде-то радуются, что от него избавились,— сказал ученый секретарь института.— Чего он на тебя лает?

Алексей засмеялся — Лайшиц лает, ветер носит.

А Лайшиц, вставляя иностранные слова и цитируя Губкина, призывал не считать работу Алексея законченной, призывал не доверять полученным данным.

В зале зашумели, закричали: «Хватит, регламент!» Лайшиц втянул перекошенную голову в перекошенные плечи и боком слез с кафедры. Его лицо блестело, и он радостно улыбался и кивал знакомым, когда проходил по залу к своему месту. По-видимому, он считал, что неплохо начал свою деятельность в Москве.

Остальные выступления были деловыми и довольно приятными для Алексея.

Выступил представитель нефтеперерабатывающего завода из Башкирии. Он рассказал о работе установок каталитического крекинга и пригласил Алексея на завод. В его голосе было приятное нетерпение.

Алексей самодовольно подумал о том, что вот он ну-

жен на заводе в Башкирии, его зовут туда и будут звать еще на другие заводы...

Потом его опять поздравляли, но он решил, что напрасно он так поддался этой академической юбилейной атмосфере. Все это не больше чем институтские обычаи, вежливость, принятая среди научных работников. Для него это в новинку, а на самом деле ничего особенного.

Подошел директор подмосковного крекинг-завода, поздравил, потряс руку, посмеялся:

— Что, брат, в институтах теперь заседаем? — Его широкое, красное лицо было добродушно. — Да, слушай, Изотов, хочу тебя спросить. Помнишь девушку, с которой ты приезжал ко мне на завод? Я вас тогда еще встретил с ней.

Он говорил о Тасе.

— Да.

— Она несколько раз приходила ко мне, хочет устроиться на работу. У нас места вообще нет, но, возможно, будет. Одна женщина собирается уходить — с этими бабами морока, то рожают, то еще что-нибудь.

— Она же в аспирантуре, — сказал Алексей.

— Там какая-то история вышла. Ушла или отчислили, не знаю. Так как ты думаешь?

— Года полтора назад она приезжала ко мне на завод, — сказал Алексей, — работник она хороший.

Так вот, значит, как.

Проходили дни, а он волновался все больше и больше и не знал, что делать. Какая-то появилась надежда. Он опять стал вспоминать все. Он любил Тасю.

В эти месяцы Алексей спрашивал себя, может ли он простить ее. Простить он не мог, был оскорблен, и это чувство было самым сильным. Он знал, что не простит ее, но и не забудет ее никогда.

Но теперь что-то изменилось в нем. Кто он такой, чтобы судить ее? Почему он имеет это право — прощать и не прощать?

Алексей поехал на подмосковный завод. Зачем? Может быть, он хотел встретить Тасю, может быть, просто посмотреть место, где они были с нею.

Была зима, и он ничего не узнавал, прошел поселком до сугробов снега, за которыми начинался лесок. Тот или

не тот? Мальчишки на лыжах пробежали мимо, что-то кричали. Он постоял, посмотрел и пошел обратно. Тогда дорога была пыльная, сейчас — укатанный, утоптаный скользкий снег. «И лес не тот, и работать не могу», — прошептал он.

Он подошел к проходной. Здесь Тася сказала: «Я вам устрою пропуск». Она хотела ему покровительствовать, а он взял трубку, позвонил директору и лишил ее этого удовольствия. У нее сделались огорченные глаза. И сейчас, как тогда, он выругал себя. У нее была перевязана обожженная рука. Он помнил розовый платок на голове у нее. Она не могла причесываться сама левой рукой, и он причесал ее мягкие светлые волосы.

Алексей не входил в проходную и не уходил.

Вахтер давно уже следил за ним, потом выглянул из окошка, крикнул:

— Чего надо, гражданин?

Гражданин покачал головой и пошел прочь. Вахтер посмотрел ему вслед.

Алексей пошел по скользкой дороге на станцию, купил на перроне в киоске газеты, сел в электричку и поехал в Москву.

А через полчаса по этой же дороге, кутаясь в старую меховую шубу и платок, прошла Тася и тоже села в электричку.

Вскоре ему предложили поехать в командировку. Он согласился.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Что это было, что же это все было, спрашивала себя Тася с изумлением и отчаянием. Моя любовь, что же это все такое?

В памяти возникли обрывки того вечера. Спорят два старых директора. Русаков, улыбаясь, с раскрытой растрепанной записной книжкой, звонит «девочкам». Наконец, сами «девочки», как они вошли, достойно поздоровались и сели: одна разбитная, бывающая, с быстрым черным глазом, другая... Тася не могла даже сказать, какая другая.

У нее хватило силы уйти первой. Андрей Николаевич не ожидал, был растерян. Понял ли он, что не Зоя причина, не пирушка эта на улице Горького. Понял или нет, теперь все равно. Все кончено.

Андрей Николаевич позвонил ей два раза. Он еще любил ее, так, как умел, так, как мог, любил. Наверно, он еще позвонит, но она никогда, никогда в жизни...

А ведь это была любовь.

Она думала о смерти и одновременно о том, что жить все равно хочется. Было странно, что она выбирала хлеб, спрашивала свежие булочки, допытывалась у продавщицы, какие свежее. Как будто не все равно.

— Вот покупаю булочки, покупаю булочки,— шептала она,— и с собой я не покончу, а как жить, я не знаю. Не хочу жить.

Тасе разрешили бывать в больнице без ограничений. Она сидела с отцом, держала его руку, задавая вопросы. Иногда внезапно замечала, как чуждо звучит ее голос, и ужасалась этому, боясь, что отец тоже заметит. Было похоже, что она когда-то выучила вопросы, которые задавала отцу, а теперь забыла их смысл, больше не знала их значения. Она силилась улыбаться. Наверно, отцу было бы легче, если бы он не видел этой улыбки, этой гримасы, означавшей улыбку. Он закрывал глаза. Он теперь часто лежал с закрытыми глазами, когда Тася сидела рядом.

Из аспирантуры ее исключили за невыполнение научного и учебного плана. Она почти не обратила на это внимания. Все равно жизнь была поломана безнадежно, еще одна неприятность ничего не прибавляла.

Ей даже стало легче, не надо было ходить в институт. Теперь она ходила только в больницу и на рынок за свежим творогом.

Иногда по утрам, проснувшись после тяжелого сна, она говорила себе: «Ничего не случилось» — и начинала вспоминать, но не то тяжелое, что давило сейчас, а то, что было раньше. Не Терехова, а другое — что начиналось с Алексеем. Как давно это было и как будто не с нею, с другим человеком.

Она перестала получать стипендию, и настал день, когда ей не на что было купить отцу апельсинов и творогу. Она собрала свои кофточки и платья, какие были поновее, и отнесла их в скупку.

Надо было что-то делать, если она хотела бороться за жизнь отца.

Тихий старый человек смотрел на нее глазами, полными сострадания, и она не смела перед ним падать духом. Все-таки был еще кто-то, кому она была нужна. Когда-то он рассказывал ей сказочку: «Пошел Махмутка-перепутка на мостик, и увидел Махмутка-перепутка уток. Красную утку, зеленую утку, желтую. Красной утке крошку, зеленой утке крошку...»

Прежде всего надо было устроиться на работу. Это было трудно, почти невозможно. Раньше Москва располагала могучими штатами министерств, ныне их не было. Некоторые работники старались зацепиться, задержаться в Москве на любом месте, в любой должности. Другие уезжали, повинувшись партийному долгу, но жены не хотели уезжать. Эти женщины только теперь вспомнили, что у них есть специальность, есть дипломы, что они могут работать.

Тася начала поиски. Самые обыкновенные честные поиски, когда человек, тщательно причесавшись и помывшись, надев хороший костюм и сделав незаискивающее и спокойное лицо, приходит по известному ему адресу к неизвестному ему деятелю и спрашивает: «Не нужен ли вам инженер-химик?» Спрашивает, улыбается, молчит и ждет ответа. Не говорит, как остро необходима ему работа, улыбается и ждет ответа.

Тася поехала в Главгаз и уехала оттуда ни с чем. Она решила попытаться счастья на подмосковных заводах. Ее нигде даже не обнадежили, мест не было. Если бы не отец, она вообще бы уехала из Москвы.

И все-таки она устроилась на работу. По странному совпадению это был тот самый подмосковный завод, где она однажды была с Алексеем. Рядом был лесок, где Алексей сказал ей о своей любви.

Теперь она снова могла покупать отцу апельсины, и лимоны, и все, что ему хотелось, тем более что у него появился аппетит — это был отрадный признак.

Среди незнакомых людей ей было легче. Главное, что отец жил. Каждый день, который он жил, казался победой над смертью.

Она старалась поменьше бывать дома, в опустевшей комнате. Приходила только спать.

Она опять на что-то надеялась. И теперь, когда она улыбалась, держа руку отца в своей, он не закрывал глаз, а тоже улыбался ей.

«Белой утке крошку, синей утке крошку...» Никого на свете больше не было у нее, только отец, который столько страдал в последний год... этот последний год...

Однажды она встретила Алексея. Это было в Комитете по химии. Он сидел в приемной в кресле, углубленный в синьки, которые разложил на коленях. Он умел так сидеть в людной и шумной приемной, не замечая ничего вокруг, не отрывая глаз от своих бумаг. Она даже не разглядела его лица, видела только эту позу, эту поглощенность. Наверно, он дожидался, чтобы пройти с докладом к председателю. Она успела еще увидеть, как он провел рукой по волосам, рассеянно поднял глаза и не увидел ничего. Этот жест был знаком Тасе и потряс ее. Она побежала из приемной.

Он не изменился, он и не мог измениться и не изменится никогда.

Тася все видела, как он проводит рукой по волосам и смотрит мимо нее, занятый своими мыслями.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Тася не разрешала себе думать об Алексее. Она не решилась подойти к нему в Комитете по химии. Если бы она встретила его еще раз, она бы подошла. Зачем? Просить «прощения»? Простить можно, нельзя забыть. Ему, наверно, уже давно нет никакого дела до нее. Может быть, другая женщина. Но почему она думала об этом? Она мучилась, осуждала себя. Что же она такое, почему так, чего она ищет, чего хочет? Боится одиночества, ищет возможности пристроиться, приткнуться, не вышло с одним, стала снова мечтать об Алексее? Так или не так, спрашивала она себя с ожесточением. Не так, и все равно она не имела права думать об Алексее.

Она могла говорить себе все, что угодно, но самая последняя, неистребимая надежда оставалась в ее душе.

Как-то она решила поехать к Саше. Ее давно звали, звонили ей — и сам Саша, вернувшийся из-за границы, и его жена.

Ей захотелось провести вечер среди веселых, довольных жизнью людей. В ее пустой комнате было так уныло, и ей не хотелось ничего менять, исправлять, трогать. Она застилала постель, смахивала пыль, подметала пол и уходила.

Она поехала к Саше, стараясь не думать о том, что была там с Алексеем. Позвонила и еще на площадке услышала смех и крики. «Молодцы,— подумала она,— так и надо жить». Она-то не умела. Дверь открыл Саша, похудевший, заметно постаревший, но веселый как всегда.

— Молодец, умница, наконец-то показалась! — шумно приветствовал он ее.

— Тася, будешь чай пить? — спросила Рита. — Налить тебе?

— Чайку горяченького выпью,— ответила Тася оживленно продрогшим голосом, вдруг вспомнив, что на улице ей было холодно.

— Похудела, молодец,— кричал ей Саша с другого конца стола,— правильно! Вся Европа худеет, весь мир худеет. А я похудел?

— Похудел,— ответила Тася.

— Ты такая важная стала, честное слово, это мне нравится.

— Саша, перестань, невозможно,— говорила Рита, с восхищением глядя на мужа.

— Лучше расскажи, где был, что видел,— сказала Тася.

— Что рассказывать? В Америке меня поразили комиксы. Это черт знает что, сплошная порнография. Но какая!

«Очень доволен этой порнографией»,— с иронией подумала Тася и больше не стала ни о чем спрашивать.

— Потом, девочки, стриптиз. Восемь герлс за небольшую плату под примитивную музыку раздеваются перед вами. Но не до конца, не до конца. В этом весь эффект. Вот как разлагается капитализм.

— Ну, Саша,— восхитилась жена.

— А что я сказал?

«Ничто меня с ними не связывает. Ничто»,— думала она, глядя, как Саша похлопывает жену по руке и улыбается ей, Тасе, как бы отдавая дань восхищения ее суровости. Она вспомнила, как в этой комнате сидел Алек-

сей, отгородившись от всех презрительным спокойствием, и хотел только одного — поскорее уйти отсюда. И ей тоже захотелось поскорее уйти и больше уже сюда не приходить. Почему она считала Сашу блестящим человеком? Почему ее раньше тянуло сюда? Почему она дружила с Сашей и всей компанией? И гордилась тем, что это была «наша компания», ездила к ним и никогда не приглашала их к себе, в скромную темноватую комнату в коммунальной квартире на Таганке.

Она знала, что сегодня она здесь последний раз. Рита, которую в компании единодушно считали дурой, поняла ее настроение и сказала:

— Мне кажется, что ты пришла прощаться. Ты куда-нибудь уезжаешь?

— Уезжаю.

— Но я должен знать куда! — закричал Саша. — И с кем!

Тася поднялась.

— Я провожу, — заявил Саша, — мне надо пройтись перед сном. Вся Европа гуляет перед сном.

— Не надо, Саша. Меня ждут, — сказала Тася.

— Не тот ли гражданин, которого ты к нам приводила? Угрюмый тип, между прочим.

«Что мне делать? — подумала Тася с отчаянием. — Как жить?»

Алексей ехал в Москву с Урала. Там, на новом месте, на новом большом заводе в незнакомом городе вдали от Москвы все было легче и проще. Там он решил, что должен пойти к Тасе. Полтора года прошло с того дня, с того письма. Срок порядочный. Теперь уже можно, даже нужно. Убедиться. В чем? Он не знал.

«Сам не знаю, — говорил он себе, — но я должен ее увидеть».

Ему почему-то казалось, что Тася ждет его. Ждет. Любит. Пока жив человек, жива надежда в его душе. Он должен ее увидеть.

Вчера в поезде все было ему ясно и легко. Сейчас было тревожно.

Всех встречали, его никто не встречал. Он прошел по перрону с легким чемоданом. Он шел быстро и не смот-

рел по сторонам, но видел, как люди обнимают друг друга, видел новые синие тележки носильщиков, поздние осенние цветы в руках у женщин. Он забыл название этих цветов.

Алексей вышел на привокзальную площадь и остановился перед деревянной загородкой.

— Что здесь делают? — спросил он.

— Подземный переход, — ответили ему. Он читал об этом, но почему-то не ожидал увидеть так скоро.

Шофер такси притормозил, увидев мужчину с чемоданом.

«Поеду сейчас. Узнаю свою судьбу».

Кто-то открыл дверь, показал Алексею комнату. Он постучал и вошел.

Таси дома не было. Старик сидел в кресле. Ее отец. Перед ним лежала стопка книг. Старые добрые глаза внимательно посмотрели на Алексея.

— Садитесь. Тася скоро придет.

Алексей сел.

— Вот, — сказал старик, показывая на книги, — читаю. Вот собираю коробочки.

Он показал на грудку каких-то блестящих коробочек.

— Не бойтесь, — рассмеялся он, заметив взгляд Алексея. — Я в своем уме, просто собираю коробочки. Потом отдам какому-нибудь мальчику.

У Алексея перехватило горло. Этот старик с ясной улыбкой был ее отец. Он сидел здесь целыми днями в кресле у окна и ожидал ее.

На обеденном столе на блюде лежал разрезанный арбуз. Она его купила и принесла. На диване платье, знакомое Алексею. Глобус на полу. Алексей волновался все сильнее.

Он встал.

Отец сказал:

— Она скоро придет.

Алексей покачал головой, тихо ответил:

— Я приду еще раз.

Старик смотрел ему в глаза своими старыми добрыми, потерявшими цвет глазами. «Я знаю, что ты не придешь», — казалось, хотел он сказать.

Хватит ли в сердце добра, хватит ли в сердце силы, чтобы забыть и не вспомнить никогда.

— Я приду,— сказал Алексей.

В дверях он столкнулся с Тасей. Она сжала руки, отступила назад.

Только она... Он любил ее.

— Здравствуй, Тася.

Почему тогда, когда она его видела, ей показалось, что он не изменился? Он очень изменился за это долгое время. Только чем? Резкие скулы. Лицо темное, опаленное. Глаза, далеко расставленные. Или она забыла?

— Не плачь,— сказал Алексей и ладонью вытер слезы с ее лица.

Москва
1957—1959





КАК ТЫ ЖИВЕШЬ, МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ?

Мы не виделись ровно десять лет. И вот мы встретились в гостинице, в номере, где я остановилась, приехав в свой родной город на конференцию. Это очень странно: приехать в город, где ты родилась и выросла, где был твой дом, и жить в гостинице, как посторонняя.

Николай пришел ко мне вечером, после работы, и в первую минуту мне показалось, что он совсем не изменился. Точно такой, как десять, даже пятнадцать лет назад, когда мы еще учились в школе. Мы обнялись и поцеловались. А потом он крепко пожал мою руку и сказал:

— Ну, здравствуй, Машенька!

А я сказала:

— Я уже думала, что мы никогда не встретимся.

На самом деле все десять лет я знала, что когда-то мы должны встретиться.

Он не ответил, он смотрел на меня. Потом сказал:

— Все такая же, совсем не изменилась.

Мы сели в кресла около круглого стола с красной плюшевой скатертью и замолчали. Я не знала, с чего начинать, а он вообще больше любил молчать, чем разговаривать.

Он был в военной форме, как и тогда, и это меня удивило. Я плохо помнила, как мы расстались, но очень ясно помнила все, что было до того, намного раньше.

Я сидела перед ним в своем самом лучшем платье, причесанная у парикмахера. Я приготовилась к этой встрече. Я даже выпалась — редкий случай, — чтобы хорошо выглядеть. И помнила, что имею научное звание, серьезную должность и опубликованные и неопубликованные работы.

Николай тяжело опустился в кресло и сгорбился. В левом глазу у него лопнул сосудик, и глаз был красный. Подворотничок из целлулоида натирал ему шею. Он попросил разрешения расстегнуть крючки.

Он смотрел на меня сощурившись, со знакомой мне насмешливой и ласковой улыбкой, как будто чего-то ждал от меня. Что же изменилось в его внешности? Потом я поняла: волосы. Волосы стали редкими и потеряли блеск. Я разглядела даже раннюю лысину. А так он по-прежнему был красив.

— Рассказывай первая, Машенька, — сказал он, — все подробно и по порядку.

Он погладил меня по руке и заглянул в глаза. Кроме него, меня никто не звал Машенькой.

— Как ты жила с тех пор? Как твои папа и мама? Они тоже уехали? Я заходил на вашу старую квартиру — там чужие. Как бабушка, жива-здоровая? Значит, ты окончила институт?.. Что было потом?

Я задумалась, глядя на Николая, и не ответила. Я так хотела знать, какой он стал, чем он занимается, хорошо ли ему живется, но главное — какой он: такой, как раньше, или другой? И какая она, эта чужая жизнь, которая когда-то была самой родной?

Он повторил свой вопрос.

— Значит, ты окончила институт?.. Что было потом?

Я рассказала, что было потом. Очень скромно и коротко, основные события моей жизни. Пожаловалась, что трудно работать. Приходится проводить опыты по разным лабораториям, уходит много времени; сейчас мне нужны обезьяны, их сложно доставать; замучили командировки. Вообще-то я люблю командировки, часто бываю в Минске, в Одессе. Вот, собственно, и все.

Он опять взял меня за руку и спросил:

— Ты счастлива?

Но это его не касалось. Я перевела разговор на предстоящую конференцию и свой доклад. Очень ответственный доклад.

— Ну, ты всегда была молодцом, и я не сомневался, что ты всех обгонишь и что из тебя получится нечто замечательное. Так и вышло.

Это прозвучало у него не слишком лестно, хотя он и раньше это часто говорил.

— Какое у тебя платье! Я даже таких не видел,— сказал он, продолжая меня разглядывать.

— А ты как? Довольно обо мне. Я хочу все о тебе знать. Я только сейчас позвоню, чтобы принесли ужин.

Он остановил меня, сказав, что недавно обедал.

— Мы что? Видишь, служим.

— Ты все еще в армии? Остался навсегда?

— Пока остался.

Я сосчитала звездочки на погонах. Четыре. Капитан. Тогда он был лейтенантом.

— Посмотрела на погоны? Пока еще не генерал.

— Еще будешь,— улыбнулась я.

— Вряд ли.

— Много работаешь?

— Ужасно! — Он усмехнулся.— Как вол.

Я промолчала.

— В этом году окончил институт. Могу похвастаться. Так что моя гражданская специальность — металлург.

— А военная?

— Совсем другая. В том-то все и дело. Я преподаю в училище топографию, а институт...

— Ничего не понятно: топография, металлург... Но ведь ты собирался стать математиком,— перебила я.— Бесконечно малые величины и так далее. Как же так?

— Мало ли что я собирался, Машенька! Жизнь подсказывает другие решения.

— Ах, вот что! — пробормотала я.— Жизнь!

Он улыбнулся.

— Не сердись.

Я не сердилась, но подумала: при чем тут жизнь? Он не болен, не стар, от природы не тупица.

— Так что у меня две специальности,— с некоторой даже гордостью сказал он.

«Лучше иметь одну, но ту, которую хочешь, а не ту, которую тебе подсказали обстоятельства»,— чуть не вырвалось у меня, но я смолчала. Я хорошо помнила, как Николай мечтал и готовился поступить в университет. Он, наверно, забыл.

Николай продолжал:

— Так что все эти годы я работал, преподавал и учился. И даже получил диплом с отличием по нашей с тобой привычке хорошо учиться. Да, Машенька?

— Ну, а теперь? Ты все еще в училище преподаешь топографию? Ведь ты мог бы поступить в аспирантуру. Быстро окончить при твоих способностях, скажем не в три, а в два года, и заниматься наконец научной работой. Ты же рожден для научной работы. Мы это еще в школе знали.

— Не так-то просто, Машенька.

Да, конечно, не просто. У него семья; дочь. Я это хорошо знала. Интересно, дочь похожа на него? У меня не было семьи как раз потому, что она была у него. И мне не очень хотелось об этом говорить.

— Дочка большая?

— Школьница,— улыбнулся он.

— Жена работает?

— Да, преподает географию в старших классах.

Я никогда не видела его жены. Только знала, что она моложе нас с ним на три года, хорошенькая, с косами. У меня тоже раньше были косы.

— Живешь все там же?

— Да.

Я помнила его уютную квартиру, которую я сделала уютной. Мне было не до того. Наверно, теперь там все по-другому. Мне бы хотелось посмотреть, как там теперь. И дочка уже школьница.

Десять лет назад, когда я была в экспедиции, он написал мне, что женится на другой, потому что так получилось.

Нас называли мужем и женой, хотя свадьбы не бы-

ло и в загс мы не ходили. Жили мы так: я убегала утром в институт, он — в училище, куда его направили после войны, то самое, где он работает и теперь. Мы встречались только вечерами, хотя я переехала к нему. Николай готовился к экзаменам в университет. Я была студенткой четвертого курса биологического факультета. И жизнь у нас была студенческая. Мне казалось, что с семейным уютом можно подождать. Это была моя ошибка.

Дома мы занимались мало. Зато мы очень много выясняли наши отношения. Он меня ревновал, и я его ревновала, но к чему, кому — я не помню сейчас. Мы ссорились из-за пустяков, мучились, мирились и опять ссорились. Это была какая-то страшная чепуха.

У Николая появилось много друзей по училищу. Чуть не каждый день кто-нибудь приходил и оказывался его лучшим другом. «Мы с ним, Машенька...» — говорил Николай. И они начинали пить, разговаривать, смеяться. А у меня никогда не было закуски.

Ему с ними было интереснее, чем со мной. Он не мог без них обходиться. А меня они не любили. И мне они не нравились.

Я решила уехать в экспедицию. Мне эта экспедиция была совершенно не нужна. Но мне казалось, что будет лучше, если я уеду. Коле надо остаться одному, думала я, войти в колею нормальной трудовой жизни. Наши ссоры мешали ему заниматься, а мне хотелось, чтобы он хорошо сдал экзамены. И еще одно: я хотела доказать свою независимость, что могу обойтись без него. И еще: пускай, думала я, поживет без меня. Это полезно. Ведь я была уверена в его любви. А вернусь — будем жить по-настоящему. Я скоро окончу институт, буду работать, он — учиться.

Зачем я уехала? Я понимаю все сейчас, но тогда я не понимала. Он писал: «Брось все и возвращайся». У меня сохранились его письма: «Приезжай, ты мне нужна», «Приезжай, очень плохо без тебя». Мне тоже было плохо без него. Я отвечала веселыми, спокойными письмами. Он даже прислал какую-то справку о своем расстроенном здоровье, чтобы я отпросилась у начальника экспедиции. Но я уже втянулась в работу и не могла бросить ее неоконченной. Я отвечала шутивными медицинскими советами: «Измеряй температуру,

градусник вытягивает жар», «Носи шарф и калоши и думай обо мне».

Разлука любовь бережет. Я была счастлива и спокойна. А в последнем письме, за несколько дней до моего возвращения, он сообщил, что женится. Я не поверила.

Он встретил меня на вокзале: так велика была его честность и прямота. И подтвердил, что все правда, так получилось, он виноват. Было увлечение, но теперь та девушка беременна, он не может быть подлецом. Он сказал, что любит меня, одну меня, и будет всегда меня любить. Но он не может быть подлецом.

Мы учились вместе в школе. Я его очень хорошо знала. Знала его ветреность. Не мудрено: он был очень красивый, и все в него влюблялись. Знала его честность. В детстве казалось, что он упрям. Он не менял своих мнений. Он никогда, даже мальчишкой, не дрался. Ему нравились звучные стихи, над которыми я смеялась: Я знала его вкусы, привязанности, я все вообще про него знала. Еще бы! Он был моя первая любовь, как же я могла что-нибудь не знать! Я его проводила в армию в сорок первом году. Он приезжал ко мне во время войны. Он писал мне письма, треугольники без марок.

Нас еще в школе дразнили: «Жених и невеста». А потом, в войну, я стала его настоящей невестой.

Он меня всегда любил, он даже любил, как я пою, хотя я пою ужасно и никто не может выносить моего пения.

У него был трудный характер человека, щедро одаренного талантом и красотой. Мне всегда хотелось померяться с ним и тем и другим. Но надо признать, что он был талантливее и красивее меня. Впрочем, о своих способностях судить трудно, как и о своей внешности.

Знаю только, что обладаю упорством и убеждением: раз другие могут, то и я должна. И потом я стараюсь быстро работать. И делаю сегодня то, что можно сделать завтра. Вот и все. Это мой секрет. Моя производственная тайна.

Что касается внешности, то если серые глаза, темные волосы и хороший цвет лица — это красиво при прочих средних показателях, значит, я красивая. Те-

перь, кстати, у меня плохой цвет лица. Я хотела бы быть повыше ростом и потолще, но я не толстею, потому что много хожу. И еще потому, что я стала курить.

От Коли я ждала очень многого. Да не только я. У него не было склонности к искусствам (у меня тоже), зато у него была всепокоряющая сила логики, он должен был стать выдающимся математиком. В школе, например, он устно решал задачи, над которыми мы бились с карандашом и не могли решить. Он был абсолютным чемпионом всех школьных математических олимпиад. Учителя относились к нему с уважением. Говорят, в школе — одно, в жизни — другое. Не знаю, но ведь способности никуда не пропадают. Они остаются в человеке навсегда и ждут своего часа. Обидно, когда талант достается слабому человеку. И он, как говорится, «зарывает свой талант в землю».

Николая портили женщины. Все, кроме меня. Они вслух восхищались его внешностью. Но я пыталась убедить его, что он слишком мал ростом и что у него красивое, но туповатое лицо. Это была чепуха: у него было одухотворенное лицо и нормальный рост.

Когда мы встретились после войны, он объявил мне, что знает жизнь и что почем. Это было неприятно, но, пожалуй, это было наносное. Я тоже в те годы притворялась опытной и разочарованной. Он цинично говорил о женщинах. Меня это тоже огорчало. Но я собиралась все преодолеть. Моя мама часто говорила: «Ничего не попадает нам в руки готовеньким». Так что не страшно — все возможно исправить. Я его люблю.

Одно я знала твердо: только я могу быть его женой. Я помогу ему стать тем, кем он хочет стать: ученым, математиком. Если он слабый человек, у меня хватит силы на двоих.

Я тогда плохо варила супы и не умела делать котлеты, это верно, но я собиралась научиться. Я нарочно стряпала в экспедиции и справлялась.

Он не может быть подлецом. Но как же он может бросить меня? Почему он так легко от меня отказывается? Она беременна — вот что. Я не упрекала его. За чем? Я должна была держаться хотя бы в его присутствии.

Она, оказывается, ничего не требует и не просит от него, и потому он тем более обязан жениться на ней. Какая доблесть! Я тоже ничего не просила и не требовала. Она, оказывается, любит его. Но я любила его всегда.

Я знала, что его родные против нашей женитьбы. Я им не нравилась. Они уговаривали его вообще подождать, не торопиться. «Из ранних браков ничего не получается», — наверно, говорили они.

Он побоялся на мне жениться — вот что. Или он разлюбил меня и полюбил ее? Тогда скажи прямо. Так бывает. У меня так быть не может. Неужели человек может связать себя на всю жизнь только потому, что «так случилось»? Видимо, да, если он тряпка и трус.

Ничего подобного я тогда не думала. Тогда я понимала только одно: все кончено. Я не испытывала ни гнева, ни ревности. Это было потом. Вначале я была только несчастлива. Жить было очень тяжело.

На вокзале мы расстались. Я пожелала ему счастья. Я запомнила его лицо, бледное, неподвижное, в слезах. И утешила его на прощание: «Не горюй, ничего не поделаешь». Я ушла. Остальное неважно.

Что за человек сидел передо мной сейчас? Так же, как и он обо мне, я больше всего хотела знать, счастлив ли он. Непохоже. Почему у него такой усталый вид? Ведь ему только тридцать лет.

— Что же будет у тебя дальше? — продолжала я свои расспросы.

Николай пожал плечами.

— В этом году попытаюсь сдать кандидатские экзамены. Самое крайнее, в будущем. При том, что я работаю, это займет немало времени. Не знаю, как вообще, получится ли что-нибудь из этой затеи.

Я подумала, что он сдаст эти экзамены, но время, время! Время уходит. Что, кто ему мешает? Семья? Семья — это счастье, которого нет у меня. Это помощь. Выходит, что для него это обуза.

А если не побояться сесть на стипендию, как многие студенты, у которых тоже есть семьи?.. Тяжело, конеч-

но, тяжело. Жена ему поможет. Тише едешь — дальше не будешь. К тридцати пяти, сорока годам он, может быть, заработает себе право заниматься наукой. Не поздно ли это?

— Ну-ка, Машенька, встань, я на тебя еще посмотрю,— попросил он.— Худущая! Но, пожалуй, это лучше.

Наверное, его жена растолстела; раньше он говорил, что мне обязательно надо поправиться. Он попросил показать мои фотографии за эти годы. У него было смешное пристрастие к фотокарточкам. Я достала из сумочки пачку, отложила в сторону две бумажки: одна — выговор, другая — благодарность, полученные мною почти одновременно.

Несколько фотографий я показала Николаю. После защиты диссертации, на фестивале молодежи в Варшаве, за рабочим столом у себя в лаборатории, в белом халате, на фоне осциллографа, с сотрудниками на демонстрации Первого мая и даже где-то на трибуне с воинственно поднятой рукой.

— Честолюбивая! — засмеялся он.— Подари какую-нибудь.

— Не надо,— ответила я.

— Не надо,— вздохнул он.

Я хотела закурить. Николай отобрал у меня папиросу.

— Не кури.

Какое ему дело! Я закурила.

Почему я не рассказала о том, как я в действительности работаю? Прихожу домой ночью, ставлю одни и те же опыты до одурения. Получаю ничтожные результаты и все начинаю сначала. Как меня чуть не выгнали из института за год работы впустую. Что мое положение завлабораторией ничего, кроме забот, мне не прибавило, работать стало труднее. Как это все непарадно, бесконечно далеко от фотографий, которые я демонстрировала. И еще, что язык мой — враг мой. Последнего, впрочем, я могла не говорить: он это знал.

Мы заговорили о наших одноклассниках. Он знал обо всех и дружил со многими. А я растеряла старых друзей. Отчасти потому, что уехала из родного города, а может быть, потому, что одно время не хотела встречаться с ними. Ведь они все знали про нас с Колей.

Он посмотрел на часы.

— Поздно, Машенька? — вопросительно сказал он, поднимаясь.— У вас завтра ответственный доклад, Марина Сергеевна.

— Брось, мы редко видимся,— пошутила я и подумала: «Он нервничает, ему попадет за опоздание».

— Ну хорошо.— Он опять опустил в кресло.

— Тогда чаю.— Я выбежала в коридор, чтобы попросить чаю. Возвращаясь, взглянула на себя в зеркало. Щеки у меня горели. Новое бархатное платье, которое я на себя напялила, показалось мне неуместным.

— Так ты ничего о себе и не расскажешь? — спросил Николай, когда я вернулась. Я развела руками.— Ты не замужем. Почему?

Я опять развела руками, улыбаясь. Почему я не вышла замуж? Это длинная история, и к нему она уже не имеет отношения.

— Ты никого не любишь?

Я ответила, что люблю.

Нам принесли чай.

— Может быть, выпьем водки? — предложила я.

— Я не пью, то есть пью по большим праздникам,— ответил он и поправился: — Сегодня, конечно, большой праздник, что я тебя повидал, да, Машенька? Для меня, во всяком случае. Но пить не будем.

Большой праздник? А мне хотелось плакать.

— Еще через десять лет, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь уже профессором или академиком, а, Машенька?

Я не ответила: не люблю, когда надо мной шутят. Если говорить серьезно, то за десять лет я постараюсь сделать что-нибудь путное.

Что будет с ним через десять лет? Сделает ли он что-нибудь большое? Я от всей души желала ему успеха, но я уже не верила. А раньше я верила, и эти прошедшие десять лет я тоже верила. Мне хотелось гордиться им, но гордиться было нечем, это я поняла сегодня.

— Я внимательно посмотрела на него, он отвел глаза.

— Коля!

— Что, Машенька? — тихо проговорил он.

— Ничего,— ответила я.

Мы замолчали.

Как же так? Любил меня, женился на нелюбимой. Мечтал о математике, родился математиком, а стал преподавателем топографии с дипломом металлурга в кармане. Опять нелюбимое вместо любимого. «Что, так спокойнее, Коля?» — хотелось мне крикнуть. Но я сказала:

— Изменился наш город.

— Ты согласна, Машенька, что тебе везет? Я знал и раньше, что тебе будет везти в жизни, — сказал Николай. Я пожала плечами. — Но счастлива ли ты — этого я так и не узнал.

— А ты, Коля? Ты счастлив?

— Я? Не знаю. Наверно, — ответил он. — Почему же нет?

Через полчаса он поднялся. Я сказала, что пойду проводить его. Он не хотел, чтобы я шла, и стал отговаривать меня:

— Нет, нет! Поздно. Мне уже пора. А как ты будешь возвращаться одна, Машенька?

— Ну, как я всегда одна возвращаюсь, так и сегодня вернусь. Не уговаривай, сказано — провожу тебя, — сказала я. — Я быстро: только наброшу пальто и отдам ключи от номера.

У него был плащ на вешалке в гардеробе; он сказал, что подождет меня у подъезда.

Когда я вышла из гостиницы, он стоял на улице. В руках у него был старенький портфель, под мышкой два батона, завернутых в газету.

Мы пошли. Как я давно здесь не была! Улицы знакомые, дома знакомые. Скамейки в сквере, и как будто я на каждой когда-то сидела.

Мы молча прошли несколько кварталов. За поворотом уже был его дом. Он опять взглянул на часы. Его ждали, он боялся опоздать, даже один раз за десять лет. Я вдруг подумала, что он изменяет своей жене. Не любит ее и изменяет.

— Давай прощаться, — сказала я, останавливаясь. — Давай пожелаем друг другу всего хорошего.

— Я желаю, — сказал он, — всегда желаю.

— И я, — сказала я тихо и обняла его. Мне было так тяжело, как будто он еще раз обманул меня. Моя первая любовь. — До свидания, — сказала я, — уже очень поздно.

— Посмотри на меня, Машенька, я хочу запомнить твое лицо,— сказал он.— До свидания.

Он пошел медленно вперед. Я осталась стоять на месте. Я испытывала в своем сердце только жалость к нему. Жалость. Я все стояла и смотрела ему вслед. Неужели это его я так любила когда-то?

Один раз он оглянулся. Может быть, он хотел все-таки спросить, счастлива ли я.

Я вытерла слезы. Не надо мне сюда ездить. Это слишком грустно.

Я еще долго видела его широкую спину, портфель и батоны, завернутые в газету.



ФЕДОРОВ И ТАНЯ

— Сегодня я ему позвоню обязательно,— сказал Федоров и записал на календаре: «Позвонить Каштанову».

Полистав календарь, Федоров усмехнулся. «Позвонить Каштанову»,— промелькнуло пять раз за последние семь дней. А Федоров и был-то в Москве всего неделю. Но для встречи с Каштановым ему хотелось иметь полностью свободный вечер. Сегодня командированный Федоров был свободен, а завтра он уезжал.

У Федорова была хорошая память. Он все помнил, что было в жизни, и Григория Каштанова, Гришку Каштана, он помнил прекрасно.

Дома у Федорова сохранилась фотография, наклеенная на твердый серый картон и помеченная на обороте двадцатым годом. Молодые красногвардейцы — какие молодые! — снялись перед отправкой на фронт. Он сам, Федоров, сидит в первом ряду, даже не сидит, а лежит. Сбоку винтовка. Федоров в длинной шинели, на голове буденовка со звездой. Лицом похож на девочку, на стриженую девочку шестнадцати лет. А Гришка Каштанов стоит, опершись на винтовку, высокий, могучий. Лица Каштанова на этой карточке сейчас уже нельзя разобрать, оно покрылось желтоватым пятном. Время, или солнце, или качество бумаги тут виноваты — неизвестно.

Но Федоров помнит: лицо у Каштанова круглое, румяное, с очень черными, сросшимися на переносье бровями и широко расставленными глазами.

«Все мы были орлы-красавцы! — усмехается про себя Федоров, который не был ни орлом, ни красавцем.— И девушки нас любили».

— А этот самый Гришка Каштан один раз... это очень смешная история, я тебя предупреждаю,— говорит Федоров своей племяннице Тане, которая сидит на диване у него в гостинице, вместо того чтобы сидеть на лекциях в институте, и смотрит на дядю глазами, полными вежливого невнимания.

Федоров смеется.

— Ты глуна и лентяйка, но эту историю ты должна знать.

Племянница вздыхает, она терпеть не может дядиных воспоминаний и историй, но она очень любит дядю и готова слушать.

А Федоров убежден в том, что он великолепный рассказчик.

— Я тебе уже говорил, что Гриша Каштан был самый высокий парень в нашем отряде. Это был громадина ростом... ростом с эту дверь наверняка. Представляешь? Уже смешно. Правда?

— Да, дядя,— соглашается племянница, следя за тем, как Федоров закуривает папиросу.

Ему запрещено врачами курить, но он и курит и пьет.

— У тебя, наверно, нет ни одного такого высокого знакомого парня,— говорит дядя.

— Есть,— отвечает племянница и едва заметно улыбается.

— Не думаю,— говорит Федоров,— не думаю. Неважно. Эта смешнейшая история произошла под Киевом. Смешнейшая,— повторяю. Мне надо побриться, но я могу бриться и рассказывать.

Федоров начинает бриться, оставив открытой дверь из ванной. Рассказав, как Каштанова перепутали с командиром полка и что из этого получилось, Федоров хохочет и высовывается из ванной, чтобы посмотреть, как смеется племянница. Та смеется хорошо, громко и весело, и дядя с одобрением и удовольствием смотрит на нее...

— Сейчас я побреюсь, и мы спустимся вниз, позавтракаем, — говорит он.

— Я сыта, — отвечает Таня.

— Сомневаюсь, — говорит Федоров и, надув намыленную щеку, прячет голову за дверь.

Теперь он начинает гудеть «Каховку». Он поет только две песни — «Каховку» и «Девушку с гор» — и только по утрам, когда бреется. Но, может быть, было бы даже лучше, чтобы он рассказывал, чем пел.

Потом Федоров причесывает перед зеркалом свои мягкие пегие волосы.

Вынув из чемодана белую пикеиную рубашку, он говорит:

— У меня своя мода. Собственная. Я ношу белые рубашки. У твоих знакомых таких рубашек в жизни не было. Это тебе понятно?

— Понятно, — отвечает племянница, глядя на лоснящиеся старые брюки Федорова и на узкий в плечах и короткий пиджак.

Завязывая галстук, Федоров говорит:

— Шерстяной плетёный галстук. У твоих щенков небось таких нет.

Потом он заводит часы, большие и круглые, которые кажутся огромными на худой руке Федорова.

— Одиннадцать часов, безобразие! — говорит он. — Безобразие! Идем.

Таня встает с дивана и постукивает об пол затекшей ногой.

После завтрака Федоров с племянницей идут гулять по Москве. Они обходят вокруг Кремля, ездят по новым станциям метро. Год назад Федоров тоже был в командировке в Москве, но тогда он ничего не успел посмотреть. Зато сейчас он не только выходит из вагона и осматривает подземные залы, но каждый раз поднимается по эскалатору и разглядывает станции наверху.

— Ох, уж эта любознательность! — ворчит Таня.

Федоров порывается съездить еще на Сельскохозяйственную выставку, где он был только один раз вечером, но Таня категорически отказывается, говорит, что устала и больше не может.

— Ты глупа, — говорит Федоров, — ты глупа так же, как твоя мать. Так же, как моя жена. Я ненавижу ваши хитрости. Когда я болен, я лежу. Но вам никогда не по-

нять, что пока человек интересуется окружающим, он здоров. А если он не интересуется, он болен. Я здоров. Понятно?

— Понятно,— отвечает Таня.— Я устала и хочу немного посидеть. Мы уже бегаем четыре часа без отдыха.

— Ты что, серьезно устала? — спрашивает Федоров, с насмешкой глядя на Таню.

Но Таня не боится его насмешек.

— Серьезно,— отвечает Таня, и они садятся на скамейку в вестибюле станции «Калужская».

Федоров вытаскивает из кармана смятую пачку папирос.

— Здесь можно курить?

— Нельзя,— быстро и радостно отвечает Таня.— Как раз нельзя.

— Звонить еще рано,— говорит Федоров.— Он, конечно, еще не пришел домой.

— А вдруг он не захочет с тобой встретиться? — говорит Таня.

— Ну что ты,— отвечает Федоров,— этого не может быть.

И он качает головой с растрепавшимися мягкими волосами.

— Ведь совсем не все так относятся к своему прошлому, как ты.

— Ну и дура! — говорит Федоров.

— Давай поедem в центр и там где-нибудь поедим сосисок,— предлагает Таня.

Федоров не голоден, но он не возражает Тане, и они едут до центра, там выходят из метро и, разыскав какое-то кафе на улице, едят сосиски, пирожки с мясом и пьют чай.

— Все-таки очень интересно, каким теперь стал Гришка Каштан,— улыбаясь, говорит Федоров, и на его смуглом костлявом лице собирается множество морщинок.— Очень интересно! Последний раз мы виделись на партконференции. Он был тогда директором завода, а я начальником одного строительства. А тебе было три года от роду. Понятно?

— Понятно,— отвечает Таня,— мне все понятно.— И смеется.

У Тани и у Федорова блестящие веселые черные глаза, у всех в семье такие глаза.

— Я давно потерял Каштанова из виду, а этой зимой прочитал про него в газете. Оказалось, что он теперь большой начальник. Я обрадовался, но не удивился. Он всегда был умница, да. Умнейший парень. Много лет прошло. Тоже, наверно, старый стал, и узнать будет трудно. Слушай, это у тебя хорошее платье? Если вдруг так получится, что мы вечером пойдем к нему в гости...

— Ничего,— отвечает Таня,— не очень, но сойдет.

Федоров гладит ее по волосам и улыбается:

— Если уж я стал такой старый гриб, то пусть ты будешь у меня как надо. Верно? Нам не пора подниматься?

— Посидим, еще есть время. Твой Каштанов наверняка еще не пришел.

— Мог уже и прийти. Вообще-то раньше он ленивый был, черт, не любил много работать. Но теперь, конечно, другое дело.— Помолчав, Федоров продолжает:— А я тебе говорил, как в двадцать втором году я, Петька Гуляев и Гриша Каштан...

— Говорил! — кричит Таня.— Ты все говорил.

Федоров добродушно улыбается:

— А ты, наверно, думаешь, что тебе будет скучно. Ну, поскучай один вечер. Завтра я уезжаю.

— Я ничего не думаю,— отвечает Таня.

Федоров смотрит на часы.

— Знаешь что, сходим в универмаг, купим что-нибудь моим ребятам, у меня есть сэкономленные деньги.

Таня соглашается с удовольствием. Она очень любит ходить по магазинам. Они идут и покупают внуку Федорова мяч, коричневые сапожки номер двадцать шесть, внучке лыжные штаны. От себя Таня покупает заводную лягушку. На подарок жене у Федорова денег уже не остается.

— Ну ничего,— огорченно говорит он,— так всегда. Куплю в следующий раз. Или отдам ей свою вечную ручку, она все равно ее всегда берет. Уже можно звонить.

Таня и Федоров идут в телефонную будку. Федоров набирает номер, а Таня стоит рядом и ногой держит приоткрытую дверь, потому что в телефонной будке душно.

— Можно Григория, Григория... Так и не вспомнил отчества,— шепчет Федоров Тане.—...Товарища Каштанова. Извините, пожалуйста, когда он будет? Спасибо.

Федоров вешает трубку, вытирает платком испарину со лба. Душно и жарко.

— Его еще нет. Будет через час-полтора.

Таня с Федоровым опять идут гулять по Москве, идут медленно, и Федоров, по обыкновению, смотрит по сторонам.

— Приятный женский голос. Мне почему-то кажется, что он женился на одной нашей девушке. Я ее смутно вспоминаю. Она тоже была с нами на фронте. Но, может быть, конечно, я и ошибаюсь.

— Давай посидим в скверике против Большого театра,— предлагает Таня,— там очень хорошо.

Федоров кивает головой и прибавляет шаг. Таня еле поспевает за ним: так быстро он ходит. «Маленький, а крепкий,— с восхищением думает Таня, глядя на подобранную и совсем молодую фигуру дяди.— Больной, а крепкий,— размышляет про себя Таня.— В общем, молодец».

Они садятся на единственную не занятую в сквере скамейку, и Таня развязывает пакет, который она несла, и смотрит на сапожки, лыжные штаны и игрушку. Она всегда, не доходя до дома, на улице рассматривает покупки. Потом Таня долго завязывает пакет, но он уже не получается таким, как в магазине.

— Хорошая лягушка,— задумчиво говорит Таня и украдкой смотрит на дядю.

Он все-таки устал и теперь сидит, откинувшись на спинку скамейки, заложив ногу на ногу, и глаза у него закрыты. Предлагать ему идти в гостиницу отдохнуть бесполезно: он рассердится, накричит и все равно не пойдет.

— Ты чего? — не открывая глаз, спрашивает Федоров.

— Ничего. А сколько лет сейчас Каштанову? — Таня задает вопрос, чтобы доставить дяде удовольствие.

— Пятьдесят с чем-нибудь. Мы все ровесники своего века,— с некоторой выпендренностью отвечает Федоров и молчит, ожидая, что скажет Таня. Но Таня не говорит ничего.

— Хочешь, я тебе еще немного расскажу про Гришу Каштанова? — предлагает Федоров.

— Как, еще? — ужасается Таня. — Я тебя очень прошу, дядя...

— А обо мне тоже была статья. В местной газете. Как об отличнике строительства. Два дома сдал раньше срока. Это не шутка! Экономия средств огромная. Я им показал, что такое Федоров.

Дядя хвастает. Таня к этому привыкла. Но, с другой стороны, это и не хвастовство, а чистая правда. Когда-то Федоров руководил крупными строительствами, теперь в Смоленске строит двухэтажные жилые дома. Обстоятельства, как видно, могут меняться к худшему, но человек, как видно, не меняется.

— И я опять премию получил, — говорит Федоров. — Еще рано звонить, черт бы его побрал!

Приходится сидеть и ждать. Таня начинает вместе с Федоровым разглядывать прохожих.

Сентябрь стоит очень теплый, вечер чудесный, народу на улицах много, все скамейки в сквере заняты. Рядом с Таней сидят двое стариков, по виду муж и жена, а рядом с Федоровым — девушка с туго набитым портфелем и пестрым платком, который она теревит в руках. Таня знает, что надо отвлечь Федорова от девушки, а то он начнет к ней приставать и спрашивать, почему она нервничает или даже кого она ждет.

— Сколько времени? — поспешно спрашивает Таня.

— Сейчас пойдем звонить, — Федоров сочувственно смотрит на девушку с платком и поднимается.

Таня уводит Федорова искать телефон-автомат.

Каштанова все еще нет дома, но он должен совсем скоро быть, его ждут.

Таня с Федоровым опять гуляют по улицам.

— А как ты объяснил, кто говорит? — спрашивает Таня.

— Старый фронтовой друг по гражданской войне, назвал фамилию.

— А она что?

— Ничего. Просила позвонить немного попозже. Наверно, он важный стал. Как ты думаешь?

— Может быть, и не стал. Не обязательно, — говорит Таня.

— Конечно, конечно. Но можно предположить, что стал.

— Ты же его так хвалил,— замечает Таня.

— А я ничего и не говорю. Прекрасный парень.

Таня с Федоровым останавливаются около Большого театра посмотреть, как люди идут в театр. Вернее, как бегут опоздавшие и томятся непопавшие.

— Внук растет,— почему-то говорит Федоров.

— Он на тебя похож,— отвечает Таня.

— Ну, звоним последний раз. Если нету — идем в кино. И все.

«Хоть бы не было»,— думает про себя Таня.

Но на этот раз Каштанов дома.

— Гриша, Гриша, ты никогда не узнаешь, кто с тобой говорит,— улыбаясь, кричит Федоров в трубку.— Киев помнишь? Партшколу помнишь? Это Федоров, Михаил Федоров, не Иван, а Михаил. Здравствуй, Гриша!

— А-а,— отвечает незнакомый голос.— Какой Федоров?

— Михаил Федоров. На партийной конференции мы с тобой виделись последний раз. Вспоминаешь? Здравствуй, Гриша!

— Здравствуй.

— Вспомнил, наконец.

— Как же ты меня нашел? Разыскал?

— Ну нашел и нашел,— радостно и возбужденно говорит Федоров.— Как ты, Гриша? Какой стал, старый, толстый? А Снегирева помнишь? Я его вижу иногда.

— Снегирева помню.

— Ну, какой же ты стал, а? — продолжает быстро спрашивать Федоров.— Дети есть? Большие? Очень приятно, очень хорошо найти тебя.— Федоров растроганно улыбается, и Таня тоже улыбается, глядя на него.— Где ты сейчас работаешь, я знаю, прочитал в газете. Кого из наших видишь? Где Глебов? Розенштам? Живы?

— Не встречал.

— А я Иванеева встретил в Ленинграде. Он меня узнал, а я его нет. Седой совсем, постарел, но молодец. Инструктор горкома.

— А ты сам-то где? — спрашивает Каштанов.

— Я приехал в Москву в командировку.

— А где сам-то?

— Работаю прорабом, живу в Смоленске. А ты как,

все эти годы в Москве? Свиридов наш генералом стал, черт!

— Знаю Свиридова.

— Хорошо бы его повидать! Вспомнить старое, поговорить. У меня сохранилась фотография, перед самым фронтом мы снялись, там все наши ребята. Крылов умер недавно. И ты там есть, сбоку стоишь. А какие мы там молодые, Гриша, а? Сколько лет прошло, ну-ка, скажи!

— Много,— отвечает Каштанов.

— А голос ты мой узнаешь?

— Голос не узнаю.

— А я твой узнаю. Сперва не узнал, а теперь узнаю. Ну скажи что-нибудь. Сын у тебя? Или дочь? Может, внуки есть?

— Дочь.

— Узнаю твой голос, конечно, узнаю! А ты что такой скучный? Нездоров?

— Здоров.

— Что, Гриша, часто нашу молодость вспоминаешь? Я, признаюсь, часто. Даже вон племянницу замучил.

— Так ведь что вспоминать, работать надо.

— Это верно,— соглашается Федоров,— это ты верно подметил. Но я люблю нашу молодость. Дорожу, как говорится. Ну, Гриша, повидаться бы нам хорошо. Я с племянницей здесь.

— Я тут ни при чем,— сердито шепчет Таня.

— Так ты звони. Звони,— говорит Каштанов.— Позвони мне знаешь когда? Сейчас посмотри, подожди минутку.

— Жду, жду.

— Минуту. Позвони-ка ты мне в среду. Да, в среду! И мы условимся, когда встретиться.

— А я завтра уезжаю,— говорит Федоров.

— Будущая неделя у меня вся занята, понимаешь,— продолжает, как будто не слыша, Каштанов.— Понедельник, вторник, среда...

— Так как же?

— Вот именно,— шутит Каштанов,— значит, в среду и договоримся. А ты звони, звони, не стесняйся. Сегодня не дозвонился, завтра звони. Понастойчивей, понастойчивей.

— Ну, будь здоров! — Федоров вешает трубку.— Как был дураком, так дураком и остался,— спокойно го-

ворит он Тане, выходит из телефонной будки и останавливается.

— То есть как?

— А вот так.

— Что он тебе такого сказал?

— В том-то и дело, что ничего не сказал.

— А почему ты рассердился?

— Кто? Я? Где я рассердился?

— Нигде.

— Видишь ли, я никогда не был высококого мнения о Каштанове, но, конечно, я надеялся, что, может быть, за эти годы он стал человеком...

— Дядя,— восклицает Таня,— имей совесть! Ты целый день расхваливал этого Каштанова. Имей совесть!

— Ты глупа, и больше ничего. Разве я его хвалил? Я нашу молодость вспоминал, дурочка. И всех своих товарищей я хвалил. И буду впредь.

— Так-с,— говорит Таня.

— Ты Сергея моего видела?

— Видела.

— Плохой?

— Средний.

— А Егоров?

— Егорова я очень люблю. Я не спорю.

— То-то! А с Каштановым я и раньше никогда не дружил. Но не надо обобщать. Я очень не люблю, когда обобщают.

— Кто это, интересно, обобщает?

— Если один человек плох, то это не значит, что и другие такие. Жаль, целый день потерял. И зачем нам нужен был Каштанов, спрашивается?

— Нам! — возмущается Таня.— Мне он совершенно не нужен. И давай отойдем от автомата, а то на нас люди смотрят.

Федоров послушно делает несколько шагов, но опять останавливается.

— Танечка, ты на меня не сердись? — виновато говорит он.

— За что?

— Целый день сегодня потеряла. Обидно.

— Чепуха!

— Но я тоже не виноват. Откуда я мог знать? А ты знаешь мое железное правило — я в человека верю. Я и

тебя как учу? Если ошибся в человеке — жаль. Но исключение только подтверждает правило. А мы можем еще успеть в кино, как ты думаешь?

— Конечно. Тем более что в десять часов меня будут ждать около кино. Один знакомый.

— Что?

— Ничего. Идем. Только скорее, — весело отвечает Таня и берет дядю за руку.

Но Федоров продолжает стоять на месте.

— А почему ты раньше не сказала, что тебя ждут? Я не пойду.

— Не сказала, — смеется Таня. — Мы же к Каштанову в гости собирались, ты забыл.

— Не пойду. Зачем я пойду. Я не хочу вам мешать. Зачем я буду вам мешать?

— Но мне надо тебя с ним познакомить. Как ты не понимаешь? Ты пойми. Это очень важно.

— Ах, вот как, ах, вот как! — растерянно и ласково повторяет Федоров. — Тогда идем. Тогда мы идем. Одну минуточку. — И дядя поправляет свой вязаный галстук, одергивает пиджак и причесывает мягкие пегие волосы. — Идем. Если твой парень мне понравится, я скажу тебе прямо, но если не понравится...

— Он тебе понравится, — говорит Таня.



ЭТОТ ЕРЕМЕЕВ

— Заниматься болтом и ржавым гвоздем буду я, а он пускай бы охватил весь объем работ, если он начальник! А ржавые гвозди я буду доставать. Я это лучше знаю! — кричала высокая женщина в странном сарафане, из которого она как будто выросла.

«Это невыносимо», — думал ее собеседник.

Разговор происходил на лугу, среди ромашек и колокольчиков, высокой травы и серебряного ковыля. Неподалеку сбивчиво тархтел трактор. Пахло мятой, сухой травой, полынью, горячей землей и нефтью.

Женщина нагнулась и стала пить воду из родничка. Роднички в этих местах били повсюду, неожиданные, стремительные, ледяные.

Женщина пила с ладоней, захлебываясь, и не могла оторваться. Она поливала водой руки, плечи, ноги: было жарко.

— Пейте, пейте, — говорила она, поднимая ясные голубые глаза на своего спутника. — Что ж вы не пьете? Такая вкусная вода! Пейте, угощайтесь!

— Я не хочу, Вера Петровна, не хочу я пить, — упрямо отказывался мужчина.

— Эх, напоила бы я всех сейчас такой водичкой! — сказала Вера Петровна. — Жаль, не могу.

И она опять нагнулась к роднику. Мужчина отошел в сторону и стал заводить часы.

Ему хотелось стукнуть Веру Петровну по голове, так

она ему надоела за сегодняшний день. Она шумела, ругалась, хвасталась. По ее словам выходило, что никто не умеет работать, только она и несколько монтеров. А главное, никто не любит свою работу, только она любит. А его, молодого инженера Еремеева, она особенно ругала. И равнодушный он, и непонятно, чему его учили в институте, и непонятно, что из него получится в жизни.

Она его ругала, а он молчал. Юное лицо Еремеева как бы говорило: «Ори, тетка, ори, мне на тебя наплевать, ну, еще поори, я послушаю».

Еремееву хотелось пить; он не пил нарочно. «Из принципа»,— сказал он себе. А Вера Петровна даже воду пила громко.

— Ладно, товарищ Еремеев, пошли дальше.

Вера Петровна в последний раз провела мокрой рукой по лицу, смочила коротко стриженные волосы и потянулась.

— Эх, жизнь наша!

На вид Вере Петровне было лет тридцать пять, но могло быть и меньше. Лицо ее было бронзово загорелым, брови и ресницы на степном солнце стали почти белыми, волосы — рыжеватыми. Все в ее лице и фигуре было крупно, отчетливо, дерзко, только голубые глаза — добрые, застенчивые.

Вера Петровна ловким движением вытянула из кармана своего красного сарафана две папиросы из надорванной пачки, одну протянула Еремееву.

— Не люблю, когда женщина курит,— заметил Еремеев, но папиросу взял,— и громко разговаривает.

— И я не люблю,— не обидевшись сказала Вера Петровна,— но ничего не поделаешь.— Она с грустью посмотрела на дальние холмы и белые облака над ними, как будто там, в облаках, бродила некурящая Вера Петровна с тихим, нежным голосом и мягкими движениями.— Да,— она мотнула головой, отгоняя видение,— конечно. А как мне с вами справляться без крика? — Она опять возвысила голос.— Скажите, как? Вот с вами, например?

— О-ох! — Еремеев поморщился.

— Нечего охаты! — накинулась на него Вера Петровна.— Брюки вас научили гладить, а работать не на-

учили. Вы мне скажите: что вас в жизни интересует? Ничего вас не интересует.

— Вы в этом уверены? — спросил Еремеев.

— Уверена, — ответила Вера Петровна.

— Вот и прекрасно. И хватит меня перевоспитывать.

— Будем выходить на дорогу и ждать автобуса или пойдем пешком? — Вера Петровна решила прекратить разговор.

— Подождем, — назло Вере Петровне сказал Еремеев, который наверняка знал, что Вера Петровна ждать не будет, да и сам не любил ждать.

— А по-моему, быстрее дойти. Я пошла. Догоняйте! — крикнула Вера Петровна и зашагала, широко размахивая длинными загорелыми руками. Подол ее красного сарафана развевался на ветру, как флаг.

Еремеев усмехнулся и двинулся следом. Так они и шли: она впереди, он сзади.

До города было недалеко, и дорога вела лугами. Вера Петровна стала напевать песенку.

— Вот черт! — воскликнула она. — Ни у одной песни слов не знаю. Почему это? А вы знаете? Подпевайте!

Еремеев подпевать не стал, но подсказал Вере Петровне следующий куплет. Он шел, поглядывая на часы, и думал: «Ну помолчи ты хоть минуту, крикунья».

Город с холмов был хорошо виден — светлый, сверкающий, еще в строительных лесах, но уже зеленый. Улицы полукругами вились вокруг центра, который еще не был отстроен. Дворец техники стоял на площади. Площадь же была только наполовину площадью, наполовину она была пустырем, и сочные лопухи росли на этой половине.

— Белый наш город, — сказала Вера Петровна. — Но, по-моему, город надо было строить в другом месте. Знаете, где?

— Где? — нехотя отозвался Еремеев.

— Вон там, — Вера Петровна протянула руку, — за тем холмом, рядом с деревней Пашки.

— Да, да, — небрежно сказал Еремеев, но посмотрел, куда показывала Вера Петровна.

Вера Петровна не обратила внимания на его тон.

— Там тихое место, безветренное и высокое, здоровое, прямо курорт. Вид прекрасный открывается. А внизу насадили бы парк. Какой бы там город был!

— Вообще-то верно,— согласился Еремеев.

— Это понимать надо! Мы с вами все-таки строители. Нас это касается.

— Не касается,— упрямо сказал Еремеев.

Вера Петровна посмотрела на него, и ей не захотелось спорить.

Они шли мимо нефтяных вышек. Неподалеку горел факел, плохо различимый на солнечном свету. Но глаза Веры Петровны видели все.

— Эх,— сказала она,— эх-эх! Богатые мы и бесхозяйственные. Горит у нас драгоценный газ, а мы смотрим.

— А чего? Красиво горит. Мне, например, нравится,— с вызовом ответил Еремеев.

— Как вы можете так говорить!— крикнула Вера Петровна.— Комсомолец!

— Лучше так говорить, как я говорю, чем так охать без конца, как вы,— огрызнулся Еремеев.— Факел!

И они посмотрели друг на друга с нескрываемой злобой.

Город не имел окраин, начинался сразу. Только что был лес, только что был луг, а здесь перед ними, окунаясь в траву и цветы, стоял четырехэтажный дом. Внизу был магазин, витрины еще были пустыми, со стекол не до конца оттерта краска, но магазин торговал.

— Зайдем посмотрим,— предложила Вера Петровна,— может быть, что-нибудь хорошенькое дают. С этим домиком мы помучились. Наше детище. Посмотрим на свою работу, полюбуемся.

В магазине была очередь за сосисками. Вера Петровна сразу сунулась к прилавку посмотреть. Любопытная и нескладная, она даже кого-то задела локтем, пробираясь вперед.

В очереди зароптали:

— Куда? Куда лезет? Она не стояла!

Тучная женщина с черной кошелкой из самого конца очереди вышла к прилавку.

— Не отпускайте ей, товарищ продавец, пускай постоит.

Продавщица узнала Веру Петровну.

— Не кричите,— сказала она, обращаясь к очереди,— это наши строители. Вы им за дом лучше спасибо скажите, а не кричите. Сколько вам свешать?

— Мне не надо, честное слово,— смущенно проговорила Вера Петровна.— Я только посмотреть хотела.

— Берите, берите, хорошие сосиски,— уговаривала продавщица.— Сколько свешать?

Женщины в очереди смолкли и теперь улыбались: многие узнали Веру Петровну.

— Берите,— басом сказала толстуха с черной кошелкой и ушла в свой конец очереди.— Чего там!

Из магазина Вера Петровна вышла со свертком сосисок, красная, и дальше по улице шла молча. Еремееву даже стало жалко ее, но он насмешливо улыбался и тоже молчал. Это означало: «Не суйся, не лезь, не ори ты всегда, тогда не будет стыдно».

Кончились четырехэтажные дома, потянулись небольшие стандартные деревянные, снаружи оштукатуренные домики. В здешних краях зимы были суровые. Домики стояли в садах, в каждом саду в это время работали.

Навстречу двигалась группа парней в соломенных шляпах, один шел с гитарой наперевес, у остальных оттопыривались карманы.

Вера Петровна остановилась, парни ее окружили.

— Вы куда это, хлопцы? — громко спросила Вера Петровна.— Гулять собрались?

— А почему не погулять? — сказал тот, который был с гитарой.— Идемте с нами, Вера Петровна.

— Спасибо, хлопцы, не могу,— красуюсь, отвечала им Вера Петровна; видно, ей было приятно, что монтеры зовут ее.— Я бы пошла, хлопцы, но работы много.

— Глубоко сожалеем,— вежливо сказал парень с гитарой. Уговаривать ее он не стал, приподнял соломенную шляпу, и группа расступилась.

— Хорошие у меня ребята,— растрогалась Вера Петровна.— Когда кончаем объект, я всегда им говорю: «Хлопцы, вам спасибо! Да, пока что мы, грубые электрики, командуем миром, а не атомщики».

Вера Петровна резко остановилась.

— Что случилось? — почти испуганно спросил Еремеев.

— Молодежный парк! Полюбуйтесь! — загремела Вера Петровна.

Прохожие оборачивались на ее голос.

Еремеев покорно остановился и покорно посмотрел в сторону парка.

Парк был действительно плох. Собственно-то, и парка не было — овражек с чахлыми деревцами, ссохшимися, пожелтевшими.

— Когда закладывали, говорили, что надо оставить овражек как есть, что так будет красивее, вольнее. А на самом деле лень было разровнять землю, спланировать. Вон дороженьки все затоптанные, елки погибли неужоженные. Овраг был, овраг и остался. Стыд для нашего города — ходим мимо, и смотреть стыдно, и говорить обидно!

— Да бросьте вы, Вера Петровна, вырастет парк, ничего особенного. Чего уж так переживать! Есть вещи поважнее, — сказал Еремеев.

Чувство антипатии к Еремееву было таким сильным, что Вера Петровна не стала возражать.

Однажды какая-то девушка назвала Еремеева красивым. Вера Петровна удивилась. Лицо у Еремеева было как будто сонное, с широко расставленными глазами. Лоб, правда, был большой и открытый, но Вере Петровне всегда казалось, что мысли Еремеева далеко-далеко, если у него вообще есть мысли. Лоб-то есть, а мыслей может и не быть.

Глаза Еремеева, когда он смотрел на Веру Петровну, были слегка прищурены, хмурые, неприязненные глаза. Разве могут быть такие глаза у молодого парня? У него глаза должны быть горячие, веселые, ясные. И голос должен быть слышный, безудержный, а не глухой, как будто таящий что-то против всех.

Собственно, ничего определенно плохого Вера Петровна не могла сказать о Еремееве. Она удивлялась ему, такому спокойному, молчаливому. Он казался ей неважным работником, формальным человеком. Вера Петровна таких ненавидела. «Равнодушие — враг прогресса», — любила говорить она и в жизни и на собраниях, а на собраниях она выступала всегда.

Конечно, Еремеев еще молодой, неопытный, но ведь другие тоже молодые. Он уже год здесь, а как будто делает одолжение, что работает со всеми вместе. После работы спешит домой, а ведь семьи у него нет.

Вера Петровна сегодня нарочно заставляла Еремеева ходить с нею, нарочно пошла даже на те стройки, где недавно была. Пускай, пускай! Откуда берутся такие хлад-

нокровные, вытуженные, с дипломами инженеры и как с ними бороться, как из них делать людей,— Вера Петровна не знала. Она делала, что могла.

«Хватит меня перевоспитывать». Лучше всего, наверное, было оставить Еремеева в покое, но этого не позволял ее характер.

— Знаете что,— решительно заговорил Еремеев,— хватит. С утра мотаемся. У меня еще есть другие дела. Достаточно важные. До свидания!

Вера Петровна растерянно посмотрела на Еремеева. Вдруг его глаза показались ей запавшими и блестящими от усталости, на его щеках она увидела пятна.

— Вы устали? Вы же молодой. Ну, идите, идите. Какие у вас там еще дела? Живете несемейно. Кто вас разберет!

Еремеев повернулся и пошел; притихшая Вера Петровна осталась одна. В руках у нее был сверток с сосисками.

Мимо прошел мальчик в очках, в тапочках, нес ведро картошки.

— Пойду-ка и я домой,— сказала тихонько Вера Петровна,— отварю картошки, отварю сосисок, а вечером пойду в кино.

— Скоро озеленение вырастет, тогда будет хорошо,— услышала Вера Петровна мужской голос.

Женский голос нежно произнес:

— Не скоро.

— Всегда споришь, поперечный ты человек,— произнес мужской голос.

Вера Петровна улыбнулась.

Только успела она открыть дверь своей квартиры — сразу зазвонил телефон. Она взяла трубку, немного послушала, потом вздохнула и закричала:

— Я на вас за это в суд подам! К прокурору! Вы про эти провода забудьте! Немедленно пойдете под суд! Кто кричит? Я кричу? Я вам вежливо говорю: под суд! Еремеев сказал? А какое он имеет право? Он не материально ответственное лицо. Запрещаю! Да.

Она повесила трубку и, пытаясь, подошла к зеркалу. Зеркало отразило ее растрепанные волосы, запылившую шею и злополучный сарафан, который она шила сама и не успела дошить.

— Ладно,— сказала Вера Петровна,— пускай я чучело! Плевать на все! Ужинаю и иду в кино.

В кино билетов уже не было. Выручила знакомая девушка, техник Галия. Галия была румяная, с косами, уложенными короной, с темными глазами, опущенными ресницами такой длины и красоты, что Вера Петровна не удержалась и попросила Галию закрыть глаза.

Галия рассмеялась и с готовностью зажмурилась. Темные таинственные тени легли на смуглое, румяное, детски гладкое лицо.

В руках у Галии были цветы. Она показала их Вере Петровне.

— Цветок сам желтый, а внутри припекает розовым. Красиво, правда?

Вера Петровна посмотрела.

— А как у тебя дела? — спросила Вера Петровна.

Галия заочно училась в нефтяном институте.

— Ничего,— ответила Галия.

Вера Петровна сразу поняла, что Галия говорит не об институте.

— Уж не замуж ли собралась?

Галия промолчала.

— Кто же он? Хороший?

— Очень.

— Чем же?

— Всем.

— Красивый? Умный?

— Очень,— сказала Галия.

— Кто он? Скажешь мне?

— Саша Еремеев,— шепнула Галия и подняла к Вере Петровне розовое лицо.

Корона волос, скрепленных черными шпильками, опустилась книзу. В вырезе платья виднелась загорелая шея.

— Еремеев? — удивилась Вера Петровна.— Не может быть!

— Он,— шепотом подтвердила Галия.— Почему не может быть? Разве я такая плохая?

— Ты! Ты, но он...— вырвалось у Веры Петровны.

— Вы его знаете,— со счастливой улыбкой проговорила Галия.— Вы же его знаете,— повторила она, поощряя Веру Петровну к рассказам.

— Еремеев? Этот Еремеев? — удивилась Вера Петровна. «Этот Еремеев, этот Еремеев!» — думала она.

— Ну конечно! Вам он нравится?

— Мне? — Вера Петровна медлила, не зная, что говорить. Она умела говорить только правду и совершенно не умела врать и хитрить. — Мне? Почему? Парень он... Слушай, а ты выходишь за него замуж?

Галия кивнула.

— Мне он нравится, — проямлила Вера Петровна.

— Я так и знала! — Галия засмеялась.

— А что? А что такого? Еремеев — хороший парень.

— Сашка — сама душа. Вы же его знаете!

— Знаю, — сказала Вера Петровна.

И в это время в зале погасили свет. Галия сжала руку Веры Петровны.

«Такая прекрасная дивчина — и этот Еремеев. Этот Еремеев», — думала Вера Петровна. И она вспомнила лицо Еремеева: И никак не могла вспомнить, какого же цвета у него глаза. Не то серые, не то черные, в общем противные.

Сеанс кончился. Галия крепко взяла Веру Петровну под руку, и они пошли по парку — кинотеатр находился в парке.

— Саша не пошел со мной, не мог сегодня. Он очень много работает. Скажу вам по секрету: он с двумя товарищами уже полгода над одним проектом сидит. У них железное правило — два вечера в неделю никуда не ходить. Даже в кино. Я убежала, чтобы их не смущать. Пускай работают! Они молодцы!

Вера Петровна задумчиво слушала.

— Может быть, меня встретить придет, цветы купил, — продолжала Галия. — Саша — сама душа. Ему до всего есть дело. Да вы сами знаете. Вот посмотрите на эти факелы.

В темноте на холмах факелы были видны отчетливо, они горели, как тоненькие трепетные свечки с неровным пламенем. Их было пять или шесть, таких светильников, вдалеке.

— Красиво! Но Саша мой возмущается. «Мы, говорит, идолопоклонники. Это безобразие надо немедленно гасить». Полгода они уже разрабатывают свой проект, скоро доклад будут делать.

«Что я слышу! — Вера Петровна была озадачена. — Вот почему он так рассердился, когда я про факелы заговорила! Ай-яй-яй, как глупо, как неловко получилось! Дура я. Но кто же знал...»

— Да, Еремеев молодец! Работать умеет, этого у него не отнимешь, — веско сказала Вера Петровна.

— Работоспособность, — заметила Галия. Вера Петровна покрутила веточку. — А какой он веселый, да! Вы знаете? С ним всегда весело. Или это, может быть, только мне?

— Очень веселый, — пробормотала Вера Петровна. — Мне с ним тоже очень весело. Веселый так веселый!

Вера Петровна поняла, что настоящего Еремеева видит влюбленная Галия, а не она, и принялась хвалить Еремеева со всей страстью своего благородного, горячего сердца. Галия только улыбалась.

Потом Галия сказала:

— Вы его в глаза так не хвалите, Вера Петровна, а то он испортится. Нельзя. Пускай будет скромный. Он не знает, какой он, и пускай не знает.

Они вышли из парка и увидели Еремеева. Галия побежала ему навстречу, а Вера Петровна решительно повернула в другую сторону и быстро пошла не по тротуару, а прямо по дороге.

— Кто это был? — спросил Еремеев Галию.

— Вера Петровна.

— Да ну ее! — буркнул он.

— Ой! — воскликнула Галия. — Как тебе не стыдно! Ты совести-то имеешь хоть грамм? Она к тебе так относится, как к родному. Хвалила тебя, слушать было неудобно. Хорошая она женщина!

— Да брось ты, у тебя все хорошие. Давай лучше спрячемся в подворотню, и я тебя поцелую.

— Вера Петровна хорошая.

— Слушай, оставь ее в покое. Я на работе от нее не внаю куда деваться, теперь еще в личной жизни. Она может перепилить человека на восемь частей. А как она орет целый день, ты не слышала? Ты с ней в кино сидела, а я с ней работаю. Она крикунья. Если бы ты была крикунья, я бы на тебе никогда не женился. Но если тебе так хочется, я готов согласиться, что она неплохой человек.

— Хорошие люди всегда немного невыносимы,— с спокойной мудростью сказала Галия.

— Слушай,— сказал Еремеев,— я пожертвовал тобой ради проекта, но ради этой Веры Петровны...

— Эта Вера Петровна хорошая,— упрямо сказала Галия, проявляя характер, который был скрыт за ее нежным лицом и тихим голосом.

Тогда Еремеев сделал то единственное, что он мог сделать. Он поцеловал Галию на улице, не заходя в подворотню, и сказал:

— Не забывай, я люблю тебя.



ПЫЛЬ И ВЕТЕР

Эта встреча не была случайной. Что же случайного, когда встречаются два человека, которые называли друг друга друзьями. И хотя прошло семь лет, как они не виделись, и все эти семь лет они как бы ехали от одной точки в разные стороны, они встретились.

Ветер гнал, и гнал, и крутил колючую пыль. Та самая пыль, которая еще два часа назад лежала на дорогах серой ватой, сейчас сделалась острой, как железные стружки, перестала быть пылью, превратилась в песчинки, камушки, камни, щепки. И все это летело в лицо, в глаза, за шиворот. Будто кто-то нагибался, поднимал с земли все, что только можно было подобрать, и злобно швырял в людей, бежавших по улице.

Привыкнуть к этим ветрам и к этой пыли было невозможно. Надо было закрывать голову и лицо и бежать как можно быстрее.

Нина возвращалась с работы домой. Было три часа дня, суббота. Один раз она выругалась: «Эта чертова пыль!» — и тут же раскаялась: пыль оказалась на зубах, и пришлось плевать и вытирать зубы платком.

— Нинка! — услышала она веселый забытый голос. — Ниночка!

Высокая женщина в белом платье с волнистыми разводами пыли встала перед Ниной. Это была Тося, почти Тося, потому что была гораздо старше Тоси. Мелко завитые короткие волосы металась над головой спокойной

большой женщины, которая смотрела на Нину с улыбкой, не отрываясь. Они обнялись.

Нина показала рукой на ближайший подъезд, и обе, обнявшись за плечи, быстро пошли туда.

— Ну и пылица в вашем городе! — сказала Тося, вытирая лицо платком; запахло духами.

— Это здесь редко бывает, — сказала Нина, хотя ветры были бичом городка и сама Нина любила говорить: «Живем, как в трубе».

«Здорово мы постарели!» — думала Нина, глядя на подругу, с которой пять лет была неразлучна в институте.

— Нинка, Нинка! — говорила Тося. — Наконец-то мы повидались! Ты молодец, не переменялась. А я? Не та? Что ты смотришь?

— Смотрю, — сказала Нина, — просто смотрю. Радуюсь.

И это была неправда. Радости Нина не ощущала.

— Сережа ехал сюда, я уговорила взять меня с собой. Ехала и боялась, вдруг не застану, вдруг ты в отпуске, или в командировке, или еще где-нибудь. Может быть, замуж вышла, думала.

— Пока что не вышла, никто не берет, — сказала Нина. — Ты сегодня приехала?

— Утром. Столько рассказать надо, спросить еще больше! Пойдем к тебе.

Квартира у Нины была хорошая, как все новые квартиры в городе. Старых, впрочем, здесь вообще не было. Светлая, с газом, с паровым отоплением, с ванной. Ванна — счастье в этой пылице. Но дома, Нина это знала, был беспорядок, потому что мать болела и еле управлялась всех накормить, сестра разбаловалась и, кроме спорта, ничего не хотела знать. Братья старались помочь чем только могли, но старший работал на буровой, другой — на промыслах и учился в техникуме, третий учился в институте. К счастью, они приходили домой только обедать и спать. Они были рослые, крикливые, у них было много товарищей, они были молодые, с хорошим аппетитом и любили петь.

Ветер немного утих.

— Пойдем, — позвала Нина.

Мимо, свистя на все лады в стручки акации, прошла

группа ремесленников. Ремесленники почтительно поздоровались с Ниной, потом опять начали свистеть.

Около дома Нины маячила старуха, мать начальника одной из контор бурения. Старуха наблюдала за всей улицей, всегда знала, кто к кому пошел в гости, кто когда вернулся с работы, кто сегодня выпивал, а кто опохмелялся. Но так как основная обязанность старухи состояла в том, чтобы присматривать за внуком, она время от времени громко кричала, ни к кому не обращаясь: «Не озоруй!» До внука эти наставления не доходили: он старался держаться от дома подальше.

Старуха проводила видную Тося одобрительным взглядом и крикнула: «Не озоруй!»

На Нину старуха тоже посмотрела дружелюбно: она уважала Нину и не раз высказывалась, что лучше бы ее сын женился на ней, чем на той, на которой он женился.

— Ну как ты? — все спрашивала по дороге Тося.

— Хорошо, — отвечала Нина и думала: «Потом расскажу все, обязательно расскажу или ничего не расскажу».

Тося, всегда разговорчивая, слезливая, охотно откровенничала, и сейчас у нее стояли слезы в глазах: она была растрогана встречей. Лицо у Тоси было круглое, красивое, глаза большие, серые, движения плавные. Красивая дебелая женщина средних лет.

А Нина была худая, тонкое платье не могло скрыть выступавших лопаток на спине. Женщина, которой мучительно нужно отдохнуть, а если бы она отдохнула, тогда бы еще можно было увидеть, что она и молода и привлекательна. У Нины были яркие синие глаза на загорелом дочерна лице. Кожа в который раз за лето лупилась на носу, губы, четкие и небольшие, покрашены неяркой помадой. Пальцы рук испорчены ревматизмом, полученным здесь в первые суровые зимы; морщины едва заметной белой паутинкой лежали вокруг глаз. И все-таки она выглядела гораздо моложе Тоси. Казалось, ей нужно только отдохнуть и начать улыбаться.

Голос у Нины был глухой, хриловатый, как будто простуженный. А Тося разговаривала громко, певуче и слушала сама себя.

Нина сразу вспомнила эту манеру подруги. Тося рассказывала себе, никому другому.

— Семья хорошая, дочки послушные, а Сережа золотой, только очень упрямый. Но я не спорю с ними, мне лишь бы тихо было, я всем уступаю, и все довольны.— И она покивала головой, соглашаясь с собственными словами и одобряя собственные мысли.

«Как она скучно говорит!» — подумала Нина.

— И квартира у нас хорошая. Правда, сейчас можно будет другую получить, мне наш район не нравится: зелени мало и этаж высокий. Знаешь, я всю эту зиму болела,— продолжала Тося.

Слова о болезни звучали смешно: Тося была воплощением здоровья.

— Вот что значит внешность обманчива! — засмеялась Нина.— Перестань, Тоська, какая ты больная!

Но Тося не улыбалась.

— Внешность обманчива, это верно. Ты небось здоровая, хоть и худая.

Нина решила не распространяться о своих болезнях.

Мать Нины, увидев Тосю, заулыбалась, всплакнула, сказала: «Вот ты какая стала!» — и перевела взгляд на дочь.

— Лида где? — спросила Нина про сестру.— Опять бегаешь?

— Она на соревнования просится ехать,— виновато проговорила мать.— Я не разрешила.

— Я знаю, как ты не разрешила! — пробурчала Нина.— Но я ее не пушу. Зачеты надо сдавать, а рекорды потом будет ставить. Когда диплом в кармане будет. На этот раз обойдутся без нее.

— Ты ей так и скажи, она тебя послушает,— сказала мать,— а меня она не послушает.— Мать помолчала.— Только ей очень хочется поехать. Она всех подведет, если не поедет.

Нина устало вздохнула.

— Останется без образования. Потом будет жалеть, поздно будет. Пускай едет, я ей не сторож.

Пообедали, сели на диван.

— Я в ванну воды набрала, можно мыться,— осторожно сказала мать и пояснила Тосе: — У всех огороды, поливают, а нам приходится воду запасать, иначе и не помоешься.

— Некоторые огородники у себя под каждый куст кран провели. По десять кранов в саду, пустят воду — и

все. А другие без воды сидят,— сказала Нина.— Безобразия! И в газету писали, и говорили без конца. Все бесполезно.

— Под каждым кустиком у них кран,— повторила мать. Видно было, что она привыкла повторять за Ниной.

Мать вышла, Нина и Тося остались вдвоем. Нина чувствовала себя напряженно. «Чужими стали»,— подумала она и со смущенной улыбкой посмотрела в лицо подруге. Нина вспомнила, как на последнем курсе Тося была озабочена тем, чтобы выйти замуж. Она влюблялась в одного, в другого, наконец, вышла замуж за того, в кого влюблена не была. Она объявила: «Он хороший»,— и сложный вопрос был разрешен, Тося пристроилась.

Тося вздохнула, она, видно, тоже о чем-то вспомнила.

— Ну, Ниночка, рассказывай, рассказывай, как живешь. Работать тяжело? Ведь работа такая, самая мужицкая, я-то знаю. И условия здесь все-таки тяжелые, зря ты храбришься,— говорила Тося.

Но Тося не знала этой жизни, этой работы, она не работала ни одного дня. Когда-то давно она была здесь вместе с Ниной на практике, когда здесь ничего не было и все только еще начиналось. И города этого не было, и бесчисленных вышек, которые видны из окна далеко вокруг, и дорог, прекрасных, ровных, асфальтированных дорог. И что из того, что эти дороги зимой заносит снегом и к буровым приходится добираться на тракторах, что эти дороги иногда обрываются в самом неожиданном месте и дальше приходится ехать по мягкой проклятой пыли и днем включать фары на машине? Эти дороги весной заливают, потому что даже маленькая речка может весной доставить большие неприятности.

Из них двоих это знает только Нина. Тося не знает ничего.

— Я вижу, здесь и со снабжением неважно,— продолжала Тося с искренним участием.

— Со снабжением? — Нина пожала плечами.— А мы считаем, что в последнее время стало гораздо лучше.

— Что ты говоришь? Я прошла по магазинам.

— Не знаю. Мы не жалуемся. Предыдущие годы было плохо, а сейчас наладилось.

— Значит, вообще все хорошо? — Тося говорила уже с иронией.

— Ну не все,— ответила Нина.— Плохо, когда зимой бураны, когда летом ветры, когда осенью дожди, а весной вода. Мы, знаешь, здесь очень зависим от стихии.

— Нинка, ведь я вижу, что тебе тяжело. По твоим синим глазам вижу. Я тебя знаю, не забыла.

— Мы буровики! — усмехнулась Нина.

— Сколько раз в жизни я слышала эти слова: мы буровики!

— А я, наверно, еще больше,— ответила Нина.— Когда мой начальник меня куда-нибудь посылает к черту на рога, он всегда говорит: «Она все может, она выдержит, она буровик».

— Помнишь, когда мы приезжали сюда на практику,— сказала Тося,— здесь был буровой мастер, не помню его по фамилии. Он все повторял: «Бегите, девочки, бегите от нефти подальше, пока не поздно. Женский полк здесь лишний». Он так смешно говорил: «женский полк».

— Да, женский полк. Фамилия этого мастера — Королев, мы с ним друзья. А бежать мне уже поздно. Ты убежала, ну и молодец, а мне уже поздно.

— Послушай, Нинка, мне пришла в голову идея: просись в управление. Ты на хорошем счету, верно? Тебя возьмут в управление. Просись. Все-таки областной город, не сравнить с этими твоими промыслами. Квартиру получишь, не сразу, но получишь. Строительство идет большое. Пока не поздно, просись.

— Как это «просись»? — задумчиво проговорила Нина.— Я не умею. Конечно, если очень постараться, можно отсюда уехать. Мне даже в прошлом году предлагали, я отказалась.

— Хочешь, я похлопочу? То есть попрошу Сережу, он поговорит с кем надо, может быть, что-нибудь и получится, а, Ниночка?

Нина улыбнулась.

— Вот теперь ты улыбнулась, как раньше! — закричала Тося.— Честное слово, давай похлопочу!

— Ты всегда была добрая, Тосенька. Только не хлопочи. Куда мне отсюда ехать? Сама подумай. Я к нефти привязана. А девонская нефть — особенная, ее трудно

доставать. На две тысячи метров бурим. Ты не смотри, что я в производственном отделе сижу. У меня работа не бумажная, я с каждой буровой связана. Между прочим, в Горелове новое месторождение открыли совсем недавно, не слышала? Район еще, конечно, не обустроенный... Но я согласна туда ехать. Не веришь?

— Не верю! — сердито ответила Тося. — Это глупо! Просто глупо!

— Мы буровики! — уже совсем свободно и весело рассмеялась Нина. — И потом, я здесь семь лет. Видишь, сколько мы здесь за это время разбурили, город построили. Неплохой город? Вот на этом самом месте, где мой дом, было картофельное поле, и я сама здесь картошку сажала, вкусная картошка была.

— Ты лучше скажи, почему ты замуж не вышла.

— Никто не взял, — весело ответила Нина.

— А Володя?

— Володя испугался. Когда папа умер, у меня на руках как-никак пятеро осталось. Теперь мы ребят вытянули, только Лидка дурная, ее добыча нефти мало интересует, ее интересует рекорды ставить.

— А ты?

— А я? Что я? У меня даже цветы не цветут. Рука тяжелая. Круглый год листья желтеют, и ни одного цветочка. И солнца, кажется, в квартире достаточно. Рука у меня тяжелая.

— Слушай, переводись в управление, в большой город. Твои иждивенцы уже на ногах, можешь для себя пожить.

— Смешно ты говоришь. Как это я переведусь? Только меня и ждали!

— Это можно устроить.

Нина опять засмеялась, поцеловала Тосю, встала с дивана, перевесилась через окно и посмотрела на улицу. Старуха, как изваяние, стояла в подворотне. Стерегиущие черные глаза вопросительно и сурово посмотрели на Нину: что ты высываешься, в чем дело? Но, увидев, что Нина улыбается, старуха засмеялась, обнажив ровные белые зубы, хотела что-то спросить, но неподвижные дела отвлекли ее, и старуха метнулась во двор.

Нина стояла перед Тосей, худая, стройная, в хорошо сшитом платье.

— Ты что, спортом занимаешься? — ревниво спросила Тося, глядя на нее.

— Да, спортом. Бурением.

— Я серьезно. У тебя все-таки очень здоровый вид. А я весь год болела. В Москву ездила, в клинике столичной лежала. Не могут поставить диагноз. Врачи!

— Может быть, это потому, что нет болезни? Нет болезни, нет и диагноза!

— Ты все шутишь. Мне пора идти в гостиницу. Сережа будет ждать. Завтра давай увидимся утром и обо всем поговорим. Трудно так, сразу... за столько лет!

— Ладно. Я тебя провожу.

— Кто тебе шьет?

— Сама.

Первым, кто встретился на улице, был буровой мастер Королев. Он шел злой, вспотевший, в толстом плаще защитного цвета с капюшоном.

— Лучше жара, чем пыль! Здравствуйте,— сказал он, останавливаясь.— Нина, у вас вода есть?

— Есть. Здравствуйте!

— А у нас нету. И ни горком не знает, и ни один слесарь не знает, отчего в городе воды нет. Ну, а я на исполкоме послезавтра дойду. Вода будет! Нет, наш город еще до ума доводить надо. А эту барышню я помню,— сказал Королев; у него была поразительная память.

— И я вас помню,— ответила Тося.

— В гости приехали?

— В гости,— ответила Нина.

— А где работаете?

— Она не работает.

— Вот и правильно! — одобрил Королев.— Зачем это работать? Я вот тоже скоро брошу, сад разведу, облепиху посажу — есть такой прелестный кустарник.— Королев расстегнул свой негнувшийся плащ, загородился от ветра, закурил.— Где жара и где ветры, там нефть, я уже заметил,— сказал он Нине.

— Вы бросите когда-нибудь курить? — спросила Нина.

— Нет! — крикнул Королев.— А хоронить меня будешь, в гроб рядом со мной пачку папирос положишь. А то жена забудет. Понятно?

— Понятно! — крикнула в ответ Нина.

Королев, сощурившись, посмотрел на нее.

— Вон подружка твоя не работает, даром что инженер, с дипломом. А ты зачем на буровых горло дерешь? Охрипла вся, смотреть на тебя нехорошо. Хотя бы тогда побольше в кабинете сидела, бумаги писала!

— Я не могу, мне работать надо... А я скоро уеду,— сказала Нина,— новое месторождение осваивать.

— Неизвестно, однако, какая еще там нефть — большая или маленькая! — проворчал Королев. — А жаль, дочка, тебя с нами в Чусовских городках не было: начало нефти-то оттуда. Ты сама тоже уральская, да?

— Я вам сто раз говорила, что не уральская, — ответила Нина.

— Ну-ну, ты старику так не отвечай дерзко. Значит, поедешь в Горелово? А кто тебя гонит? Жених твой?

— Никто. Сама.

— Так, так. Хотя я всегда говорю и еще повторю, что женский полк в наше дело не годится. Вон подружка молодец, что бросила! И ты бросай. И я брошу! А ты что, подружку на промыслы ведешь, показывать, что ли? Вы осторожней ходите: нефтишка-то — она ведь коварная. Будьте здоровы!

Королев надвинул капюшон, потрепал Нину по плечу и быстрыми шагами рванулся вперед.

— Сердитый какой! — сказала Тося. — А вспомнил меня. Про какого это он жениха говорил?

— Да так. Шутил.

— Что ты врешь? Таишься от меня, неоткровенная ты стала.

— Ни от кого я не таюсь! — ответила Нина, глядя вслед Королеву, который в своем плаще был похож на монаха.

Тося обиженно замолчала.

Проводив подружку до гостиницы — двухэтажного дома, затененного тополями, Нина медленно пошла домой. Все эти годы вспоминая Тосю, она завидовала ей. Устроенная жизнь! Как ей тоже хотелось устроенной жизни! Сегодня она перестала завидовать Тосе. Она вспомнила красивое и доброе Тосино лицо, ее участливые слова, потом жалобы на здоровье. Потом вспомнила Королеву. Рассердился он на Тосю. «И ты бросай! И я брошу!» Вся жизнь его тут. Он на буровой и умрет. Да, попробуй брось! Как это Тося говорила: «Просись»? Смешное

слово. Отсюда, где каждый дом вырос на глазах, каждая улица? Не одна вышка встала при ее участии. Буровики, суровые люди, говорят ей «ты», называют сестренкой. Ей суждено быть счастливой только здесь, в этих краях, где глубоко под землей лежит нефть, а по земле ходят люди, которые эту нефть добывают.

Сестра Лида, маленькая, стриженная, туго перепоясанная красным ремешком, неизвестно откуда очутилась перед Ниной. Голова у нее была склонена набок, лицо просительное, она заглядывала Нине в глаза.

— Ниночка, я тебя умоляю! Только ты не сердись, ты послушай. Последний раз. Я экзамен сдам. И зачеты. Я их почти сдала. Я всех очень подведу, если не поеду. Ты бы на моем месте...

— Безобразие, — сказала Нина, — форменное безобразие все эти соревнования!

— Последний раз! — проникновенно просила младшая сестра. — Чтобы никого не подводить!

Нина отчетливо видела клетчатую ковбойку за углом соседнего дома. Лида сделала жест рукой, и ковбойка скрылась.

— Ладно, — сказала Нина. — Имей в виду, это плохо кончится.

— Соревнования? — испуганно спросила Лида.

— Нет, экзамены.

— Никогда! — воскликнула Лида и убежала за угол соседнего дома.

Нина подошла к своему дому, остановилась около старухи, вместе с нею стала смотреть на улицу. По улице шли знакомые. А тех, кого не знала Нина, знала старуха.

— Это Еремкины, они немирно живут. А этого ты знаешь, его все знают, ловильный мастер. Трезвый.

Старуха не без кокетства поздоровалась с проходившим мимо высоким бритоголовым человеком.

Прошел помбурильщика Щелаков, веселый могучий парень, помахал Нине газетой. Две подруги с третьего промысла в одинаковых платьях, в одинаковых туфлях медленно шли под руку.

— На танцы, — сказала старуха. — Больно рано собрались.

Небо было темное, дул ветер. Вдруг показалось солн-

це и осветило огромные серебряные баки на склонах ближних зеленых холмов за городом.

Ветер приносил запах полыни с холмов. В городе нефти не пахло нефтью.

На улице вдруг стало оченьлюдно.

— Кончилось кино,— заметила старуха.— А это кто? — спросила она, показывая на смуглую черноволосую девушку и парня в кителе без погон.

— Незнакомые, наверно недавно здесь,— сказала Нина.— А я решила ехать в Горелово.

— Да ну! — сказала старуха и вытянула губу, поросшую темными усиками.— Одна? С ним?

Нина покраснела.

— Он не промахнулся,— сказала старуха,— неплохую выбрал. А нефть там большая?

— Не знаю. Посмотрим,— ответила Нина.

— Д-да. Значит так,— проговорила старуха,— по здравить надо.

И вдруг закричала:

— Не озоруй!

Показался и исчез ее внук.



ТРИ ДНЯ, ТРИ ЗВОНКА

С некоторых пор я ездю в Ленинград в одно учреждение, с которым связана по работе. А живу в Москве.

Останавливаюсь в гостинице, учреждение имеет брешь.

В Ленинграде я родилась и выросла.

Гостиница — странная штука. По утрам в гостиничной жизни есть что-то бодрящее, как кефир, который пьют отдохнувшие за ночь командированные. Но по вечерам все иначе.

То был вечер, к тому же субботний. Из коридора доносилось бряканье посуды, веселье, рождаемое телевизорами. Звучали возбужденные голоса тех, кто как умел справлялся со своей субботней неприкаянностью.

Я сидела за письменным столом у телефона, раскрыв записную книжку на букву «Л». В какую-то из командировок я купила ее, похожую на кусочек мыла, и заполнила особым способом, по городам. Это решительно неудобная и неудобная система, если жизнь твоя записывается вся целиком на буквы «Л» и «М». Алфавитный порядок пришлось смять и заползти на другие буквы.

Такая естественная и простая вещь — позвонить и сказать:

— Угадай, кто говорит?

А я медлила.

У многих в жизни бывает уход. Я тоже уходила, уезжала, убегала, меняла местожительства, профессию, друзей, ни у кого ничего не спрашивала, ни с кем не советовалась. Надо было уйти — я ушла. Все сделала по своему, все забыла, что смогла, не заметила, как пролетело десять лет, потом еще десять...

А потом захотела вернуться... Улица моя ленинградская меня приняла. Другие улицы, сады и площади тоже, приласкав уже тем, что не изменились. Родственники, обиженные мною, приняли, забыли обиды. Однако родственники добры, а улицы равнодушны. Но в этом городе когда-то у меня были друзья...

Я набирала номер, про который только думала, что его забыла. Он был занят сейчас, как и тогда. Наконец я услышала родной голос, — на букву «Л» все родное, и смех, и никакого удивления, как будто моего звонка ждали если не последние десять лет, то последние два часа.

— Дуреха, дуреха, феноменальная дуреха... — сказала Лариса. — Раньше не могла позвонить, свинюшка. Ты откуда? Ты же... ты... за тридевять земель...

А голос был по-прежнему чудесный. Этим чудесным голосом она теперь читает лекции студентам в аудиториях, где нам читали лекции другие голоса. Почему я раньше не позвонила? Простой вопрос, ответа на него нет.

Я попыталась шутить, мне это обычно не удается.

— Ты толстая или худая? — наконец услышала я вопрос, на который могла дать толковый, обстоятельный ответ.

— Средняя, — сообщила я, — а была как бочка. Удалось сбросить пятнадцать кэгэ.

— Без ущерба для красоты и здоровья? — спросил чудесный смеющийся голос.

Но я была недоступна юмору.

— Потом я опять прибавила, и в конечном счете... Слушай, а когда мы увидимся? — сказала я, а сама подумала: «И увидимся ли вообще?»

— Сейчас я иду на день рождения знаешь к кому? К Надюше Журавлевой.

Что-то черноглазое, веселое было связано с этим именем, но и какие-то неурядицы, неустроенность, и что-то еще важное, но что, я не помнила.

— Она теперь живет на краю света, в новом районе. Я одеваюсь,— сообщила Лариса.

И я увидела, как она готовится к вечеру, наряжается. Она не была франтихой, но, подобно мужчине, умела в праздник выглядеть особенно торжественно. Понимала праздника цену. Я увидела, как она стоит перед зеркалом, хмурится и скоро станет такой, которую хочется выбирать в президиум.

— Надюша Журавлева, какая она теперь? — медленно, все еще на ощупь, спросила я.

— Замечательная, как всегда,— ответили мне, как будто закрыли дверь.

Все правильно, я заслужила.

— Когда ты уезжаешь? — спросила Лариса.

Чуть заметная скука скользнула в вопросе, чуть заметное нетерпение. Или мне показалось? Я уезжала послезавтра, в понедельник, когда подпишу документы.

— Завтра? Нет. Я обещала Надюше навестить ее брата...

Вот то, что я забыла в жизни веселой Надюши,— у нее был любимый больной брат, он по-прежнему жив, по-прежнему болен. Все живы...

— А хочешь так? Надюша живет в новом районе. У меня заказано такси, я за тобой заеду, мы по дороге поболтаем, туда ехать почти час. Обратное вернешься на этой же машине. Заодно посмотришь новый район.

Всегда она умела так говорить, каждая фраза несла информацию или мысль. Не то что у других: много слов, а мысль одинокая, едва различимая.

Однако мотаться в такси мне не захотелось. Мы договорились на понедельник на семь вечера.

Я осталась в своем номере, а она поехала, с каждым километром долгой дороги становясь все торжественнее. Я представляла себе это так ясно, как будто все-таки села в то такси. А на последнем километре она умела по-спортивному выложиться до конца и войти весело, как ленточку рвануть грудью. Так она, наверно, теперь входила в аудитории, где ее ждали студенты. Так сегодня войдет в комнату, где уже собрались гости.

Чего я, собственно, желала? Чтобы она к Надюше не ехала или чтобы меня позвала с собой? «У меня сюрприз»,— сказала бы, улыбаясь, хозяйке. И та бы улыбнулась в ответ. А я бы работала сюрпризом. Глупость.

Но не исключено, что я этого хотела. Если судить по обиде, которую ощущала и которая не проходила, не уходила и хотела со мной поговорить.

— Ну чего ты радио-то ломаешь? — сказала моя Обида.— Радио не виновато, оставь его в покое, ты от него ничего не добьешься. Жизнь идет и не останавливается по требованию, как автобус. Не остановятся именины, не остановится суббота, чтобы тебя подобрать. Тебя подбирай, а потом ты опять захочешь выскочить на ходу. Ты ненадежна, ты...

— Кто старое помянет... и притом это мой родной город,— заметила я.

— Ну и что?

— Суббота...

— Привязалась к субботе.

Какая-то зловредность почувствовалась мне и не понравилась. Я эту Обиду отметаю, прогоняю, разговаривать с ней не хочу.

Но разговаривать больше было не с кем. Никого тут не было, только Обида сидела, как барыня, в красном поролоновом кресле, развалясь, и единственный способ покончить с нею было набрать еще один телефонный номер.

Анечка меня не узнала и я ее тоже. Но потом я стала ее голос узнавать. И не столько голос, сколько знаки препинания, которые она всегда как-то удивительно вставляла в свою речь. И сейчас, по прошествии стольких лет, многоточия, восклицательные знаки, точки с запятой и тире хозяйничали в ее речи, как хотели.

— Ты? Ты! Ты... вот уж поистине неожиданно... Неожиданно? Да? — говорила Анечка.— Даже не знаю, что сказать. Я очень рада! Не ждала... Сколько времени прошло... Странно даже, что ты? Вдруг? Позвонила? Неожиданно? — В этом месте она тоже воткнула вопросительный знак.— Неожиданно...— Тут она поставила многоточие на четверть минуты.— Не знаю, о чем спрашивать, что рассказывать. Что тебя интересует?.. Мы взрослые. Может быть, мы даже старые? Хотя ты, конечно, скажешь, что нет. Другие... У меня сын и дочь!

В полном беспорядке раскидала она знаки препинания и замолчала.

— У меня сын,— сообщила я и посмотрела на кресло. Обида сидела и внимательно слушала.

— Как себя чувствует твоя мамочка? Я ее видела несколько лет назад, когда она ещё жила в Ленинграде. Как она в Москве? Привыкла? — спросила Анечка.

— Не надо было уезжать. Это была ошибка.

— Наверно... Я тоже так думаю. Корни? — сказала Анечка.

Я спросила:

— Как ты?

— Хорошо. Врач-эпидемиолог. Работаю в институте. Защитилась.

— А муж?

— Защитился. Доктор.

— Наук? Чего он доктор?

— Доктор всего,— засмеялась Анечка.

Все кандидаты, все доктора, с гордостью подумала я, как будто это была моя заслуга, я их так воспитала.

Анечка молчала. Я слышала, как она там возится со знаками препинания.

— Ты меня извини. Я вот о чем подумала. Может быть, я могу быть тебе чем-нибудь полезна? — наконец выжала она из себя, и в этой фразе все знаки препинания были расставлены правильно.

Я ответила:

— Может быть.

— Пожалуйста, скажи,— попросила Анечка, заведя разговор в такой тупик, из которого было не выбраться. Обида кошкой рванулась ко мне с кресла. «Ладно, ладно»,— сказала я и кинула ее обратно.

Я не звонила Анечке сто лет. Она была вправе решить, что мне чего-то надо. Но чего? Выведать, как эпидемиологи предотвращают эпидемии? Но я лишь минутой назад узнала, что она эпидемиолог. И притом у меня в Москве есть знакомые эпидемиологи, уж в крайнем случае они могут рассказать, как там и что. Может быть, она решила, что я к ней за воспоминаниями? Но я никому не собиралась предлагать погружаться в прошлое, как под воду без маски. У всех дела еще были на поверхности, у меня тоже.

— Чего молчишь? — спросила Анечка, стукнула трубкой, и оттуда посыпались звуки субботнего веселья, музыка, голоса.

Я поняла, что надо отпустить ее. Но Анечка тоже что-то поняла, даром что телефон работает на слабых токах. Слабые, слабые, не такие они и слабые.

— Вот что, послушай,— сказала Анечка четко и за-садила точку.— Приезжай. У нас неожиданно гости. К дочке сейчас придет орава чешских студентов. Будут и наши чешские коллеги. Я накрываю на стол. Понятия не имею, чем буду их кормить.

— Сколько будет всего чехов?

— Шесть, семь, восемь...

— Мало,— сказала я.

Она засмеялась.

— Вас понял. Если все это не слишком поздно кончится, я не буду мыть посуду, а приеду к тебе в гостиницу.

Так завершился второй звонок, и я, не оглядываясь на кресло, чтобы не видеть сверкающие зеленые глаза подружки моей Обиды, набрала третий номер. Три попытки даются каждому, и было еще не поздно. Чешские студенты еще не пришли к Анечкиной дочери, коллеги еще любовались набережными и мостами, такси с Ларисой еще пробиралось по дорогам и пустырям.

— Угадай, кто говорит,— предложила я.

Он угадал.

— Спасибо тебе, что позвонила. Я очень тронут. Благодарен тебе за звонок.

Чарующая вежливость старинного, немного книжного образца отличала его и раньше, и слабые токи телефона принесли ее в номер откуда-то с Петроградской, как тоненькую мелодию, слышанную давно, возможно, вместе с ним в зале филармонии.

— Ты бы не мог приехать? Прошлись бы по Невскому, подышали.

— Понимаешь, какая глупость, я стою в комбинезоне, заляпан мелом, чудовищно небрит. У меня ремонт.

— Сам, что ли, делаешь?

— Может быть, и не сам, но...

— Понимаю. Твое присутствие необходимо.

— Сформулировано по обыкновению точно. Времени, видишь ли, мало. Всего два дня.

— А потом что?

— Понедельник.

Его понедельники были заполнены работой до отка-

за, когда он был еще лейтенантом. А теперь он полковник, какие же теперь у него понедельники? Я представила себе, как он двигает тяжелые предметы, он мастер их двигать, как он мажет, красит, белит, увлекая своим примером неторопливых маляров.

— Куда ты пропал? — спросила я с нежностью.

— Думаю. Знаешь, я приеду. Только побреюсь.

Но я сказала, что уезжаю сию минуту, что я пошутила, но скоро приеду опять, и тогда мы обязательно встретимся.

В понедельник я закончила дела, сложила подписанные бумаги, всех заверила, что столичные коллеги со сроками не подведут (не подводили раньше), со всеми попрощалась.

Приготовила для встречи с Ларисой последние до поезда четыре часа. Четыре часа — как четыре стены и белый потолок над ними.

В семь позвонила. Женский голос ответил, что Лариса Федоровна еще не пришла с работы. Через полчаса тот же голос повторил те же слова, которые отличались от семичасовых тем, что были неправдой.

Человеку надо умыться и поесть после рабочего дня, и я позвонила позднее. Трубку взяла Лариса, и я сразу поняла, что она без сил, сидит в кресле, курит, истратив за день все свои запасы торжественности и шутливости. Даже голос ее прекрасный кончился. Она шептала таинственным бронхитным шепотом:

— Это чепуха, чепуха, к вечеру это у меня часто бывает. Чепуха. Было бы странно, если бы не было. С восьми часов лекции плюс практические занятия. Если бы меня спросили, как я представляю себе счастье, я бы ответила, что счастье — это молчание. А сейчас еще явится дипломник, милый мальчик с неразбуженным интеллектом.

Достаточно было прикоснуться к полузабытому слову «дипломник», и я представила себе, как он входит, неся под мышкой в аккуратной папке свое будущее. Мои четыре часа, теперь уже три, уйдут на дело высшего образования.

— Вот он звонит. Прошу, — это ему, розовощекому лодырю, хриплым, но радостным голосом. — Видишь, он

уже тут,— это больным, иссякающим шепотом мне.—
Ничего не напишешь. Давай свои московские координаты.
Буду в Москве, обязательно позвоню.

«Обязательно позвоню» переводится «не позвоню».

Обида моя тут же явилась, и была она сегодня не нахальная, а серьезная, грустная.

— Не устраивай, пожалуйста, трагедий,— сказала я ей.— Постарайся без нервов, будь умной. У всех своя жизнь, своя работа. У меня тоже, не приставай, уйди, уйди.

Так окончились три дня. Три звонка...

Перед самым уходом из гостиницы я позвонила Га-
ле, она была единственным человеком, которого удалось
не потерять. Моей заслуги в том не было, я бы и ее по-
теряла, но она не потерялась.

Я просила ее не приезжать на вокзал, не провожать.

— Какой вагон? — спросила Галя.

И вскоре возникла у поезда с веником багульника,
цветущего слабыми крепдешиновыми цветочками.

Галино широкое лицо сельской учительницы-краса-
вицы в очках мелькнуло последний раз в окне, поезд лег-
ко взял с места и покатил легко. Шестьсот километров —
это совсем немного, если знать, что и предстоят шесть-
сот.

Поезд шел, даря пассажирам ночь, передышку, со-
стояние невесомости. Даря возможность о чем-то подум-
ать, что-то понять. Поезд шел и соединял разбросанные
части воедино.

В купе багульник стал пахнуть малиной, сосной, кув-
шинками, крошечкой, дождем, морем.



ТОЛЬКО ОДНА УДАЧА

Когда хорошенькая девушка сообщает, что собирается стать актрисой, это никого не удивляет. Даже если она явно бездарна, считается, что ей найдется место на сцене или в кино. Но когда обыкновенная девушка, скорее некрасивая, чем хорошенькая, говорит о своем желании стать актрисой, это вызывает недоумение.

Марине Кондратьевой говорили:

— Какая из тебя актриса? Что ты будешь делать? Изображать толпу? Шум за сценой?

В таких случаях люди почему-то разговаривают грубее, чем обычно, и бывают беспощадны.

Не было никого, кроме старой подруги Гальки, кто одобрял бы решение Марины. Поэтому только с Галькой она могла разговаривать на эту тему.

— Поверь мне, — говорила Марина Гальке, поступавшей на геологический факультет, — поверь мне, Галька, что я могу быть актрисой. Я чувствую! Неужели ты тоже считаешь, что у меня неподходящая внешность? Какое значение имеет внешность? Я же не уродина.

Галька подтверждала, что Марина не уродина. Галька была верным другом, а глаза друзей добры. Галька находила подругу красивой, и ее не смущал толстый нос, и маленький рост Марины, и то, что Марина не умеет декламировать стихи. Галька утверждала, что этого никто

не умеет и вообще стихи следует читать не вслух, а про себя.

Марине устроили встречу с известным кинорежиссером. Режиссер обещал сказать прямо, получится из Марины актриса или нет. Считалось, что он может определить это без труда.

— Я знаю,— твердила Марина,— что я ему не понравлюсь. У меня есть предчувствие.

— Ерунда! — возражала Галька.— Все предчувствия — ерунда! Что ты будешь ему показывать?

У Марины был подготовлен отрывок из «Войны и мира» — танец Наташи у дядюшки.

— Режиссеры любят монологи,— напутствовала ее Галька,— и, кроме того, они любят смелость. Не дерзость, но смелость!

Режиссер оказался невысоким седым человеком в куртке, на которой было не меньше десяти молний. Шелковая сетка, какие бывают у велосипедистов, стягивала его волосы. Он принял Марину внимательно и сердечно. Разговор продолжался часа полтора. Марина несколько раз прочитала свой отрывок, режиссер поправлял ее, объяснял, показывал сам.

Марине показалось, что режиссер хочет предложить ей сниматься у него в картине. И Марина ободряюще улыбнулась режиссеру. Но предложения сниматься не последовало.

«Очевидно, он боится отвлечь меня от экзамена», — решила Марина. И она продолжала улыбаться.

На прощание режиссер пожелал ей успеха.

Жена режиссера, провожая Марину, тоже пожелала ей успеха. Жена режиссера даже обняла Марину, а потом погрозила ей пальцем и сказала:

— Все хотят быть актрисами.

— Ну как? — Галька ждала Марину у ворот.

— Не знаю, ничего не знаю! — шепотом ответила Марина.— Может быть, я ошиблась, но мне кажется, что я ему понравилась.— Марина подняла голову и одобрительно посмотрела на ярко освещенные окна квартиры режиссера.

Прохожие оглядывались на двух девочек, из которых одна, громоздкая и нескладная, кивала головой, а маленькая, встрепанная, что-то рассказывала с молитвенным выражением лица.

— И мне почему-то показалось, что он хочет предложить мне роль в своей картине.

Галька кивнула.

— Зря не покажется.

Она не видела в этом ничего невозможного. Марина и Галька верили в чудеса.

На следующий день через жену режиссера стало известно, что режиссер категорически не советует Марине идти на актерский факультет, он не находит в ней никаких способностей и не видит в ней никаких признаков будущей актрисы.

Сначала Марина не поняла. Ей повторили, добавив:

— Этому человеку можно верить.

— Можно,— ответила Марина,— но я не верю!

Так начались неудачи и огорчения.

Театральная студия при одном из крупнейших московских театров объявила набор студентов в Ленинграде. До основного экзамена в студию полагалось пройти два предварительных просмотра, или, как их называют, тура.

Марина успешно миновала первый и второй просмотры и была допущена к экзамену перед государственной комиссией.

Галька отложила учебники по физике и пошла с Мариной на экзамен.

Человек тридцать топтались в приемной в ожидании начала. Марина стала искать глазами красавиц. Красавиц оказалось очень много, и среди них несколько выдающихся. Одна — русалка, как определила Марина, опасная, с туманными зелеными глазами и мраморным лицом. Другая — смуглая, с длинными косами, тоненькая.

— Сейчас сломается! — презрительно сказала плотная.

Была еще маленькая, хорошенькая, кудрявая, ростом с девочку-шестиклассницу, беспорно кандидатка на роли «травести».

Несколько девиц модного вида в модных платьях стояли с каменными лицами. Все высокие. Марине явно не хватало нескольких сантиметров роста. Для героини, как известно, существует железный закон роста и

красоты. Вон русалка — та героиня! Достаточно на нее посмотреть. Марина не смотрела.

Марина с Галькой стояли у стены. К ним подошел белобрый юноша в растрепанных парусиновых туфлях и побелевшей голубой рубашке. Одну ногу он нарочно приволакивал. Лицо у него было добродушное и как будто заспанное, глаза сощурены. Галька сразу засмеялась, посмотрев на него.

— Там, на экзамене, — сказал юноша, в котором Марина угадала будущего Хлестакова, — мы должны помогать друг другу.

— Что это значит? — спросила Галька.

— Это значит, — вежливо ответил Хлестаков, — что нас вызывают по пять человек. Один мучается перед комиссией, остальные сидят за столом и ждут своей очереди. И те, которые сидят, должны выражать на лицах восторг, изумление, одобрение. Вот так. — Он закатил глаза и сладко улыбнулся. — Понятно?

— Понятно, — ответила Марина. — Но поможет ли это?

— Неважно. Товарищеская поддержка необходима актеру.

— Ты Хлестаков? — спросила Марина.

— Естественно, — ответил Хлестаков, — я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский...

— Тебя примут, — сказала Марина, — можешь даже не беспокоиться.

— Есть обстоятельства, — доверительно сообщил Хлестаков. — Мне нет восемнадцати лет.

— Это неважно, — сказала Марина, — ты живой Хлестаков. А на что я надеюсь, неизвестно.

— По-моему, тебя тоже примут. Я уверен, — успокоил Марину Хлестаков, добрый, как всякий истинно талантливый человек. — Не надо нервничать!

— Немедленно перестань улыбаться, Марина! — прошептала Галька. — Это ужас! Ты все время улыбаешься, как будто ненормальная.

Но Марина не могла перестать улыбаться. Маленькая, к тому же в туфлях без каблуков, съжившаяся от волнения, самая незаметная, она ходила из угла в угол, улыбалась и что-то шептала себе под нос.

Назвали ее фамилию. Дальше все произошло очень быстро. Марина исполнила перед комиссией, которую она неясно разглядела, все, что ее попросили, и опять очутилась в приемной, и опять около нее стояли Галя, и Хлестаков, и девочка на роли «травести».

— Ну как? — спросила Галька.

— Никак, — с тупой улыбкой сказала Марина.

— Толстый, лысый кивал головой? — спросила «травести».

— Кажется, кивал, — сказала Марина.

— Прекрасный признак! — воскликнул Хлестаков и, заложив руки в карманы брюк, на пятках прошелся по комнате.

— Вас спрашивали, нуждается ли вы в общежитии? — спросил кто-то.

— Спрашивали, — ответила Марина.

— Тоже неплохой признак, — сказал Марине самоуверенный красивый мальчик на роли обольстительных негодяев.

Марина слышала, как он читал отрывок из «Тихого Дона». Комиссии он понравился.

— Тебя примут, — сказала ему Марина.

— Не факт, — ответил мальчик, уверенный в успехе.

Через два часа объявили результаты экзамена. Хлестакова приняли, «травести», русалку приняли, мальчика, читавшего из «Тихого Дона», приняли.

Марину не приняли.

Марина устроилась на работу в областной гастрольный театр, правда, без заработной платы.

— Мне повезло, — рассказывала Марина дома, — главный режиссер сказал, что, может быть, мне дадут роль. Деньги я тоже буду получать. В поездках. А поездки бывают довольно часто. Почти все время.

Что могли сделать отец и мать? До какого возраста действуют родительские запрещения, кто это знает? А уговоры?

Скоро Марина начала участвовать в репетициях. Ей дали роль молодой колхозницы, которая произносит в пьесе несколько фраз. В двух актах ей надлежало с бодрым смехом пробежаться по сцене, сказав предварительное, что ей хочется влюбиться.

Марине никто не объяснил, как и что надо делать. Но ей доставляло наслаждение двигаться по настоящей сцене, быть одетой в непомерно большое, пахнущее клеем платье, садиться на шаткую бутафорскую скамью и рвать в задумчивости тряпочные цветы.

Дома, запершись в ванной, Марина кричала:

— Что за любовь такая? Объясните мне, пожалуйста. Как бы я хотела полюбить кого-нибудь. Полюбила бы я на всю жизнь такого человека...

Мать пожимала плечами: странный — громкий, металлический — голос обнаружился у дочери. Отец смущенно улыбался за очками и говорил:

— Уж если она не стесняется так орать, значит, в ней что-то есть.

В театре Марину хвалили. Режиссер дал ей еще одну роль, побольше.

Так неожиданно началась актерская жизнь Марины.

Почему взял ее в труппу старый режиссер гастрольного театра? Этого он, наверно, и сам не знал. Может быть, пожалел, а может быть, была нужна молодая актриса на выходные роли. А может быть, поверил в ее будущее, рассмотрел в ней что-то, прочитал в глазах, в срывающемся голосе, уловил в резких и еще совсем неженских движениях. Вдруг на мгновение подумал, что гадкий утенок может стать лебедем. А может быть, вспомнил, что сам был молодым и тоже стучался в закрытые двери и молил судьбу послать одну, только одну удачу!

Весной Марина принесла домой новую афишу с объявлением набора в студию одного из московских театров.

Все повторялось. Как и в прошлом году, молодых людей, желающих посвятить свою жизнь театру, оказалось очень много. Опять были хорошенькие девушки, мальчики нервно расхаживали по приемной и бормотали стихи. Только не было Хлестакова и Галя была далеко, на практике.

К Марине подошел мальчик и, заикаясь, сказал:

— Здравствуйте, я в-вас помню п-по прошлому году. М-меня опять не п-приняли.

Марина диковато посмотрела на него и ничего не сказала.

— Д-дефект речи,— пояснил мальчик, как будто еще нужны были пояснения.— Не п-принимают, гады!

Марина даже не улыбулась: она понимала мальчика. Он был снедаем тою же неистребимой страстью, которая привела сюда и ее.

Молодой серьезный преподаватель внимательно слушал всех этих мальчиков и девочек. Он попросил Марину остаться.

— Я вас покажу кой-кому,— сказал он.

«Кое-кто» оказался толстым седым мужчиной, который сидел в одной из дальних комнат в глубоком кресле и, отдуваясь,пил боржом. .

— Прекрасно! — сказал толстяк, выслушав шепот наклонившегося к его уху преподавателя, и допил залпом стакан боржома.— Читайте басню.

Марина прочитала коротенькую басню «Мышь и Крыса».

«Сильнее кошки зверя нет!» — этими словами кончалась басня, и Марина произнесла их с печальной убежденностью.

Отворилась дверь, в комнату вошли немолодая женщина и актер, которого Марина знала по кино. Они уселись в кресла в разных углах комнаты. Марину попросили прочитать еще что-нибудь.

Марина сказала негромко (себе или экзаменаторам?): «Я Наташа Ростова» — и исполнила все тот же отрывок из «Войны и мира».

Кажется, на этот раз ей удалось стать Наташей Ростовой, потому что киноактер расплылся в улыбке, женщина задумалась. А толстяк, когда Марина кончила, прогудел вопросительно: «Молодец?» — и сам ответил: «Молодец».

Потом ее попросили спеть. В полном оупении Марина затянула: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...» Пела она так плохо, громко и жалобно, что экзаменаторы рассмеялись и попросили пение прекратить. Марина замолчала. Потом сказала:

— Я могу что-нибудь другое спеть. Я могу...

— Не надо,— сказала женщина.

А толстяк пропыхтел:

— Умора!

— Я могу станцевать,— предложила Марина и сделала движение, собираясь танцевать.

Ей крикнули: «Хватит!» — и попросили выйти из комнаты и подождать за дверьми.

Через несколько минут к ней подошел преподаватель, который привел ее сюда, и сказал:

— Поздравляю вас, вы приняты в студию...

— Я не понимаю... — сказала Марина.

— Приезжайте первого сентября на занятия в Москву. Чего тут не понимать? — засмеялся преподаватель.

— А экзамен?

— Вы его только что сдали.

Марина криво улыбнулась.

— Я вам говорю, что сдали! — прикрикнул преподаватель. — Это была комиссия почти в полном составе. Поете вы, конечно, очень неважно, но вы понравились. Сказали, что вы ни на кого не похожи... До встречи в Москве.

— Это была комиссия?! — ахнула Марина, но ей никто не ответил. Она стояла одна в коридоре.

Началась самостоятельная студенческая жизнь. Началась неудачно.

Руководитель курса Ариадна Васильевна Горова, знакомясь с новыми учениками, попросила каждого что-нибудь прочитать.

Горова была высокая подвижная черноволосая женщина с черными трагическими и одновременно веселыми глазами, глухим, сильным голосом и стремительными движениями. Известная актриса.

От смущения перед Горовой Марина читала плохо и чувствовала это, но ничего не могла сделать: ей хотелось только скорее окончить чтение.

Не надо было смотреть Горовой в лицо. Тогда Марина не увидела бы сжатых губ и недоуменной улыбки. Горова достала из сумки зеркальце, пригладила брови, постучала ногтями по крышке портсигара. Когда Марина замолчала, спросила:

— Все? — потом сказала: — Не понимаю... — И наконец добавила: — Удивляюсь!

Эти слова положили начало отношениям, принесшим Марине немало горя.

На первом курсе надо было исполнять этюды. Например, подметать пол. У себя в комнате в общежитии Ма-

рина подметала пол прекрасно. Напевала, лезла воображаемой шваброй под воображаемый диван, собирала воображаемый мусор на воображаемый совок, роняла совок и опять начинала подметать.

В студии ничего не выходило. С застывшим лицом и жалкой улыбкой, с напряженными руками, оглядываясь на Горова, Марина торопилась закончить этюд. Впрочем, Горова не мучила Марину долго, а почти сразу останавливала словами, не предвещавшими ничего хорошего: «Хватит, понятно».

Со дня на день Марина ждала, что Горова обратится в деканат с предложением выгнать ее из студии. Но Горова почему-то не шла в деканат, и Марина с грехом пополам перебралась на второй курс.

Марина не знала, что в деканате Горова сказала:

— Очень, очень слабая студентка Кондратьева. Девяносто восемь процентов за то, что она бездарна. Но по-прежнему. Что-то в ней есть! Посмотрим еще.

Два процента она оставила Марине.

У восемнадцатилетней девочки, которая живет одна в большом городе, к тому же в столице, забот много.

Такая девочка, как правило, не обедает. В редких случаях она обедает в гостях. А то, что она вообще ест, нельзя назвать ни завтраком, ни ужином. Обычно это что-то легкое: кефир, простокваша (нельзя толстеть), или дешевое: винегрет, студень.

Известно также, что те, кому наряды нужны больше всего, их как раз не имеют. Пальто одно зимой и летом, ватин к нему пришивают на морозы и отпарывают, когда становится тепло. Туфель две пары, очень неважных. Чертова мода, за ней не угонишься ни в каких туфлях! А чулки! Как рвутся чулки! Из чего их делают, интересно? С каждой стипендии приходится покупать новую пару, но и это не помогает. Есть только один способ: надеть рваный чулок и делать вид, что петля сию минуту спустилась.

В студии некоторые девочки одевались очень хорошо. Марине тоже очень хотелось одеваться, но раз нельзя, придется временно презирать наряды. Когда-нибудь она тоже наденет что-нибудь такое эlegantное, и поедет в

Ленинград, и поразит Гальку, которая действительно пока что не обращает на наряды никакого внимания.

К третьему курсу определились знаменитости в группе. Подруги Марины снимались в кино. Но ей никто не предлагал сниматься.

Представители кино, приходя в студию, прежде всего замечали Тамару Ланину — безусловную красавицу с копной волос пшеничного цвета; вслед за нею обращали благосклонное внимание на Лялю Кузнецову — смуглую, с раскосыми глазами, скуластую, тоже очень яркую; и никогда не замечали Марину — скромно одетую девочку с упрямым и грустным выражением больших черных глаз, с широким, портившим ее лицо носом. Никто почему-то не видел, что у Марины нежное округлое лицо, а неумело причесанные волосы редкого пепельного оттенка. И фигура у нее была не хуже, чем у Кузнецовой, только платья плохие.

А как Марина мечтала сняться в кино!

Но приходили быстрые администраторы, вводили Ланину или Кузнецову, веселых, ловких, хорошеньких. Имена подруг мелькали на афишах, а в жизни Марины все было по-прежнему.

«Только одна удача! — мечтала Марина. — Одна настоящая роль в кино. Я бы сыграла...»

Марина представляла себе темный зал кинематографа около своего дома в Ленинграде, и мать, худенькую, маленькую, еще больше поседевшую за последний год, и отца, медленно протирающего очки носовым платком. «Только одна удача!..»

На третьем курсе Марина готовила роль Коринкиной. По требованию Горовой Марина изображала Коринкину злой ведьмой. Марина была не согласна с такой трактовкой роли, но Горова настаивала. Марина решила все-таки ее обмануть и, набравшись храбрости, на экзамене стала играть по-своему. Не успела она сказать и двух фраз, как Горова дала занавес, приказала Марине не своевольничать и прекратить безобразие. Марина смешалась, ничего не возразила и стала играть, как хотела Горова. Конечно, получилось плохо.

Как назло, у Марины еще был парик, который все время сползал, приходилось его поправлять. И накидка

из страусовых (или вороньих) перьев попалась старая, изъеденная молью. Перья дождем сыпались на сцене, стоило Марине шевельнуться. Члены комиссии чихали, зрители чихали, Горова чихала, только Марине удалось не чихнуть ни разу. .

Вот и вся доблесть: не чихнула. Дерзкая попытка Марины прорваться на экзамене не удалась. Победила Горова, что и следовало ожидать.

После экзамена к Марине подошел директор студии Агеев, тот самый толстый человек, который пил боржом в Ленинграде и принял Марину в студию.

— Вы расстроены? — спросил он.

— Очень! — прошептала Марина.

— Это же роль не вашего ампула, голубушка! — сказал он. — Вы не должны расстраиваться. Наоборот. Я за вами наблюдаю с первого курса. Вам трудно. Прекрасно! Чем труднее, тем лучше. Я думаю, из вас получится актриса. Я вижу...

Марина посмотрела на Агеева. Он утешает ее, жалеет. Лицо Агеева, мягкое, розовое, гладко выбритое и чем-то неуловимо актерское, выражало сочувствие, доверие и, может быть, восхищение, но неизбалованная Марина не могла этого разобрать.

— Да, — сказала Марина, — мне страшно не везет!

— Чепуха! — ответил Агеев и потрепал Марину по плечу. — Повезет. Вы молодец! Вы сегодня растерялись — вот и все.

— Я хотела сыграть по-своему...

— Знаю. Еще сыграете. Придет ваше время. Можете мне верить. Улыбнитесь-ка и подумайте о чем-нибудь веселом! Например, о свидании, которое у вас назначено на вечер.

Марина грустно улыбнулась. У нее на вечер было назначено два свидания. А это, как известно, все равно, что ни одного.

Марина очень скучала по Ленинграду, по отцу с матерью и по Гале. Такой подруги у нее больше не было, хотя за четыре года в Москве у нее появилось много друзей.

От Гали приходили непонятные письма. В одном письме она написала, что Марина не должна удивляться,

если она выйдет замуж. Но Марина удивилась и побежала звонить в Ленинград, выяснять, в чем дело. Галя ответила уклончиво. А спустя некоторое время написала, что она вообще никогда не выйдет замуж. А еще через месяц прислала телеграмму: «Можешь меня поздравить».

Марина ломала голову, что подарить Гальке. Деньги были накоплены на туфли. Марина сделала подметки на старые туфли, а Гальке купила роскошные занавески на окна, что было очень кстати, потому что у Гальки как раз не было занавесок. Окон, правда, у Гальки тоже не было. Если соблюдать точность, у Гальки ничего не было, кроме мужа, молодости, любви и надежд.

Вокруг все выходили замуж. На всякий случай Марина осведомилась у своего приятеля Саши Кириченко, с какого возраста считается старая дева. Узнав, что лет с двадцати пяти, Марина успокоилась.

Саша Кириченко, воспользовавшись ее интересом к этому вопросу, предложил ей выйти за него замуж.

— Выходи, не пожалеешь.

Собственно, он говорил это Марине каждый раз, когда ее видел.

— А что? — так же шутя ответила Марина, взбуревшая Галькиной свадьбой. — Возьму и выйду!

— Я буду очень счастлив, — медленно сказал Саша, и Марина тут же поняла неуместность своей шутки.

— Я же шучу, — поспешила она сказать.

— А я не шучу, — сказал Саша, — я совсем не шучу... Потому что я люблю тебя...

Они шли по Садовому кольцу после позднего вечернего сеанса в кино. Саша остановился, приблизил свое широкое румяное и очень доброе лицо к Маринину. Он был такого же роста, как Марина, хотя уверял, что гораздо выше. Он был широкоплечий, плотный, квадратный. Веселый и остряк, любимец студии. Его считали законченным комическим актером. Для кино он не годился, а столичные театры его уже сейчас приглашали. Он был действительно очень талантлив.

«Он самый лучший человек у нас на курсе, — думала Марина. — И все-таки я его не полюбила».

— Вот такие дела! — сказал Саша дрогнувшим голосом.

— Не будем об этом говорить, не надо,— попросила Марина.

— Я и сам знаю, что не надо,— сказал Саша.

Они пошли дальше. Марина чувствовала себя виноватой. Она давно понимала, что Саша влюблен в нее, любит ее. Она не кокетничала с ним — нет, нет! — но эгоистически пользовалась его снисходительностью, чтобы говорить о театре. Как все одержимые люди, Марина должна была бесконечно много говорить на излюбленную тему. Никто не мог этого вынести. Только Галя. Но Галя была далеко. А Саша умел слушать. Марине надо было говорить о своей профессии, во что бы то ни стало.

Для этого она выбирала самый длинный путь из кино домой — по Садовому кольцу.

— Бесприданницу я бы играла не так!..— с расстановкой произносила Марина.

— А как? — немедленно откликнулся Саша, зная точно, что ему надо говорить.

Или:

— «Живой труп» у нас ставят неправильно!..— сообщала Марина и умолкала. У нее были идеи. Много разных идей.

— То есть? — откликнулся Саша.

Марина длинно объясняла.

Так они разговаривали очень часто.

А на прощание Саша говорил:

— Выходи за меня замуж.

— Я подумаю,— отвечала Марина, и они прощались у входа в общежитие весело и просто, как хорошие товарищи. Марина бежала к себе в комнату и тут же забывала о Саше, а он возвращался домой через весь город и не забывал о Марине ни на минуту.

...И вот теперь он сказал ей, что любит ее.

— Я и сам знаю, что не надо,— повторял Саша.— Ты меня прости. Сорвалось. Забудем. Пусть все будет по-старому. Теперь ты знаешь. Это даже лучше.

— Мне очень жаль,— сказала Марина,— что так получилось.

— Не жалей. Ничего,— усмехнулся Саша,— бывает... Ты мне что-то хотела рассказать...

— Я расскажу,— неуверенно сказала Марина, глядя в круглые рыжеватые глаза своего друга.

— Давай рассказывай,— сказал Саша,— и, пожалуйста, не смотри на меня так. Я не умер.

— А нечего рассказывать! — вдруг с отчаянием вырвалось у Марины.— Все брошу! Не получается из меня ничего. Надо бросать!

— Не валяй дурака, Марина! — оборвал ее Саша и поморщился.— Я в тебя верю. Ты талантлива, понимаешь?

— Ты веришь? — улыбнулась Марина.— Спасибо тебе за это. Больше никто не верит.

— Это не так мало! — закричал Саша.

Марина начала готовить роль к выпускному спектаклю, дав себе слово, что на этот раз она сыграет в полную силу.

Ей опять дали роль старухи. Еще какой старухи! Мурзавецкая! «Что ты расселся! Не видишь? Встань!»

Поплакав, Марина решила: «Ладно, я вам сыграю. Ладно. Судьба — индейка! Я сыграю».

Но перед каждой репетицией Марина рыдала. Шестидесять пять лет, костыль. Это была пытка. И сил не было это играть. Иногда казалось, что все равно, она может играть и старух и даже стариков — все, все равно! Скучно, неинтересно, противно...

А сколько есть ролей женщин молодых, нежных, страдающих! Какое счастье — такая роль! Уж она бы не носилась, как Тома Ланина, не кричала бы, не ломала бы руки. Она бы играла иначе. Иначе, иначе, совсем иначе! Впрочем, Марина считала Ланину способной и Кузнецову тоже, а Вадимом Ганшиным она восхищалась. Марина вообще всегда всех хвалила.

Марина знала, что никто не считает ее талантливой. Ей все говорили одно: «Не выйдет». Только Саша и, может быть, Агеев верили в нее.

Случайно Марина слышала слова Горовой: «Эта Кондратьева — ходячее недоразумение».

«Какой ужас! — с иронией подумала Марина, даже не обидевшись на Горову; за четыре года у нее закалились нервы, появилась выдержка.— Но почему ходячее?»

Вместе с выдержкой и спокойствием развились и другие качества. Марина стала замкнутой. Она не так легко смеялась, как смеются в ее возрасте. Сказывалась суро-

вая школа Горовой. Зато она уже не плакала втихомолку, когда Горова ей говорила:

— С вашими данными вы не можете играть героинь. Это не в ваших возможностях.

А Саша говорил Марине:

— Ты будь благодарна Горовой. Считаю, что тебе повезло. Для талантливого человека трудности, как дрожжи для теста. Он на них поднимается. Ты будешь играть героинь!

На последнем курсе Марина оставалась все такой же стеснительной, неловкой девочкой, которая таращила глаза на весь мир, верила в себя, мечтала об удаче и всегда была готова поделиться с подругой последними тремя рублями и пойти на край света в кино.

Но, пожалуй, мрачноватые, огорченные глаза стали заметнее на лице Марины, потерявшем румянец. А на общем фоне стриженных голов в студии выделялась ее старомодная голова с пепельными волосами, собранными в пучок.

Когда она приехала на зимние каникулы в Ленинград, мать — потому что это была мать — посмотрела на нее и сказала:

— Беда, беда, стала взрослая дочка!

Марина петь и танцевать не умела. Смешно показывать своих знакомых она тоже не умела. Она проваливала одну роль за другой, но, как говорится, не останавливалась на достигнутом. Юная неудачница, одержимая и бесталанная... Бесталанная?

Что же все-таки видел в ней старый, опытный актер Агеев? Что нашел старый режиссер гастрольного театра? Почему решительная и беспощадная Горова довела ее до последнего курса?

Что было в Марине? Ведь что-то же, наверно, было? Не только мужество.

Казалось, отношения с Горовой должны были ожесточить Марину, Горова была к ней несправедлива; она ни разу за все четыре года не похвалила Марину. А Марина продолжала восхищаться талантом Горовой и лишь иногда спрашивала себя: «Почему я на нее не сержусь? Это, кажется, ненормально».

Марина улыбалась Горовой открытой улыбкой, в которой была только очень небольшая примесь обиды.

Однажды вечером Марина сидела и читала. Дежурная вызвала ее в коридор к телефону.

Марина не считала, что предчувствия — чепуха. Звонил Саша. То, что он предложил, было заманчиво, страшно, но, главное, как все, что он делал, реально. Выступление по телевизору в инсценировке рассказа Чехова «Невидимые миру слезы». В этой инсценировке Марина участвовала еще на третьем курсе вместе с Сашей.

Марина согласилась. У нее выработалась привычка без колебаний соглашаться на любую роль, на любое приглашение сыграть, только бы выступить лишний раз. Конечно, телевизор — ответственно и страшно. Но всегда ответственно и всегда страшно. Значит, нужно еще порепетировать и сыграть... Но, господи, кого же она играла в этой сценке? Ведьму-жену, которая лупит вернувшегося навеселе мужа, ругает и шипит, как змея, и тут же выходит к гостям с милой улыбочкой. Ведьму, которая... Ну, ведьму так ведьму!

И Марина постаралась, чтобы это была настоящая ведьма. Себя она не пожалела. Саша в первое мгновение даже оторопел, так неузнаваема была Марина, которая орала на него с искаженным лицом.

...Видела ли Горова, как умеет играть ее самая безнадёжная ученица? Горова не видела. В этот вечер она сама была занята в спектакле.

Наверно, были телезрители, которые посмеялись, увидев, как злющая женщина средних лет, с грубым, базарным голосом, в папильотках на голове и в безвкусном халате, фальшиво улыбается гостям и мужу, которого только что обзывала язвой и била что есть сил.

Наверно, кто-то посмеялся, и у него стало лучше настроение. Кто-то, может быть, заинтересовался, как фамилия этой актрисы. А какой-нибудь человек покачал головой и печально произнес: «Злая жена — это ужасно!»

Но Марина ничего этого не знала, она была отделена от своих зрителей улицами Москвы, стенами домов. Зрители не аплодировали, они были не видны и не слышны.

И никто ничего не сказал Марине, ни одного слова.

Почему, однако, партнеры Марины смотрели на нее так, словно видели ее в первый раз? Почему улыбались,

глядя на Марину, работники телестудии? Этого Марина тоже не знала.

Она видела только восхищенный взгляд Саши. Но Саша всегда смотрел на неё восхищенно.

— Д-да-а! — сказал Саша. — Вот это д-да-а!

Вот и все, что сказал Саша.

Так Марина и не узнала, что у нее была самая настоящая удача. И ничего не изменилось в ее жизни. Завтра ей предстояло так же страдать и добиваться удачи. И завтра, и послезавтра, и сколько еще, кто знает!

Марина шла со своим другом по Москве, с чемоданчиком, где лежал голубой халат с оборками, и в который раз мечтала:

«Только одна удача!»

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

Вся жизнь плюс еще два часа	7
Сокровища на земле	163
Любовь инженера Изотова	295

РАССКАЗЫ

Как ты живешь, моя первая любовь?	521
Федоров и Таня	533
Этот Еремеев	544
Пыль и ветер	555
Три дня, три звонка	566
Только одна удача	574

Наталья Максимовна Давыдова

ВСЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС ЕЩЕ ДВА ЧАСА

М., «Советский писатель», 1980, 592 стр.
План выпуска 1980 г. № 95

Редактор *Г. А. Блистанова*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *А. И. Мордовина*
Корректоры *С. Б. Блауштейн*
и *А. В. Полякова*

ИБ № 2238

Сдано в набор 25.09.79. Подписано к печати 25.02.80. А 03337. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2, Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 31,69. Тираж 100 000 экз. Заказ № 866. Цена 2 руб. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.